

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

---

# ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА  
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

---

“НАУКА”

МОСКВА-1995

## СОДЕРЖАНИЕ

А.Д. Швейцер (Москва). Американский вариант литературного английского языка: пути формирования и современный статус .....	3
А.Е. Супрун (Минск). Текстовые реминисценции как языковое явление .....	17
П.В. Дурст-Андерсен (Копенгаген). Ментальная грамматика и лингвистические супертипы .....	30
Ю.А. Сорокин (Москва). Речевые маркеры этнических и институциональных портретов и автопортретов (Какими мы видим себя и других) .....	43
Е.С. Яковлева (Москва). <i>Час</i> в русской языковой картине времени .....	54
В.И. Подлеская (Москва). Импликативные конструкции: некоторые проблемы типологической классификации .....	77
А.Н. Печников (Ульяновск). К принципам синтаксической организации предложения .....	85
М.В. Нефедьев (Орехово-Зуево). Заметки о развитии словообразовательных типов (на примере глаголов с приставкой <i>об-</i> ) .....	90

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Обзоры

А. Кречмер (Бохум). Актуальные вопросы истории русского литературного языка .....	96
---	----

#### РЕЦЕНЗИИ

А.М. Щербак (С.-Петербург). Г.Ф. Благова. "Бабур-наме". Язык, прагматика текста, стиль. К истории чагатайского литературного языка .....	124
Н.К. Онипенко (Москва). Н.А. Кожевникова. Типы повествования в русской литературе XIX—XX вв. ....	127
Л.П. Крысин (Москва). А.Д. Дуличенко. Русский язык конца XX столетия .....	129

#### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки .....	133
Указатель статей, опубликованных в 1995 г. ....	140

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов,  
А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик,  
Г.А. Климов (отв. секретарь), Т.М. Николаева, Ю.В. Откупщиков,  
В.В. Петров, В.М. Солнцев, Н.И. Толстой (главный редактор),  
О.Н. Трубочев (зам. главного редактора), А.М. Щербак

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2.  
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания"  
тел. 201-74-42

Зав. редакцией Н.В. Ганнус

© 1995 г. А.Д. ШВЕЙЦЕР

## АМЕРИКАНСКИЙ ВАРИАНТ ЛИТЕРАТУРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС

Одной из наиболее ярких черт языковой ситуации в период становления англоязычной общности на североамериканском континенте в XVII—XVIII вв. было то, что к тому времени в самой Англии успел сформироваться общенациональный литературный стандарт, выполнявший функции наддиалектной коммуникативной системы. Укреплению его позиций способствовала возросшая роль легшего в его основу языка Лондона, политического, экономического и культурного центра страны, и заметное понижение социального статуса территориальных диалектов, получавших в основном отрицательную оценку [Ярцева 1969: 159]. Возникший на основе южно-центральных диалектов, Standard English, в особенности в его письменной форме, становится эталоном речи образованных слоев населения, в самых различных районах страны. По словам Дж. Путтенгама, автора "Искусства английской поэзии" (1589), "in euery shyre of England there be gentlemen and others that speake, but especially write, as good Southerne as we of Middlesex or Surray do" [Ярцева 1985: 184].

Если бы колонизация Северной Америки произошла не в XVII—XVIII вв., а несколько ранее — скажем, в эпоху Чосера, т.е. до того, как в Англии утвердился общенациональный литературный стандарт, в Северной Америке, вероятно, сложилась бы иная языковая ситуация с гораздо более четко оформленной диалектной структурой и с гораздо большим удельным весом территориальных диалектов и региональных вариантов в системе форм существования английского языка. Однако унифицирующее влияние литературного английского языка, который — разумеется, с местными модификациями в виде региональных койне — использовался в качестве наддиалектной коммуникативной системы англоязычными поселенцами, было важнейшим фактором, определившим структуру эндогlossных отношений в ранний период существования американского варианта.

Этот факт подтверждается, в частности, тем, что большинство реликтовых черт, обнаруживаемых в фонологических микросистемах американского варианта (предконсонантный /r/, слабо дифтонгизованный /ou/ и др.) восходят к литературному английскому языку ранненовоанглийской эпохи, хотя, естественно, ни одна из них не представляет собой застывшего отгиска ранненовоанглийского языка [Швейцер 1985: 44].

Рассмотрим некоторые черты внеязыковой ситуации в Северной Америке XVII—XVIII вв., которые не могли не отразиться на роли литературного языка в языковой жизни британских колоний. Прежде всего, необходимо учесть хотя бы те косвенные данные, которые могут дать известное представление о роли Standard English в жизни британских колоний в Северной Америке.

Как отмечает М. Кюте, среди первых переселенцев из Старого в Новый Свет были носители как "лондонского английского языка" (London English), так и местных диалектов (Кента, юго-западной Англии, западного Мидленда и др.). Существование литературного стандарта играло большую роль в качестве унифицирующего фактора, тогда как диалекты способствовали вариативности речи. "В разнородных речевых общностях колоний произошло смешение различных субстратов и нивелирование

определенных фонологических и морфологических черт в пользу южноанглийского стандарта, что привело к возникновению так называемого "американского койне" [Кутю 1991: 19].

Весьма показательны данные о социальном составе первых английских колонистов, приводимые М. Кэмпбелом в его работе, посвященной социальному профилю ранних переселенцев [Campbell 1992: 66—88]. По его сведениям, среди тех, кто обосновался в Америке в ранний период колонизации, почти отсутствовали представители высшей английской знати. Зато было немало непотомственных и мелкопоместных дворян (knights and country gentry), т.е. так называемых "джентльменов по крови" (gentlemen of the blood), а также должностных лиц, новых землевладельцев, университетских преподавателей, предпринимателей, купцов, лиц свободных профессий и других "джентльменов". Среди "прочих" (others) были — йомены (yeomen), т.е. мелкие землевладельцы, ремесленники, батраки, а также бедняки, нищие и осужденные правонарушители.

Наиболее полные документальные данные сохранились относительно социального состава групп так называемых indentured servants — наименее состоятельных поселенцев, которые в уплату за проезд на корабле и в качестве "откупных" (freedom dues) должны были по приезде в колонию отработать 4—5 лет на хозяина. Так среди indentured servants, отплывавших из Бристоля, 36% мужчин составляли йомены и фермеры, 27% — ремесленники и торговцы, 10% — батраки и менее 1% — "джентльмены" и лица свободных профессий. В этой категории переселенцев большинство составляли фермеры и квалифицированные рабочие. Как батраки, находившиеся на низшей ступени социальной иерархии, так и men of quality (знатные господа), стоявшие на ее вершине, были в меньшинстве. В целом, основная масса колонистов приходилась на долю среднего и низшего среднего класса.

Едва ли следует преувеличивать число переселенцев периода колонизации, свободно владевших Standard English. Многие из них на первых порах, по-видимому, по-прежнему говорили на своих диалектах, а многие — на "полудиалектах", в которых элементы диалектной речи сочетались с элементами литературного языка. Однако контакт с носителями других диалектов должен был неизбежно приводить к развитию диглоссии типа "местный диалект—региональное койне", подготавливая почву для расширения социальной базы литературного языка.

Среди факторов, способствовавших стиранию диалектных различий и укреплению позиций Standard English и ориентировавшихся на него региональных койне, следует отметить географическую и социальную мобильность населения колоний. Многократное переkreщивание миграционных потоков, двигавшихся от атлантического побережья вглубь страны, ослабляло позиции диалектов в их конкуренции с литературным языком и региональными койне, приводя к устранению "примарных признаков диалектов" (термин В.М. Жирмунского), т.е. его наиболее значительных отклонений от литературного языка [Жирмунский 1968: 26].

В отличие от Англии с ее относительной социальной стабильностью, североамериканские колонии характеризовались более подвижной социальной структурой и более высокой социальной мобильностью населения. Даже indentured servants могли благодаря деловой предприимчивости и политической инициативе подняться на высшие ступени социальной иерархии [Rutman 1972: 245—249].

Другим важным фактором, благоприятствовавшим расширению социальной базы литературного языка, был высокий престиж образования, с которым связывалась возможность успешного продвижения по иерархической лестнице. Так, к концу колониального периода Новая Англия добилась всеобщей грамотности среди мужского населения [Lockridge 1974: 4—5, 13—43]. От колонистов требовалось владение официальным стилем письменной и устной речи. Большое значение придавалось знанию Библии (в особенности среди пуритан), умению выступать на заданную тему и конспектировать проповедь священника [Winslow 1972: 92].

Литературный английский язык сыграл огромную роль в сохранении принци-

пильного единства английского языка в его двух основных вариантах — британском и американском. При этом нельзя недооценивать того значительного влияния, которое оказали литературный язык Англии и его кодифицированные нормы на английский язык во всех его территориальных вариантах, включая "заморские владения британской короны".

Немалую роль сыграл в этом отношении консерватизм американской системы образования, продолжавшей в течение длительного времени полностью ориентироваться на британские нормы. В течение многих лет американских школьников продолжали обучать "правильной" английской речи по учебникам, изданным в Англии, а единственным авторитетным лексикографическим пособием оставался знаменитый словарь С. Джонсона. Большинство американизмов приравнивалось к ошибкам и вульгаризмам. Характерно, что этой точки зрения придерживались не только англичане, но и такие выдающиеся американские просветители, как Б. Франклин, призывавший к сохранению "чистоты" английского языка и борющийся против засорения его американизмами [Mencken 1957: 10—11].

Вместе с тем рост национального самосознания американцев стимулировал их интерес к собственному языку. Пионером возникшего в XIX в. нового течения, отстаивавшего необходимость отказа от слепого следования британским нормам, был известный американский лексикограф, составитель "American dictionary of the English language" (1928) Н. Вебстер, горячий сторонник разработки американской литературной нормы с учетом тех изменений, которые претерпел английский язык в Америке. В составленном им букваре для американских школ впервые получили отражение особенности американского произношения. Многие из предложенных им орфографических реформ (хотя далеко не все) оказали известное влияние на некоторые различительные черты американской орфографии (ср., например, *honor, jail, traveler, plow, defense* вместо *honour, gaol, traveller, plough, defense* и др.).

Ярый поборник "языковой автономии" США, Вебстер нередко в пылу полемики высказывал спорные, а порой и явно ошибочные взгляды, преувеличивая расхождения между американским и британским вариантами английского языка и предсказывая американскому варианту статус самостоятельного языка. Однако в целом его работы сыграли положительную роль, обратив внимание на особенности английского языка в США и на необходимость кодификации его литературных норм.

Высказывания Вебстера о равноправии американского и британского вариантов английского языка вызвали далеко не однозначную реакцию среди его современников. Так Дж. Пикеринг, составитель "Vocabulary or collection of words and phrases which have been supposed to be peculiar to the United States of America", писал в предисловии к своему календарю: "Нельзя отрицать, что в ряде случаев мы отклонились от стандарта письменной и устной речи, которого придерживаются в настоящее время в Англии. Из этого, однако, не следует, что эти отклонения столь велики, что наша речь стала в значительной мере непонятной англичанам. Дело лишь в том, что во многих случаях имела место порча языка, что вызвало порицание и осуждение ученых мужей Англии. Как правило, мы должны избегать всех тех случаев, которые прославленные английские авторы отмечают как незнакомые им, ибо даже тогда, когда мы можем оправдать их употребление ссылкой на английские авторитеты, сам по себе тот факт, что на них обращают внимание образованные англичане, свидетельствует о том, что они не употребляются сейчас в Англии и поэтому не должны употребляться и за ее пределами теми, кто стремится говорить на правильном английском языке" [Mencken 1957: 50].

Как писал известный американский литературный критик и собиратель американизмов Г. Менкен, «теории Пикеринга до сих пор придерживаются американские педагоги. Они считают естественное развитие языка дурным и предосудительным и до сих пор организуют крестовые походы против "отступлений от грамматики", американской манеры произношения и всяческих американизмов — в классе, в популярных брошюрах и по радио» [Mencken: 51].

О некоторых сегодняшних отголосках установок Пикеринга свидетельствует следующий пример из романа К. Воннегута "Завтрак для чемпионов": "Most white people in Midland City were insecure when they spoke, so they kept their sentences short and their words simple in order to keep embarrassing mistakes to a minimum... This was because their English teachers would wince and cover their ears and give them flunking grades and so on whenever they failed to speak like English aristocrats before the First World War."

Как указывает У. Уолфрам, американские школьные и практические грамматики до сих пор отличаются крайним консерватизмом, что порой находит свое выражение в ориентации на такие практически вышедшие из употребления в повседневной речи британские формы, как, например, *shall* в первом лице и *will* в остальных [Wolfram 1991: 7].

Однако в целом со времен Пикеринга в оценках расхождений между американским и британским вариантами произошел значительный сдвиг. Как отмечают британский англист Р. Кверк и его американский коллега А. Марквардт, в наши дни эти оценки со стороны носителей обоих вариантов характеризуются все большей "лингвистической терпимостью" [Marckwardt, Quirk 1965: 69].

Несмотря на противодействие пуристов, игнорировавших языковые факты, в США развернулось движение за пересмотр норм литературного языка с учетом особенностей американского варианта. Это движение опиралось на деятельность целой плеяды американских писателей, которые в своем творчестве широко использовали народный язык и произведения которых сыграли большую роль в формировании американского варианта английского литературного языка. Особая заслуга в этом отношении принадлежала Вашингтону Ирвингу, Фенимору Куперу, Уолту Уитмену, Марку Твену, О. Генри и Джеку Лондону.

Многие выдающиеся писатели этого периода были горячими поборниками глубокого изучения народной речи и убежденными противниками негативного отношения к американизмам, характерного для пуристов. Так, Фенимор Купер во втором томе своего сочинения "Notions of the Americans" резко критиковал попытки американских грамматистов искусственно навязать американскому английскому языку британские нормы XVIII в. [Mencken 1957: 68]. В своей лекции "An American Primer" У. Уитмен призывал к "национальной независимости" в языке и, в частности, предлагал разрабатывать стилистические нормы американского варианта, ориентированные на повседневную разговорную речь и создать словарь английского языка в Америке, который отражал бы не только литературную, но и просторечную, в том числе жаргонную и арготическую лексику [Mencken: 73].

Значительную роль в становлении Standard American English (в особенности его книжно-письменной разновидности) сыграла кодификация его норм, опирающаяся на многочисленные практические пособия по стилистике (style manuals, style handbooks), нормативные грамматики и популярные толковые словари с их системой ограничительных помет.

Вместе с тем, начиная с 30-х годов, американские лингвисты предпринимают попытки поставить изучение литературной нормы и узуса на объективную научную основу. Одной из первых таких попыток был проведенный С.А. Леонардом в 1932 г. анкетный опрос представителей престижных социальных групп, в том числе профессионалов-лингвистов, членов Национального совета преподавателей английского языка, известных редакторов, писателей и видных бизнесменов [Leonard 1932]. Данные опроса внесли существенные коррективы в рекомендации нормативных грамматик. Так, например, почти все информанты, вопреки требованию многих школьных грамматик, оценили как "утвердившееся" (established) употребление глагольной формы мн. числа с *none* (*none of them are here*).

Одну из первых попыток обоснованного изучения грамматических норм литературного английского языка в США предпринял известный американский грамматист Ч. Фриз в своей "Грамматике английского языка в Америке" (1940). Он поставил перед собой задачу выделить группу носителей языка, чью речь можно было бы

принять за эталон и получить достаточно репрезентативную выборку, отражающую язык этой группы. В качестве материала для исследования были использованы письма в официальные учреждения США, хранящиеся в государственных архивах с некоторыми данными об их авторах. В эталонную группу вошли авторы, окончившие колледж — врачи, юристы, священники и др.

Выяснилось, что большинство представителей этой группы систематически "нарушало" ряд правил прескриптивной грамматики — например, правило об обязательном употреблении существительного в притяжательном падеже перед герундием. В своих письмах они использовали конструкцию типа *There is no necessity for her son being with her* вместо рекомендуемой грамматистами *...for her son's being with her* [Fries 1940]. Данные Фриза и других исследователей убедительно свидетельствовали о необходимости пересмотра ряда догматических установок, глубоко укоренившихся в американской нормативной традиции.

Среди справочных руководств, посвященных литературной норме американского варианта английского языка, особо выделяется фундаментальная и тщательно документированная работа М. Брайант, содержащая наиболее достоверный и надежный материал [Bryant 1962]. Эта книга представляет собой словарь узуса. Вместе с тем она выгодно отличается дифференцированным подходом к нормам литературного языка, стремлением учесть их вариативность от многих такого рода пособий, изобилующих категорическими и догматическими суждениями и упрощающими реальную картину речевого употребления. В качестве примера можно привести выражение *feel badly*, традиционно считавшееся гиперкорректным и ненормативным. В качестве единственной корректной формы предлагалось использовать *feel bad*. По данным Брайант, обе формы характеризуются примерно одинаковой употребительностью в литературном языке. При этом *feel bad* тяготеет к официальной книжно-письменной, а *feel badly* к непринужденно-разговорной речи. Несомненным достоинством работы является то, что автор учитывает ситуативную вариативность Standard American English, наличие в нем разговорной разновидности. Словарь иллюстрируется примерами из произведений современных авторов (Э. Хемингуэя, Э. Пайла, У. Липмана и др.).

Активную роль в кодификации литературной нормы играют толковые словари, широко используемые американцами и выходящие как полными, так и сокращенными популярными изданиями. Пять крупных американских издательств специализируется на выпуске таких словарей — "Мерриам", "Фанк энд Уэгнол", "Рэндом хаус", "Америкен херитедж" и "Уорлд".

Одним из самых заметных событий в истории американской лексикографии был выход в свет в 1961 году 3-го издания словаря Вебстера ("Merriam Webster's Third New International dictionary"). Его составители видели свою задачу в том, чтобы отразить вариативность языковой нормы во всем ее многообразии, раскрыть всю сложность реальной языковой ситуации, ничуть не пытаясь ее улучшить или изменить. Их главной целью были описание и регистрация языковых явлений, отказ от нормализаторских функций. Стремясь как можно полнее отразить картину реального словоупотребления, составители включили в словарь около 450 тыс. слов. Помимо лексики литературного языка в него вошли единицы просторечия, территориальных и социальных диалектов, вульгаризмы и окказиональные образования.

Отказ от нормализаторской функции проявился в устранении из этого словаря ряда обычных стилистических помет, указывающих на принадлежность той или иной единицы к "сниженному" или "высокому" стилю, к разговорной речи или просторечию. Критики словаря усматривали во включении в него таких "субстандартных" форм, как *ain't* или *like* (в функции союза), сознательную установку на вседозволенность и порчу языка.

Взрыв негодования по поводу 3-го издания словаря Вебстера исходил в основном от неискушенных в лингвистике читателей, видевших в толковом словаре блюстителя чистоты языка. Так, авторитетный нью-йоркский критик Д. Макдональд возмущался тем, что составители словаря вместо того, чтобы навязывать языку свои оценоч-

ные суждения, "регистрировали как одержимые" все, что создает язык [McDavid 1980: 301].

Своеобразной реакцией на 3-е издание словаря Вебстера было появление толкового словаря "Heritage illustrated dictionary of the English Language", составители которого исходили из диаметрально противоположных установок в отношении функций и роли словаря. Как отмечает редактор словаря У. Моррис, его составители полагали, что "хороший словарь несет ответственность за правильную ориентацию своих читателей" и считали отказ от оценочных суждений "научным заблуждением" [Morris 1975: VII]. Эти суждения порой находили свое выражение в таких пометах, как *slang*, *nonstandard* и *regional*, а порой в отборе словника (например, в исключении из него "вопиющих" солецизмов"). Считая, что подобные суждения должны исходить не от лингвистов-теоретиков и не от необразованных людей, неосознанно использующих язык, а от просвещенных членов общества, составители выбрали жюри, состоявшее из известных политических деятелей, писателей, публицистов и ученых, которым было предложено оценить ряд выражений с точки зрения их соответствия литературным нормам. Их ответы были положены в основу примечаний к некоторым словарным статьям.

Словарь "Heritage" вызвал резко отрицательную реакцию со стороны многих лингвистов. Консерватизм его составителей, их попытки регламентировать язык и ориентация на пуристов — все это создало ему репутацию "словаря Голдуотера, Джорджа Уоллеса и Джо Маккарти". Отмечался также тенденциозный подбор жюри, состоявшего в основном из критиков 3-го издания словаря Вебстера и считавших, что "английский язык провалится в преисподнюю, если они этого не предотвратят" [McDavid 1980: 302; Bishop 1975: XXIII].

Думается, что лежащее в основе этой полемики прямолинейное противопоставление нормализаторской и дискретивной функций словаря едва ли оправдано. Обе эти функции неизбежно находят свое проявление в любом словаре. Даже при самых пуристических установках его составителей словарь не может не быть дескриптивным в той мере, в которой он отражает (пусть недостаточно адекватно) реальные языковые факты. В то же время и словарь дескриптивной ориентации не может полностью отказаться от своей нормализаторской и кодификационной роли. Последняя проявляется не только в отборе языковых единиц, но и в таких пометах, как *slang*, *standard/nonstandard*, *formal/informal* и т.п.

Словарь Вебстера 1961 г. не избежал известного влияния популярного в те годы дескриптивизма, исключавшего из рассмотрения оценочные суждения информантов о языке [так называемые *secondary* и *tertiary responses* (термин Блумфильда)]. Однако, как показали социолингвистические исследования, субъективные установки носителей языка также подлежат изучению (наряду с объективными языковыми фактами) как один из элементов языковой ситуации. Именно поэтому оценочные суждения жюри "Heritage" представляют определенный интерес, но при этом их ни в коем случае не следует отождествлять с реальным узусом.

Следует иметь в виду, что в ряде случаев консерватизм жюри "Heritage" проявлялся в чрезмерном подчеркивании различий между синонимичными выражениями даже в тех случаях, когда эти различия в значительной мере стерлись в реальном употреблении. Например, 72% членов жюри считало, что прилагательное *anxious* может использоваться в тех же контекстах, что и *eager*, лишь тогда, когда подразумевается озабоченность или тревога. Думается, что более объективно реальный узус отражен в "Random House", где в качестве одного из значений *anxious* дается "full of eagerness, earnestly desirous" (например, *anxious to please*), хотя и указывается, что педантичные авторы избегают употребления *anxious* в качестве синонима *eager* в официальных контекстах.

В ряде случаев консерватизм жюри "Heritage" проявлялся в неприятии неологизмов, достаточно прочно утвердившихся в Standard American English — например, *bus* в качестве переходного глагола (*to bus children*), хотя такое употребление



характерно не только для разговорной, но и для официальной письменной речи (ср. его использование в законодательных актах о десегрегации школ).

Борьба пуристской и антинормативной тенденций вокруг Standard American English свидетельствует о том, что между консерваторами и их оппонентами есть немало общего. И те и другие склонны гипертрофировать некоторые черты литературного стандарта. Так, консерваторы преувеличивают его единообразие, общеобязательность его норм. Отсюда категоричность их суждений: языковой факт может быть либо приемлем, либо неприемлем. С другой стороны, сторонники антинормативного подхода преувеличивают вариативность языка, игнорируют то стабильное общее ядро, которое цементирует литературный язык во всех его разновидностях. Их суждения также отличаются категоричностью: все, что есть в узусе, приемлемо.

Для представителей этих двух противоборствующих тенденций характерно преувеличение роли субъективных факторов в языке. Если пуристы верят в то, что с помощью нормативных словарей, грамматик и стилистических пособий им удастся предотвратить "порчу" языка, то для их оппонентов корень всех зол — сам литературный язык с его строго очерченными нормами. Вместе с тем и становление литературного языка и встречающиеся неодобрение пуристов языковые инновации представляют собой объективно развивающиеся процессы, которые никак нельзя предотвратить [Швейцер 1983: 90—94].

Из сказанного отнюдь не следует, что помимо объективно действующих факторов на литературный английский язык в США не влияют и определенные субъективные факторы, относящиеся к языковой политике, понимаемой как сознательное регламентирующее воздействие на язык через различные социальные институты.

Как известно, в странах английского языка отсутствуют языковые академии, подобные тем, которые существуют во Франции и Испании. Вместе с тем кодификация узуса осуществляется через систему образования, многочисленные пособия по практической стилистике, словари узуса, инструкции издательств, средств массовой коммуникации, общественных и официальных учреждений и даже программы компьютеров. Регламентирующее влияние на язык осуществляется, как правило, путем определенных ограничений и рекомендаций. Последние в настоящее время чаще всего являются реакцией на требования организаций и течений, представляющих интересы определенных слоев общества (обычно тех или иных меньшинств).

Так, например, из официального употребления и со страниц прессы исчез этноним *Negro* и его эвфемистический эквивалент *coloured*. Им на смену пришли *Black* и *Afro-American*. Категория граждан, которая раньше именовалась *the aged* (*the elderly*), сейчас официально обозначается термином *senior citizens*. Сходные переименования коснулись и так называемых "сексуальных меньшинств" (например, употребление *gay* вместо *homosexual*).

Наиболее заметны следы в Standard American English влияния приобретшего за последние годы широкий размах в США феминистского движения. Особенно энергичные протесты американских феминисток вызывает то, что они называют проявлением "сексизма" ("мужского шовинизма") в языке. В частности, вызывает возмущения употребление одного и того же слова *man* в значениях "человек" и "мужчина". В первом значении вместо *man* рекомендуется использовать *human* или *human being*. Более того, неприемлемым считается даже употребление морфемы *man* в составе сложных слов (названий профессий, должностных лиц и т.п.). Исключение составляют лишь те случаи, когда референтом является лицо мужского пола. Если же данное слово употребляется в родовом значении (т.е. применительно к лицу любого пола), американские редакторы исправляют *mankind* на *humanity/humankind*, *spokesman* на *representative/spokesperson*, *chairman* на *chair/chairperson*, *manpower* на *labor/force*.

Проблемы возникают также при выборе личного местоимения *he/she* в тех случаях, когда не конкретизируется пол антецедента. Такие фразы, как *If anybody reads this book, he will know about dialects*, рассматриваются как "проявление сексизма в

языке". Возможный вариант: *he or she will know*. Другой вариант — *they will know about dialects* — считался вполне приемлемым вплоть до XIX в., когда был отвергнут в нормативных грамматиках, хотя и встречается до сих пор [Wolfram 1991: 134].

На формирование американского варианта литературного английского языка заметное влияние оказали другие подсистемы английского языка в США. Постоянному соприкосновению и взаимодействию Standard American English с этими подсистемами в значительной мере способствовали некоторые существенные для языковой ситуации социальные процессы — такие, как, например, миграция населения, его географическая и социальная мобильность, урбанизация и рост системы образования. Обусловленное этими процессами расширение социальной базы литературного языка за счет вовлечения в его орбиту носителей различных региональных койне, социальных и территориальных диалектов приводит, в частности, к нейтрализации некоторых факультативных и не несущих высокой фонологической нагрузки оппозиций.

Так, еще в 1958 г. Р. Макдэвид писал, что "кумулятивный эффект индустриализации, урбанизации и образования особенно заметен в речи студентов района Великих Озер. Этот эффект проявляется в сокращении числа фонологических контрастов: *hoarse* и *horse* у этой группы почти всегда являются омонимами; *white* и *whip* произносятся с /w-/ в 50 процентах всех случаев, и *cot* (в особенности в районе Кливленда) почти всегда омонимичен *caught*" [McDavid 1958: 511].

Другим заметным последствием расширения социальной базы литературного языка является приток возникших за его пределами гиперкорректных форм, в частности форм, порожденных так называемым "spelling pronunciation", т.е. произношением, обусловленным графической формой слова — например, восстановление дифтонга /ei/ в *yesterday*, *Sunday* и др.

Литературный язык проницаем и для единиц, проникающих в него из различных социальных диалектов. При этом наибольшим инновационным потенциалом обладают социальные группы, привлекающие к себе в тот или иной период особое внимание. Так, возникший в жаргоне хиппи, движение которых в 60—70-е годы находилось в центре внимания средств массовой информации, неологизм *dropout* "человек, порвавший с традиционным обществом, присоединившийся к хиппи, радикально настроенной молодежи и др." был подхвачен прессой и проник в литературный язык: "And by the end of the decade, there was a marked reaction among white middle-class Americans against the rebellious Negroes, the defiant university students, and the social dropouts" (Reston).

Давно уже прочно вошли в литературный английский язык и такие возникшие в сленге единицы, как *O.K.*, *jazz* и *A-bomb*.

Роль американской прессы в популяризации сленга связана не только с ориентацией на определенную читательскую аудиторию. Сленг и коллоквиализмы часто встречаются в качестве маркеров сниженной тональности на страницах самых уважаемых газет и журналов. Например, они широко представлены в таких престижных и ориентированных на образованного читателя еженедельных политических журналах, как "Тайм" и "Ньюсуик". Ср., например, следующий отрывок из журнала "Тайм", где сленгизм *read my lips* 'я этого не говорю, но я так думаю' фигурирует в основной статье (cover story) одного из номеров: «The Congress will push me to raise taxes... and I'll say to them, "Read my lips: no new taxes"» (Time, May 21, 1990).

Если в приведенном выше примере *read my lips* фигурирует в прямой речи, то в следующем отрывке из того же номера журнала сленгизм *to schmooze* 'болтать' встречается в авторской речи журналиста: "John Sununu wandered to the rear or the Boeing 707 to schmooze with the traveling press".

Сленг широко используется в газетных и журнальных материалах самых различных жанров. См. следующие примеры из статей в журнале "Ньюсуик" об искусстве: "Nervy, smart, independent, and funny in an almost, crackpot way, Cameron fit right in with this loony way of Life" (Newsweek, Nov. 19, 1990, 63); "She was particularly apt

at capturing the nutty dignity of these people” (там же). Высокая концентрация сленгизмов и коллоквиализмов в этих текстах (*nervy* “нахальный”, *loony* “свихнувшийся”, *crackpot* “чудаковатый”, *nutty* “сумасшедший”) создает серию контрастов на фоне стилистически нейтрального контекста.

Помимо средств массовой коммуникации, каналом проникновения сленга в Standard American English служит также художественная литература. Использование сленга в американской художественной литературе опирается на давнюю традицию, восходящую к Дж. Раньону, в рассказах которого, воспевавших “бурные 20-е годы” (the roaring twenties), сленг часто присутствует в качестве языка рассказчика, от которого ведется повествование. Ср. следующие примеры комического контраста сленга и пародийно-книжной лексики в рассказе Раньона “Три умника” (The Three Wise Guys): “One cold winter afternoon I am standing at the bar in Good Time Charlie’s little drum in West 49th Street, partaking of a mixture of rock candy and rye whisky, and this is a most surprising thing for me to be doing, as I am by no means a rumpot, and very seldom indulge in alcoholic beverages in any way, shape, manner or form...”; “...he is the largest puller on the Atlantic Seaboard. In fact, for upwards of ten years, Blondie is bringing wet goods into New York from Canada, and in all this time he never gets a fall which is considered a phenomenal record for an operator as extensive as Blondie”. Ср. книжн. *partake*, *indulge in alcoholic beverages*, *phenomenal record* и сленгизмы *drum* “кабачок”, *rumpot* “пьяница”, *puller* “контрабандист”, *wet goods* “спиртное”, *fall* “арест”.

Для американского сленга характерен также и необычный для этого лексического пласта инновационный процесс, когда сленговые инновации создаются на вершине социальной пирамиды, а затем распространяются к ее основанию. Распространение сленга “сверху вниз” имеет место, например, в тех случаях, когда писатели, публицисты, деятели театра и кино, не только популяризуют уже существующий сленг, но и создают свой собственный, часть которого становится общеупотребительной.

В “Словаре американского сленга” такие единицы обозначаются термином “синтетический сленг”. Одним из его творцов был Д. Раньон, создавший, в частности, по сленговым моделям псевдолатинизм *phonus-balonus* от сленговых *phoney* “липовый” и *baloney* “чушь”. Широко представлена в сленге модель стяжения. Ее использовал известный американский радиокомментатор У. Уинчел, создавший неологизмы “синтетического сленга” *infanticipate* (*infant* + *anticipate* “ожидать ребенка”) и *Renovate* (*Reno* + *renovate* “получить развод в Рено”). Ряд синтетических сленгизмов был создан популярными американскими комиками (*Hey Abbott!*, *Coming Mother! I dood it!*, *You’re a good one*).

Другим источником синтетических сленгизмов являются комиксы (например, *goon* ‘громилла’ по имени персонажа из комиксов Э. Сигара, *to put the whammy (on)* ‘заколдовать, лишить сознания’ из серии комиксов Э. Кэппа).

Известное влияние на формирование американского варианта английского языка оказали и контакты с другими языками — в первую очередь, языками североамериканских индейцев, других колониальных держав (в период колонизации Северной Америки) и — позднее — с языками многочисленных иммигрантов из различных стран Европы и Азии. Однако в рамках Standard American English влияние этих языков было минимальным. Заимствования из них относительно немногочисленны и охватывают весьма ограниченную тематическую сферу. Так, заимствования из языков индейских племен были чаще всего связаны с флорой и фауной, североамериканского континента (*chinquapin* “карликовый каштан”, *hickory* “гикори, пекан”, *moose* “американский лось”), жизнью и бытом индейских общин (*tepee* “ вигвам”, *hominny* “кукуруза”, *rapoose* “индейский ребенок”). Среди заимствований из французского языка преобладали названия блюд (например, *chowder* “похлебка из рыбы или моллюсков” < франц. *chaudière* “котел”), черта ландшафта (например, *prairie* “прерия” < франц. *prairie*

”луг”), североамериканских животных (например, *carbou* ”карибу” < франц. *caribou* < альгонк. < *khalibu*), среди заимствований из нидерландского — названия блюд (*cookie* ”печенье” < нидерл. *kookje* ”пирог”, *cole slaw* ”салат из капусты” < нидерл. *kool sla* и др.) и реалий колониального быта (например, *span* ”упряжка лошадей” < нидерл. *spannen* ”натягивать”).

К более позднему периоду (колонизации юго-запада и мексиканской войны) относятся заимствования из испанского языка. В основном они относятся к природным условиям Юго-Запада, его флоре и фауне, а также к трудовой деятельности и быту поселенцев (например *tornado* ”торнадо, ураган”, *loco* ”астрагал (ядовитая трава)” < исп. *loco* ”сумасшедший”, *bronco* ”полудикая лошадь” < исп. *potro bronco* ”необъезженный жеребенок”, *corral* ”загон для скота”).

Среди языков иммигрантов наибольший вклад в Standard American English внесли немецкий и итальянский. Однако и эти заимствования охватывают весьма ограниченную понятийную сферу — в основном, названия пищевых продуктов и напитков (*pumpernickel* ”сорт ржаного хлеба”, *frankfurters* ”сосиски”, *delicatessen* ”кулинарные изделия”, *lager* ”сорт пива” — из немецкого и *zucchini* ”сорт кабачков”, *broccoli* ”спаржевая капуста”, *mozzarella* ”сорт сыра”, *bologna* ”болонская копченая колбаса” — из итальянского; позднее из итальянского языка в Standard American English проникла серия заимствований, отражающих некоторые реалии преступного мира — *Mafia*, *Mafioso*, *Cosa Nostra* ”тайная преступная организация, связанная с мафией”).

Есть достаточные основания предполагать, что степень вариативности литературного языка или его национального варианта на том или ином уровне их структуры непосредственным образом связана с моделью их формирования, определяющей пути распространения инноваций от центра того или иного языкового ареала к его периферии.

В качестве двух контрастных примеров можно сослаться на историю формирования литературного английского языка в Англии и в США. В Англии, как уже отмечалось выше, формирование национального литературного стандарта произошло вокруг единого центра — Лондона, язык которого оказал решающее влияние на процессы становления и стабилизации общенациональной языковой нормы [Ярцева 1969; 1985]. Такую модель формирования литературной нормы назовем моноцентрической. Именно благодаря ей в Англии сложилась функциональная парадигма, напоминающая, по словам М. Халлидея, пирамиду, в основании которой отмечается достаточно широкий диапазон варьирования, территориального и социального, наблюдаемого преимущественно у социальных низов и постепенно сходящего на нет на вершине пирамиды, если не считать незначительных различий между Оксфордом и Кембриджем [Halliday, McIntosh, Strevens 1973: 28].

Совершенно иначе обстояло дело в Северной Америке, где, как отмечалось выше, на самом раннем этапе эталонном литературной нормы продолжал оставаться язык Лондона, т.е. иными словами, действовала экстрацентрическая модель с центром вне данного ареала. Однако вскоре на эту модель наложилась другая, связанная с формированием в колониальной Америке таких центров, как Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Чарльстон и Ричмонд, где наиболее интенсивно происходило формирование литературной нормы. Эту модель можно охарактеризовать, как полицентрическую [Швейцер 1981: 274—275].

Полицентризм американского варианта по-разному проявлялся на различных уровнях языковой структуры. Наиболее ошутимо он сказывался на фонетическом уровне, где языковые рефлексы относительной изоляции колониальной периферии от центра инноваций нашли наиболее яркое выражение благодаря отсутствию четкой кодификации произносительных норм. В то же время в области грамматики действие экстрацентрической модели было более заметным и непосредственным благодаря школьному образованию, ориентированному на британские грамматики и процессы нормализации, опиравшиеся на печатное слово.

На протяжении XVII и XVIII вв. процесс распространения в Америке инноваций, возникавших в британском варианте, характеризовался крайней неравномерностью. Наибольшее влияние инноваций испытывали названные выше колониальные центры атлантического побережья, хотя и на них сказалось отсутствие регулярных культурных связей с метрополией.

Интересно проследить пути распространения в английском языке Америки такой возникшей в Англии инновации, как вокализация предконсонантного и конечного /r/ в *barn, far* и др. словах. Эта инновация возникла в центрально-восточных районах Англии. По мере распространения на север и на запад ее волна постепенно затухала по мере ее распространения на север и на запад, где до сих пор существуют диалекты с предконсонантным и конечным /r/. Однако во многих городских центрах, окруженных подобными диалектными массивами, преобладает "безэрное" (r = less) произношение [Trudgill 1974: 158].

Объясняя это явление, Труджил выдвигает гипотезу, согласно которой языковые инновации быстрее распространяются от центра к центру, чем от центра к периферии. В пользу этой гипотезы свидетельствует то, что волна распространения "безэрной" нормы достигла указанных выше центров колониальной Америки, так и не захватив некоторых периферийных районов самой Англии. Именно вокруг этих американских центров (Бостона, Нью-Йорка, Чарльстона и Ричмонда) образовались американские ареалы "безэрного" произношения.

Полицентризм произносительных норм американского варианта литературного английского языка находит свое проявление в том, что его фонологическая макросистема распадается на ряд региональных микросистем, одной из которых является микросистема восточной Новой Англии с характерной для нее гласной фонемой /a/, в *part, glass, ask*, контрастирующей с /æ/ в *pat, sand, cab*, отсутствием фонологического контраста между *cot* и *caught* и наличием оппозиции между дифтонгом /ou/ и монофтонгом /o/ (например, в *road: rode*) (подробнее о региональных фонологических микросистемах Standard American English см. [Швейцер 1971: 59—67]).

В настоящее время происходит формирование общенациональной произносительной нормы вокруг самого распространенного произносительного типа — так называемого General American (Mid-Western), который активно вторгается в традиционные ареалы произношения на северо-востоке и юго-востоке США. В результате, как отмечает У. Лабов, произошла переориентация населения Нью-Йорка на новую произносительную норму с поствокальным /r/, тогда как некогда нормативное "безэрное" произношение получает негативную оценку и отмечается чаще всего у низших слоев населения [Labov 1966].

Сходный процесс наблюдается и на юге США, где, по наблюдениям Р. Макдэвида, поствокальный /r/, в прошлом ассоциировавшийся с речью белых бедняков, становится региональной нормой [McDavid 1980: 129]. В основе этого явления лежат миграционные и урбанизационные процессы, социальная мобильность населения, растущая роль радио и телевидения с их Network English, ориентирующимся на General American. Так образуется новая модель формирования национальной произносительной нормы, которую можно назвать ацентрической.

В то же время в области грамматики и лексики регионализма в американском варианте литературного английского языка почти отсутствуют, если не считать таких единичных примеров, как форма мн. числа *y'all* в южных штатах, употребление *anymore* в утвердительных предложениях в Филадельфии (*anymore, we watch videos rather than go to the movies*) [Wolfram 1991: 212], *brook* "ручей" вместо *stream* или *creek* в некоторых северо-восточных штатах. При этом следует отметить, что эти регионализмы, используемые образованными людьми, чаще всего встречаются в разговорной речи.

Тот факт, что Standard American English формировался под действием сложных и противоречивых факторов, в условиях высокой географической и социальной мобильности населения, ориентируясь и на норму британского варианта, и на регио-

нальные нормы колониальных центров, и на наиболее распространенный вариант, наложил определенный отпечаток на его статус и структуру. Его отличительными чертами являются неопределенность и размытость его границ и значительная вариативность его структуры.

Разграничение стандартности и нестандартности в данном случае сопряжено с определенными трудностями. Переход от стандартной к нестандартной речи представляет собой континуум [Wolfram 1991: 8]. Само определение Standard American English оказывается достаточно сложным делом и вызывает споры среди специалистов. Распространенная дефиниция, согласно которой литературный язык — это “язык образованных представителей среднего класса” [Wolfram, Fasold 1974: 31], вызывает резкие возражения. Так, У. Мейерс, автор статьи, красноречиво озаглавленной “Можно ли (и нужно ли) определять Standard American English?”, ставит под сомнение это определение, поскольку такие образцы гиперкорректной речи, как *Whom do you think you are?* (вместо *Who do you think you are?*) и *They gave the present to him and I* (вместо *to him and me*), характерны именно для ненормативной речи образованных (*educated nonstandard English*).

Автор статьи считает неудачными попытки определить Standard American English на основе совокупности языковых признаков и приходит к выводу о том, что едва ли вообще следует его определять, поскольку он является в лучшем случае “полезной фикцией” [Meyers 1977].

В аргументах У. Мейерса есть несомненная доля истины. В самом деле, однозначное определение литературного языка едва ли возможно. Более того, было бы нереально настаивать на таком определении, которое давало бы возможность однозначно идентифицировать любую языковую единицу с точки зрения ее принадлежности к литературному языку, поскольку между литературной и нелитературной речью отсутствуют жесткие границы. Немало единиц находятся в стадии перехода из диалектов и региональных койне в общенациональный литературный язык.

Вместе с тем едва ли можно согласиться с Мейерсом, когда он в качестве одного из аргументов ссылается на отклонения от нормы в речи образованных американцев. Ведь литературный язык — это не то же самое, что реальный узус, а идеализированный конструкт. Однако этот конструкт отнюдь не является фикцией, о чем свидетельствует, в частности, и сама статья Мейерса, написанная на Standard American English.

Прямолинейная классовая атрибуция Standard American English порой приводила к нападкам на него с позиций критиков американского “истэблшмента”. Так, известный американский фонолог и диалектолог Дж. Следд расценивает обучение негритянских детей литературному английскому языку как попытку “навязать им речь и ценности среднего класса белых”, характеризуя при этом Standard American English как “одно из основных средств сохранения существующей структуры власти, глубоко внедряющее в сознание ребенка систему классовых различий” [Sledd 1973: 375—378].

Прямолинейное приравнивание американского варианта литературного английского языка к языку белых американцев среднего класса в какой-то мере напоминает давно преодоленное нашим языкознанием увлечение идеей “классового языка”, согласно которой литературный язык рассматривается как язык буржуазии. В наши дни едва ли есть необходимость доказывать, что, как и любой литературный язык, Standard American English нейтрален в отношении той или иной идеологии.

Между литературным языком и той или иной социальной категорией его носителей отсутствуют взаимодозначные связи. Можно согласиться с тем, что образованные слои среднего класса являются в условиях Америки наиболее характерными представителями его носителей. Однако из этого никак не следует, что все то, что встречается в их речи, по определению входит в литературный язык. В этом отношении прав У. Мейерс, указывая на отклонения от литературной нормы (например, гиперкорректные формы), типичные для данной среды.

Решающим аргументом при решении вопроса о существовании в США собственного варианта литературного английского языка должно быть наличие у него тех общих (универсальных) черт, которые отличают любой литературный язык. Едва ли могут быть сомнения в том, что Standard American English отвечает всем обычно выделяемым признакам литературного языка — таким, как полифункциональность, наддиалектность, обработанность, селективность, наличие собственной нормы (подробнее о признаках литературного языка см. [Гухман 1976: 5—8]).

Разделяя большинство конкретных языковых признаков с британским вариантом, он не только расходится с ним в других, но порой и по-разному оценивает одни и те же языковые факты. Ср. следующий отрывок из диалога А. Марквардта и Р. Кверка:

M a r c k w a r d t... I can think, for example, of two instances where our spellings are alike but our pronunciations are different. For example both of us spell the past tense of the verb *to shine* as *sh-o-n-e*, but I pronounce it [ʃoun].

Q u i r k. Yes, and I pronounce it [ʃɒn]. And I suppose that the other verb you've got in mind is the verb *to eat* where the past tense is spelt in both forms of English *a-t-e*. But I pronounce this as [et], as do most of us in Britain, and I think that we would tend to regard the pronunciation [eit] as a relatively uneducated one, as though people learnt the word from seeing it spelt. But isn't it true that the usual educated form in the United States is this form [eit] and that you'd regard [et] as a bit odd?

M a r c k w a r d t. More than a bit odd, I would say. Actually, to us, [et] seems rustic, countrified, even uneducated. That is, our reaction is very much like yours, but in reverse [Marckwardt Quirk 1965: 15].

Несмотря на высокую вариативность (особенно на уровне звуковой системы), американский вариант литературного английского языка характеризуется достаточно четким противопоставлением присущих ему форм формам ненормативным. По мнению У. Уолфрама Standard American English может быть определен негативно как разновидность английского языка, лишенная нестандартных, социально стигматизированных элементов. При этом понятие нормативности (standardness) в значительной мере релятивизируется с учетом вариативности американского варианта литературного английского языка, поскольку Standard American English — "плюралистическая категория" [Wolfram 1991: 8—11].

Так, например, в рамках литературного языка различаются две разновидности — Formal Standard English и Informal Standard English. Многие формы, отвергаемые нормой первой разновидности, воплощенной в официальной книжно-письменной речи, оказываются приемлемыми во второй, ориентированной на разговорную речь. Так, например, согласно одному из кодифицированных правил Formal Standard English, не допускается употребление местоимения после существительного-подлежащего. Однако в естественной разговорной речи образованных американцев подобные конструкции встречаются довольно часто. Например:

*My mother, she took me to the show.*

*The students who returned late from recess yesterday and today, they will have to return after school today.*

Хотя нормы Informal Standard English не кодифицируются, у говорящих создается ощущение неприемлемости некоторых элементов Formal Standard English не потому, что это "плохой английский язык", недостаточно образованных людей, а потому, что эти формы слишком "высокопарны" (highfalutin) и "характерны для снобов". Так возникают три уровня социальной оценки языковых форм с точки зрения их приемлемости для разговорной литературной речи: "суперстандарт" (форма кодифицированного литературного языка, неприемлемая для Informal Standard English); "стандарт" (форма, приемлемая для Informal Standard English); "субстандарт" (диалектная или социально-стигматизированная форма, лежащая за пределами литературного языка). Например, суперстандартной форме "He's not so smart as I" противопоставляются

стандартная “He’s not as smart as me” и субстандартная “He not as smart as mie”. Суперстандартному произношению причастия *been* /bi:l/ противостоят стандартное /bin/ и субстандартное /ben/. Таким образом, как суперстандартные так и субстандартные формы нестандартны с точки зрения норм разговорного литературного языка [Wolfram, Fasold 1974: 19—21].

Вариативность и релятивность норм литературного английского языка является одним из последствий исторических условий его формирования и постоянного расширения и обновления его социальной базы, связанных с высокой социальной и географической мобильностью населения страны.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гухман М.М. 1976 — К типологии германских литературных языков донационального периода // Типология германских литературных языков. М., 1976.
- Жирмунский В.М. 1968 — Проблемы социальной дифференциации языков // Язык и общество. М., 1968.
- Швейцер А.Д. 1971 — Литературный английский язык в США и Англии. М., 1971.
- Швейцер А.Д. 1981 — Вариативность английского языка и вариативность его норм (на материале американского варианта английского языка) // Типы наддиалектных форм языка. М., 1981.
- Швейцер А.Д. Социальная дифференциация литературного языка в США. М., 1983.
- Ярцева В.Н. 1985 — История английского литературного языка IX—XV вв. М., 1985.
- Bishop M. 1975 — Good usage, bad usage, and usage // The Heritage illustrated dictionary of the English language. N.Y., 1975.
- Bryant M. 1969 — Current American usage. N.Y., 1969.
- Campbell M. 1992 — Social origins of some early Americans // Seventeenth century America. N.Y., 1992.
- Fries C. 1940 — American English grammar (The grammatical structure of present-day American English with special reference to social differences or class dialects). N.Y., 1940.
- Halliday M.A.K., McIntosh C.A., Strevens P. 1973. — The users and uses of language // Varieties of present-day English, N.Y., 1973.
- Kytö M. 1991 — Variation and diachrony with early American English in focus. Frankfurt-am-Main, 1991.
- Labov W. 1966 — The social stratification of English in New York City. Washington, 1966.
- Leonard S.A. 1932 — Current English usage. Chicago, 1932.
- Lockridge K.A. 1974 — Literacy in colonial New England. An enquiry into the social context of literacy in the Early Modern West. N.Y., 1974.
- Marckwardt A., Quirk R. 1965 — British and American English. Washington, 1965.
- McDavid R.I. 1958 — The dialects of American English // Francis W.N. The structure of American English. N.Y., 1958.
- McDavid R.I. 1980 — Varieties of American English N.Y. 1958.
- Mencken H.L. 1957. — The American Language (An inquiry into the development of English in the United States). N.Y., 1957.
- Meyers W. 1957 — Can (and should) Standard American English be defined // Papers in language variation. SAMLA-ADS collection. University of Alabama Press. 1977.
- Morris W. 1975 — Introduction // The Heritage illustrated dictionary of the English language. N.Y. 1975.
- Rutman D. 1977 — American Puritanism. N.Y., 1977.
- Stedd J. 1973 — Doublespeak: dialectology at the service of Big Brother // Varieties of present-day English. N.Y., 1973.
- Trudgill P. 1974 — Sociolinguistics: an introduction. Harmondsworth, 1974.
- Wentworth H., Flexner S.B. — Dictionary of American slang. 2-nd supplemented edition, N.Y., 1975.
- Winslow O.E. 1972 — Meetinghouse Hill, 1630—1783. N.Y., 1972.



© 1995 г. А.Е. СУПРУН

## ТЕКСТОВЫЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ КАК ЯЗЫКОВОЕ ЯВЛЕНИЕ

Большую часть своих познаний о мире во всем разнообразии его проявлений человек черпает не из непосредственного опыта, а из текстов. Услышанные или прочитанные тексты оказывают огромное влияние на формирование человека, в том числе на его язык как устройство для производства, преобразования и понимания текстов. Реализация когнитивной функции языка происходит в процессе его функционирования путем передачи через язык обширной текстовой информации о приобретенных обществом сведениях об окружающем мире, в том числе об обществе, о человеке, его теле и душе, о Боге. Роль языка в познании в значительной мере связана с тем, что мир познается через тексты. Но, как известно, определенная часть информации приобретает человеком не из текстов, но непосредственно из языка. Так, сложный и длительный процесс овладения количественными представлениями нашел отражение в категории грамматического числа, в различного вида кратностных категориях, в системе числительных и сопряженных с ними количественных слов. Вся эта информация приобретает человеком вместе с овладением языком. Попадая в человеческое сознание сначала через тексты, такая информация постепенно, на протяжении жизни поколений оседает в языковом устройстве и превращается в его часть.

Один из аспектов влияния текстов на язык состоит в том, что те или иные фрагменты знакомых текстов или даже целые тексты прямо отражаются в новых производимых текстах с осознанным или неосознанным представлением о том, что они улучшат способ передачи мыслей в производимом тексте и будут способствовать его адекватному пониманию и большей эффективности. Это представление связано с тем, что то или иное использование готового текста не только воспроизводит точную и привычную формулировку, напоминает уже имеющийся образ, но и устанавливает определенное соотношение производимого текста с предшествующими, то есть включает его в вертикальный контекст текстового универсума, в тот словесный мир, который создается, по словам А.Р. Лурия, языком [Лурия 1979: 33] и в котором мы живем.

Вкрапления из предшествующих текстов (текстовые реминисценции) имеют разные функции, источники их разнообразны, коннотации различны, включение во вновь производимый текст осознанно или произвольно. Для дальнейшего рассмотрения примем следующую рабочую дефиницию. Текстовые реминисценции (ТР) — это осознанные vs. неосознанные, точные vs. преобразованные цитаты или иного рода отсылки к более или менее известным ранее произведенным текстам в составе более позднего текста. ТР могут представлять собой цитаты (от целых фрагментов до отдельных словосочетаний), "крылатые слова", отдельные определенным образом окрашенные слова, включая индивидуальные неологизмы, имена персонажей, названия произведений, имена их авторов, особые коннотации слов и выражений, прямые или косвенные напоминания о ситуациях. При ТР может иметься или отсутствовать разной степени точности отсылка к источнику.

ТР встречались уже в древних текстах. Широко известны ТР в Библии, в том числе, например, ТР из Ветхого Завета в Евангелии. В Библии отмечают ряд фольклорных элементов [Фрэзер 1990]. Во многих старых текстах имеются прямые или косвенные

ТР из Священного писания; так, например, Кирилл Туровский включил в "Слово на Пасху" не менее 6 цитат или пересказов из Псалтыри, ряд ТР из книг пророков (Исайя 66. 18–20, Осия 6. 1–3, Софония 3.8 и др.), из глав всех четырех Евангелий, повествующих о воскресении Христа (Мф. 28, Мк. 16, Лк. 24, Ио. 20). Эта традиция продолжает существовать вплоть до нашего времени. Нередки обращения старых текстов к фольклору. В.П. Адрианова-Перетц специально отмечала объединение в древнерусской литературе двух поэтических систем – устной, связанной с различными лирическими проявлениями народной поэзии, и письменной, выросшей на почве библейско-византийской литературы [Адрианова-Перетц 1947: 135 и сл.]. В "Слове о полку Игореве" имеются весьма вероятные ТР и из устного народного творчества, и из не дошедших до нас текстов Бояна; "Задонщина" содержит, как известно, ТР из "Слова о полку Игореве". В "Молении" Даниила Заточника не раз вспоминаются не только типичные для древнерусской литературы библейские имена и события (*Иов, Иона, Агарь, Гоморра, Давид, Даниил, Ирод, Лот, Соломон* и др.), но и персонажи античной мифологии, а также персонажи и авторы античной литературы (*Пинидръ = Пиндар (?), Калимидии = Каллимах (?), Терендь = Теренций*) [Лексика 1981: 228–231]. Число подобных примеров может быть легко и очень существенно расширено.

Не только в письменных текстах, но и в произведениях устного народного творчества обнаруживаются ТР. По сути дела, например, переходящие из сказки в сказку персонажи типа *Иванушки-дурачка* или *Василисы Прекрасной* можно рассматривать как ТР, соотносящие данный текст с другими, где тот или иной образ разработан глубже или просто иначе. Подобным образом обстоит дело со многими персонажами сказок о животных. Нередки ТР в былинах, в легендах, в песнях, где часто, как и в сказках, затемнен вопрос об источнике ТР, так как речь идет не только о постоянно повторяющихся эпитетах (что также своего рода ТР) или метафорах, но и об образах, ситуациях и т.п. В какой-то мере, сталкиваясь с бродячими сюжетами или заимствованиями, мы имеем дело с ТР в другой этнокультурной и языковой среде, причем различие языка отнюдь не является непреодолимым для ТР: тексты принципиально и искони переводимы, и такового рода текстовые проникновения – хорошее этому подтверждение. Чему, впрочем, удивляться – ведь отдельные слова тоже не столь редко заимствуются.

ТР встречаются в произведениях детской литературы. Иногда ТР здесь носят такой же, как в фольклоре, характер путешествующих персонажей. Так, Крокодил в "Телефоне" К. Чуковского – это, видимо, тот же самый Крокодил, что с Тотошей и Кокошей уже на двенадцать лет раньше "Телефона" проходил по бульвару в "Крокодиле", а потом лет за пять до "Телефона", проглотив *мочалку словно галку*, помог герою "Мойдодыра". В определенной мере это связано с той чертой, которую в детской поэзии Чуковского подметил Ю.Н. Тынянов: "Забавные звери с комическими характерами оказались способными к циклизации: главное действующее лицо одной сказки стало появляться, как старый знакомый, в других сказках. Это задолго предсказало мировые фильмы-мультипликации с их забавными звериными персонажами" [Тынянов 1983: 61]. А если думать о большом текстовом универсуме русского читателя, то следует задуматься – нет ли среди просивших по телефону книжки *мартышек* той, крыловской, что на старости лет решила *завести себе очки*?

ТР представлены не только в классической поэзии, о чем свидетельствуют, в частности, нередкие античные имена в поэзии Пушкина, но и в стихотворных текстах нашего времени. Очень нетрадиционный Владимир Маяковский включал в свои ранние стихи имена героев и авторов: *профланирую шагом Дон Жуана и фата* ("Кофта фата"), *как будто на небе строчка из Аверченко* ("Пустяк у Оки"); отдельные фразы из предшествующих, как Ю.Н. Караулов их называет, прецедентных [Караулов 1987: 217] текстов включались иногда буквально, а иногда в переделанном виде: *Причесываться? Зачем же?! На время не стоит труда, а вечно причесанным быть невозможно* ("Братья писатели"; ср. Лермонтова); *зацыкали те, кто у дуба,*

кормящего их, корни рылами роют ("Издательства"; ср. Крылова). В "Тёркине на том свете" не слишком книжного поэта Александра Твардовского – множество ТР: реминисценции советских анкет и прочих документов (*Автобио опиши; в печати отражен; проверен, и самого автора проверим; не работал над собой; обязан доложить*), реминисценции из "Книги про бойца" – основного текста Теркина, пословицы и поговорки (*вместе без году неделя; хлеб-соль ешь, а правду режь*). Гораздо больше ТР у поэта более "книжного" – Александра Межирова: во взятых наудачу нескольких стихотворениях упоминаются и книга *Бытия*, пророк *Исайя*, *Псалтырь*, *Евангелия*, и "*Иметь и не иметь*" Хемингуэя, и Аксаков, братья *Киреевские*, *Хомяков*, и Иван Саввич *Никитин*, и *Марина Цветаева*, и *Хлебников*, цитируется *Мюссе*...

ТР отмечаются и в прозе. Примеров можно привести множество. В романе Д.Н. Мамина-Сибиряка "Приваловские миллионы" упоминаются *Шиллер* и *Лермонтов*, *Шопенгауэр* и *Дарвин*, библейские, антично-мифологические и литературные персонажи (*Соломон*, *Лазарь*, *Мария Магдалина*, *Гименей*, *Фауст*, *Маргарита*), фрагменты из устного народного творчества (*Ах, ты береза, да ты ль, моя береза; Широка Волга разливалась, с крутым бережком поровнялася*) [Генкель 1974: 498–505]. Множество литературных имен можно найти в автобиографической трилогии М. Горького, по 3–5 раз употреблены имена *Лермонтов*, *Беранже*, *Робинзон*, *Гонкур*, *Гончаров*, *Диккенс*, *Дюма*, *Ефрем Сирин*, *Некрасов*, *Толстой*, *Тургенев*, *Чернышевский* [Словарь Горького 1975]. А вот некоторые примеры, взятые из новой русской прозы: *Иных уж не было на свете, иные были далеке* (В. Гроссман. Несколько печальных дней, гл. 3); *Как ударили величальную – "Исайя, ликуй", – свечи заморгали* (Б. Можаяев. Мужики и бабы. 1, 2, 1); *Я – гений чистой красоты* (Виктор Ерофеев. Русская красавица, гл. 8; см. ту же ТР повторно в главах 8, 9, 23).

Многочисленны ТР в публицистике, например, в современных газетах: *Незабвенный майор Пронин из далекого совкового детства* (Литературная газета, 6.4.94); *Но вот принцесса Диана – Ирен Форсайт наших дней – уже вряд ли ослепит нас. Черт бы побрал этого Сомса* (Ком. пр. 1 апр. 1994); *Увы, горькое замечание Пушкина о том, что мы ленивы и нелюбопытны, не утратило своей актуальности и сейчас* (Вечерняя Москва, 3.3.94). Часто используются ТР в газетных заголовках: *Как слово наше отзовется* (А и Ф. № 41, окт. 1993); *Народ пока безмолвствует* (Лит. газ. 23 марта 1994); *Каждый из нас – немного Заверюха* (Ком. пр. 1 апр. 1994; ср. Маяковского); *Банкротства бояться – в рынок не ходить* (Нов. вр. № 2, янв. 1994). Ср. и подписи к иллюстрациям, например (на снимке – сосиски на рынке): *Вчера продавали по 5, ну очень хорошие* (Веч. Москва. 12 апр. 1994; из Жванецкого, где – о раках).

В деловых текстах ТР не только возможны, но и прямо необходимы. Так, в различных деловых бумагах необходимы отсылки к предшествующим документам, общим инструкциям, постановлениям и т.д. В научных сочинениях цитаты или ссылки на предшественников служат для указания на связь данной работы с развитием науки, на использование чужих результатов, на эрудицию автора, подкрепляют его тезисы и доказательства; предшествующие работы могут упоминаться или цитироваться также для того, чтобы полностью или частично отвергнуть их результаты или интерпретацию, и в других целях. Обилие, а иногда и предполагаемая формуляром необходимость ТР в деловой речи (ср. хотя бы обязательную ссылку на письмо, ответом на которое служит данное деловое письмо: *На Ваш №...*) снимает целесообразность приведения примеров.

Нередко встречаются ТР в устной речи различных видов. Так, к примеру, на первых ста страницах известного сборника разговорных текстов [PPP 1978] в записи бесед нефилологического и нетеатрального содержания можно встретить такие ТР:

*бедный рыцарь* (с. 44), *Штирлиц появился* (75), *не отмстил, но воздал* (86; двойная ТР – по Толстому, который цитирует Священное писание), *как Остап Бендер* (95).

Приведенные примеры показывают широту тех разновидностей текстов, в которых обнаруживаются ТР. Можно, видимо, говорить об относительно высокой частоте ТР в корпусе постоянно функционирующих (то есть читаемых) русских текстов, а также в бесконечно производимых текстах в процессе живой разговорной речи. Можно предположить, что ТР имеют тот же порядок частотности, что и фразеологизмы.

В ходе ассоциативных экспериментов у испытуемых в ответ на задаваемые слово-стимулы давно отмечается определенная часть реакций, имеющих характер текстовых реминисценций. В юмористическом рассказе Карела Чапека об ассоциативном эксперименте профессора Роусса (1929 г.) иронически изображены, например, реакции – газетные штампы, высказывавшие будто из автомата в качестве словесных ассоциаций у репортера Вашатко:

– *Глаза.*

– *Завязанные глаза Фемиды. Бревно в глазу. Открыть глаза на истину. Очевидец. Пускать пыль в глаза. Невинный взгляд дитяти. Хранить как зеницу ока.*

– *Не так много. Пиво.*

– *Настоящее пльзенское. Дурман алкоголя.*

– *Музыка.*

– *Музыка будущего. Заслуженный ансамбль. Мы – народ музыкантов. Манящие звуки. Концерт держав. Мирная свирель. Боевые фанфары. Национальный гимн...* ("Эксперимент профессора Роусса").

В ходе словесных ассоциативных экспериментов в ответ на слово-стимул испытуемые действительно иногда выдают реакции – ТР типа *овца – заблудшая, плод – познания, запретный, высокий – дядя Степа, вопить – в пустыне, человек – гордо, доктор – Айболит, ярость – благородная, злоба – дня, солдат – Швейк, тихий – Дон, время – жить, лампа – Алладина, хлеб – насыщенный, изба – Шукшин, туча – небесная, странница, Лермонтов, девочка – Золушка, проворный – Гаврош, ковер – самолет, город – мастеров, мальчик – с пальчик, осень – Пушкин, Михайловское, конь – Конёк-горбунок, свистеть – Соловей-разбойник, вор – Багдадский, Картуш, земля – Санникова, зима – крестьянин, белый – Бим* и др. (примеры взяты из русской части словаря Ю.Е. Ульянова [Ульянов 1988]). Стратегии ассоциирования в представленных примерах (многие из которых встречались в ответах испытуемых многократно) разнообразны, как и типы ТР в текстах (собственные имена авторов и персонажей, названия произведений и сочетания слов; заметим интересную реакцию на стимул *осень – топоним Михайловское, обозначающий место ссылки поэта, много писавшего об осени*).

Вопрос о текстовых реминисценциях в ассоциативном эксперименте был поставлен нами в докладе на V Всесоюзном симпозиуме по психолингвистике в 1975 году в связи с тем, что по нашим тогдашним данным около 1 тыс. из 70 тыс. полученных в ходе ассоциативного эксперимента реакций имели характер текстовых реминисценций [Супрун, Клименко, Титова 1975]. Это составляло около полутора процентов всех ассоциаций и превышало общую сумму всех фонетических, грамматических и словообразовательных ассоциаций в этом эксперименте (о такой классификации ассоциаций см. [Клименко 1974: 49–50]). Заслуживает внимания и то обстоятельство, что при таком, все же не очень высоком количестве ТР в целом по эксперименту в ассоциативных полях отдельных стимулов ТР занимали до 10% всего ассоциативного поля, то есть приближались к частоте некоторых самых частых ответов. Так, в ассоциативном эксперименте Л.Н. Титовой [Титова 1975: 19] 61 испытуемый из 500 в ответ на стимул *остров* дал реакцию *сокровищ* (этот второй по частоте ответ, конечно, вызван названием известного романа Р.Л. Стивенсона), 26 ответили *Невезения* (по

песне на слова Л. Дербенева из популярного фильма Л. Гайдая "Бриллиантовая рука", широко демонстрировавшегося незадолго до эксперимента, проведенного в 1972 г.), да и самый частый ответ *необитаемый*, данный 62 испытуемыми, вполне вероятно, порожден гетерогенными литературными ассоциациями (по крайней мере у значительной части испытуемых; кстати, 8 отвечавших дали как реакцию имя *Робинзон*). В том же эксперименте самая частая реакция на стимул *страна* – определение из известной песни А.В. Александрова на слова В.И. Лебедева-Кумача *огромная* (54 ответа; ответы *большая, великая, моя* отмечены реже, 7 испытуемых назвали фантастическую литературную страну *Муравия* – по поэме А. Твардовского). По другим данным [Караулов 1987: 241], количество ТР меньше и составляет около 0,5% ответов испытуемых; думается, что это не меняет существенно порядок частоты реакций – текстовых реминисценций в ассоциативном эксперименте, а конкретные данные могут различаться за счет характера предъявленных испытуемым стимулов, за счет разной методики выделения ТР в числе реакций, за счет качественно иного состава испытуемых, а также элементарно в зависимости от других, в том числе чисто локальных и хронологических (разница в 15–20 лет), условий проведения экспериментов.

Так или иначе, не слишком редкие реакции типа текстовых реминисценций в ассоциативном эксперименте, встречающиеся в ответах ряда испытуемых, подтверждают определенную устойчивость соответствующих связей в сознании носителей языка и готовность выдать словесное воплощение таких связей по требованию, в том числе и в ходе проведения ассоциативного эксперимента.

Как сознательно, так и непроизвольно появляющиеся в текстах ТР возникают на базе знакомства участников общения с их источниками. Конечно, это условие может не реализоваться или выполняться не полностью. Получатель информации (слушающий, читающий) может не уловить связи с источником, не понять коннотаций и дополнительных нюансов, вносимых аллюзией к некоему тексту, о котором он и понятия не имеет (то есть данный текст не является для данного лица прецедентным), а может и вообще не понять сообщения (что, впрочем, не так уж редко бывает и без ТР).

В повести В. Гроссмана "Несколько печальных дней" один из персонажей рассказывает о своем заместителе: *Я уж говорил на коллегии: Плюшкин. Да не проймешь, мой Чепетников Гоголя не читал, не проработал* (гл. 3). Для современного русского читателя ясно, конечно, не только то, к кому приравнивает Чепетникова говорящий, но и то, что не зная Плюшкина мог необразованный выдвигенец 20-х или 30-х годов. Теперь, вероятно, нормальному взрослому русскому не зная Плюшкина просто невозможно.

Не всегда ссылка говорящего означает его действительное знакомство с источником. Получается как бы мнимая ТР. Один из персонажей романа Б. Можаява "Мужики и бабы" заявляет:

– *Правильно сказал Карла Маркс – эту частную собственность надо под корень рубить.*

– *А ты что, Маркса читал?* – усмехнулся Андрей Иванович.

– *Я Маркса не читал, но вполне с ним согласный* (гл. 1.1.4).

Не вполне литературная речь (*Карла, я... согласный*) высвечивает недостаточную культуру персонажа, который, впрочем, уже известен читателю по тексту романа. Не слишком состоятельная ссылка на авторитет (вызвавшая иронию у собеседника: *усмехнулся*) вносит лишнюю черточку в характеристику героя произведения. Если встать на позицию этого героя, то ссылка на безусловный и, пожалуй, обязательный для него и его среды авторитет должна была повысить значимость утверждения и вести к практическим выводам. На деле – оказалось все не так. А впрочем, эта формула "не читал, но..." теперь имеет и новые дополнительные коннотации после неоднократных осуждений тех или иных авторов и произведений лицами, не

читавшими этих текстов. Можаяев показывает происхождение этот лихой и грустной формулы.

Интересно, что в обоих приведенных литературных примерах авторы предполагают у читателей знакомство (если не глубокое, то хотя бы поверхностное) с источниками ТР – Гоголем и Марксом. Непрецидентность (в случае с Плюшкиным) или некоторая неполноценная прецедентность (в случае с Марксом) соответствующих текстов для персонажей должна контрастировать с прецедентностью их у читателя, который тем самым ставится как бы выше персонажа. Без этого понимание приведенных фрагментов литературных текстов, не говоря уже об их эффективности, было бы поставлено под угрозу.

Механизм появления ТР в производимом тексте основан на том, что говорящий или пишущий вспоминает в процессе производства нового текста какую-то ситуацию, выражение из старого текста и в том или ином виде включает ее в новый текст. Это может выглядеть как точная цитата. Так, в репортаже о предстоящем начале ледохода на Москве-реке его автор повторяет выражение *Лед тронулся, господа присяжные заседатели*, употребленное по другому поводу героем "Двенадцати стульев" И. Ильфа и Е. Петрова, указывая, что слова эти были произнесены неким заезжим коммерсантом "с пафосом, достойным великого комбинатора" (Вечерняя Москва, 9.3.1994), то есть косвенно напоминая источник цитаты. Цитата может быть неточной, нечаянно или умышленно искаженной. Иронически (что передано сниженным глаголом *подается*) говорится о героине очерка: *Подается в деревню, в сельские учительницы – сеять разумное, доброе и так далее...* (Веч. Москва. 25 февр. 1994). Здесь, в сущности, две реминисценции – к названию старого (1948 года) кинофильма ("Сельская учительница"), который время от времени ностальгически повторяется по телевидению, и к строке из Некрасовского стихотворения "Сеятелям". А ирония по отношению к героине очерка подчеркивается и незаконченностью цитаты из Некрасова с включением в поэтический текст делового *и так далее*. Изменения в цитате могут быть как серьезными, так и небольшими. Достаточно оказалось заменить лишь род местоимения в стихе из "Евгения Онегина" – и ТР стала вызывать шутовское отношение: *Ее пример – другим наука* (Неделя, № 9, март 1994). Возможен намек на текст через характерную ситуацию, так или иначе запомнившуюся читателям или слушателям текста: *Олень – хорошо, пароход – хорошо, самолет – ай хорошо* (Ком. пр. 1–4 апр. 1994), *Свои 30 рублей он (сексот) получил за то, что донес на своего сослуживца, что тот читает "Лолиту"* (Лит. газ. 6 апр. 1994: общая ситуация – предательство и тридцать денежных единиц как плата за него; ср. в Евангелии: *тридцать сребреников*). В этих случаях источники ТР не указаны; они достаточно известны: хрестоматийные стихотворные строки, популярная песня и Священное писание. Возможно, очевидно, введение ТР через собственные имена – имена авторов, персонажей и названия произведений. Именно эти четыре типа использования прецедентных текстов (цитату, название произведения, имя автора или персонажа) называл Ю.Н. Караулов [Караулов 1987: 218]. Так было в уже приведенных примерах с Карлом Марксом, Гоголем, Плюшкиным и "Лолитой". Можно отметить, что в примере с Плюшкиным соседствует и упоминание фамилии автора: фактически двойная реминисценция. В случае с "Лолитой" – имеется и косвенная реминисценция к имени героини и названию повести Набокова, долгое время у нас запрещенного. Имя персонажа может выступать не обязательно в своей основной форме. В связи с цитатой из "Двенадцати стульев" можно отметить, что герой этого романа назван не прямым (надо сказать, достаточно известным) антропонимом (*Остан Бендер*), но прозвищем, зафиксированным в виде заголовка пятой главы романа.

Источником ТР является более или менее широкий корпус текстов, состав которого может быть определен как размытое или нечеткое множество. Разумеется, было бы бессмысленным говорить о некоем всеобщем корпусе источников ТР для различ-

ных языков. Это не исключает наличия некоторых общих ТР в языках, объединенных общими элементами цивилизации. Таковы, вероятно, ТР из Библии. В ассоциативных словарях многих европейских языков (русском, украинском, белорусском, болгарском, польском, литовском, латышском, английском, немецком, французском) можно обнаружить бином *соль – земля*, восходящий к библейскому выражению *соль земли*. Количество подобных библейских ТР можно легко расширить. Общими могут быть для европейской цивилизации и ТР из некоторых известных текстов. Иначе было бы, видимо, затруднено полнокровное понимание многих текстов. Но в целом все же корпус источников ТР достаточно специфичен для каждого языка. Более того, соответствующий корпус текстов различен в различных сферах носителей языка, он довольно подвижен исторически не только в связи с появлением новых текстов, но и в связи с изменениями культурного уровня носителей языка, сменой господствующих политических взглядов в обществе и т.п. Применительно к русскому языку Ю.Н. Караулов решал вопрос о корпусе источников ТР в рамках своей теории прецедентных текстов [Караулов 1987: 216–237]. В принципе соображения эти представляются вполне убедительными, но, возможно, не следует ограничивать корпус источников ТР только "прецедентными" текстами из большой литературы. Едва ли должны быть изъяты из числа текстов, на базе которых возникают ТР, другие тексты, в том числе и газетные фельетоны (вспомним хотя бы многолетнее существование не самой удачной ТР из фельетона, кажется, второй половины 50-х годов *плесень* – о молодежи из "хороших семей", представители которой вели себя по тем временам, скажем, недостаточно стандартно), законы, инструкции и просто анкеты. Уместно в этих случаях говорить о различной долговечности ТР, о большей или меньшей роли их в осуществлении креативной функции языка, но полностью игнорировать их едва ли следует. Для языка ведь не так уж важен источник ТР и тем более его квалификация.

Корпус источников ТР довольно велик, хотя разработан он с разной степенью глубины. Так, ряд образов (лиц) и некоторые ситуации дал фольклор: *Илья Муромец*, *Соловей-разбойник*, *Садко*, *Алеша Попович*, *Добрыня Никитич*, *Иван-дурак*, *Василиса Прекрасная*, *Аленушка*, *Кащей Бессмертный*, *Баба Яга*, сидение сиднем тридцать три года, принятие решения у развязки дороги (*направо пойдешь...*), *хитрая лиса*, *голодный волк*, трусовато-хвастливый *заяц* и др.

Вопреки семидесятилетию государственного атеизма Библия продолжает оставаться источником множества ТР. Из Ветхого завета довольно употребителен ряд ТР к определенным ситуациям: семь дней творения, сотворение Евы, грехопадение Евы и Адама, изгнание из рая, всемирный потоп, Ноев ковчег, в коем *каждой твари по паре*, Вавилонское столпотворение, Иона во чреве китовом и мн. др. Колоритные ветхозаветные фигуры пророка Моисея и Давида-песнопевца, царя Соломона и Каина, Руфи и Сулаими, Хама и змия-соблазнителя живы благодаря своей яркой специфике и производимому ими впечатлению. Особенно много ТР из Нового завета, прежде всего из Евангелия: Благовещение и Рождество Христово, поклонение волхвов, усекновение главы Иоанна Крестителя, притчи о блудном сыне, об умных и глупых девах, об исцелении Лазаря и об изгнании бесов, рассказ о насыщении тысяч немногими хлебами, тайная вечеря, Иудин поцелуй, 30 сребреников, отречение Петра, крестный путь и распятие, воскресение и вознесение Христово – это далеко не полный перечень тех фрагментов из Священного писания, которые бытуют в повседневном нашем словоупотреблении как ТР. Быть может, стоит отметить, что определенную роль в этом плане сыграли названия произведений изобразительного искусства, которые все же оставались под своими именами не только на стенах музеев, но подчас и на страницах альбомов и на открытках.

Вошли в корпус источников ТР и некоторые произведения античной мифологии и литературы. Нередко вспоминаются подвиги Геракла, миф о Сцилле и Харибде, Прометей, царь Эдип, Парис, троянский конь, прекрасная Елена, странствия Одиссея

и терпеливое ожидание Пенелопы. Встречаются ТР и к произведениям древнерусской литературы. Плач Ярославны упоминает даже женщина легкого поведения – героиня "Русской красавицы" Виктора Ерофеева (гл. 13). Встречаются обращения к другим древнерусским текстам, в частности, к летописи (призыв прийти княжить и править нами с грустной констатацией, что *земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет*, актуальной, кажется, еще и тысячу лет спустя; крещение киевлян в Днепре и т.п.).

Не так уж редки у носителей русского языка ТР из произведений мировой (так называемой зарубежной) литературы. Ср. из той же "Русской красавицы": *У меня развился локальный комплекс Эммы Бовари* (гл. 3, ср. и гл. 12); *И основной, зубоскалит, вопрос – быть или убыть* (гл. 14); *Ты живуча как сорок тысяч кошек* (вероятно – аллюзия к сорока тысячам братьев; гл. 2, дважды). Нередки ТР из зарубежной литературы в прессе: *Ваша информация о проигрыше, как сказал бы Марк Твен, слегка преувеличена и преждевременна* (А и Ф. № 41, окт. 1993); *Наш человек в Берлине* (парафраза названия романа Грэма Грина; Лит. газ. 23 марта 1994). В очерке об акад. Н.П. Бехтеревой "Что там в Зазеркалье" (в заголовке – образ Л. Кэрролла): *Есть многое на свете, друг Горацио...* (Моск. новости. 27 февр. – 6 марта 1994). Стоит отметить популярность некоторых "непрограммных" – не изучаемых, кажется, нигде специально – произведений – таких, как романы А. Дюма: *Его любимым героем был Атос из "Трех мушкетеров"* (В. Гроссман. В Кисловодске). Можно указать и нередкие ТР из произведений литературы бывшего Советского Союза – от грузинской песни до современного автора из Киргизии: *Спойте хором песню "Сулико"* (Лит. газ. 23 марта 1994); *Освобождение от манкуртизма* (там же).

Но, разумеется, наибольшее место в корпусе источников ТР в русской языковой среде занимает русская литература. Прежде всего это так называемая программная литература – тексты, изучаемые в школе: Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Гончаров, Тютчев, Чехов, Маяковский, Горький. Очень популярен в этом плане Пушкин: *Мороз. И солнце...* (Лит. газ. 16 марта 1994; заголовок); *Мы уважать себя заставим* (Комсомольская правда, 23 марта 1994; заголовок); *Донесет своей пиковой даме* (В. Ерофеев. Русская красавица, гл. 9); *Иных уж нет, но "не" есть* (Ком. пр. 1–4 апр. 1994).

Немало ТР из текстов, которые не изучались в школе. Ср.: *Принц Серебряный* (Веч. Москва, 15 марта 1994). *Посади свои денежки, умный Буратино!* (Лит. газ. 16 марта 1994). Пожалуй, на первом месте здесь два романа И. Ильфа и Е. Петрова. Ср., например: *Подайте члену Государственной думы* (Ком. пр. 8–11 апр. 1994). Но немало ТР и из других авторов, чтение которых распространено в обществе в данный период (возможно, конечно, не весьма ограниченный во времени), например, из В. Набокова, Ю. Домбровского: *Чувствуешь себя вроде Цинцинната из "Приглашения на казнь"* (Лит. газ. 16 марта 1994); *Факультет нужных вещей* (Лит. газ. 16 марта 1994; заголовок).

Многие ТР отражают популярные (в разные годы – разные) песни: *Когда она пела "Нам уголок я убрала цветами"...* (Б. Можяев. Полтора квадратных метра, гл. 3); *Они обожали Вертинского* (В. Гроссман. В Кисловодске); *Каким ты был... таким ты и остался* (В. Ерофеев. Русская красавица, гл. 30; ср. кинофильм "Кубанские казаки"). Источниками многих ТР являются кинофильмы (в том числе их заглавия, песни из них): *Нас ждет холодное лето 1994* (Ком. пр. 4–7 апр. 1994); *Ша! Дибров думать будет* (Неделя. № 15, апр. 1994). Возможно, что в некоторых случаях именно экранизации литературных произведений оказываются важным фактором в возникновении ТР из них.

Определенную роль в корпусе источников ТР играют различного рода политические тексты; надо заметить, что они обычно не слишком долговечны. Юмор заголовка "Очередные дачи российской власти" (Ком. пр. 25 сент. 1993) очевиден тем, кто проработывал статью Ленина "Очередные задачи советской власти", но отсут-



ствуется для более молодых читателей, которые этого не сподобились. ТР *Анпилов еще покажет коммунистам кузькину мать* (Веч. Москва. 1 апр. 1994) ясна тем, кто помнит или знает, как угрожал *кузькиной матерью* капиталистам (как только им, бедным, было это понять?!) Хрущев, и вместе с тем знает (хоть приблизительно), кто такой Анпилов; но без этого "двойное дно" заголовка не срабатывает, а тем самым он теряет смысл. ТР политического происхождения требуют при восприятии, пожалуй, более обязательного (хотя и не абсолютно необходимого) понимания источника. Ср., к примеру: *Конечно, "Кресты" в сравнении с советскими тюрьмами – это еще тюрьма "с человеческим лицом"* (Русская мысль. 11 окт. 1991).

Особую роль среди источников ТР играет детская литература. Ведь в детском возрасте и память лучше функционирует, и душа воспринимает непосредственное и глубже. Вероятно, и большое количество ТР из школьной "программной" литературы с этим связано. Тогда ведь и читается нередко больше, чем в последующие "зрелые" годы. Вероятно, львиная доля общего фонда ТР формируется именно в детском, подростковом и юношеском возрасте. И многое из этой доли является источником ТР в повседневной живой речи, в письмах, да и в других самых разнообразных видах текстов. *Зазеркалье, Атос, Красная Шапочка, Винни-Пух* являются примером элементов интернационального фонда ТР, *вышедших из детства* (да простится мне эта невольная ТР), а многие сказочные персонажи входят в национальные серии ТР тоже из детства.

Разумеется, нельзя четко ограничить корпус источников ТР. "То, что читали (видели, слышали) все (или по крайней мере – многие)" – вероятно, не очень четкое, но, может быть, вполне реальное определение такого корпуса. Само понятие ТР не может быть жестким. Нередко соотнесение с источником реминисценции сомнительно не только для адресата, но и для адресанта, иногда такого соотнесения просто не возникает, а следовательно – как бы и нет ТР (хотя есть устойчивый штамп, источник которого не воспринимается его пользователем). Впрочем, язык – вообще не жесткая логическая машина, а устройство, потому и способное к передаче тончайших нюансов мыслей и чувств, что это устройство постоянно находится в динамике, постоянно подстраивается к нуждам общения, постоянно изменяется, не имея чрезмерно жестких правил. А ТР как раз и служат постоянному обновлению, расширению, обогащению коммуникативных возможностей языка как устройства для производства и восприятия текстов.

Четкого и тем более единого внешнего оформления ТР не имеют, хотя и получают иногда определенную интонационную характеристику, передающую чужую речь или намек на чуждость некоторого фрагмента текста. В письменной речи собственные имена автора или персонажа выделяются как все собственные имена, а цитаты иногда даются в кавычках, изредка выделяются теми или иными шрифтовыми подчеркиваниями (курсив, разрядка, жирный шрифт и под.), но часто остаются без всякого выделения, что затрудняет восприятие соответствующих фрагментов как ТР, но тем самым косвенно подчеркивает ценность правильного восприятия ТР как ТР. Рассматривая различного типа примеры ТР и их использования, приходится прийти к заключению, что специальной формой в языке ТР не располагают. Впрочем, наличие и единство специальной формы у фразеологизмов также сомнительно.

Тем не менее есть некоторые основания считать ТР как воспроизводимые элементы текста языковыми явлениями. Можно по-разному квалифицировать ТР – отражения прочитанного, услышанного, увиденного. Можно считать их частью языка, как фразеологический, лексический составы, как стилистические регистры, конечно, пограничной частью, требующей особого изучения с социолингвистической позиции (например, количественной оценки понимания их как реминисценций носителями языка, а вместе с тем и оценки эстетического восприятия текстов с ТР, а также целостного понимания текстов с такими реминисцентными элементами в зависимости от понимания их происхождения), специального анализа и установления корпуса

источников (живая этимология!). Конечно, ТР – переходная, пограничная часть языка, а потому требуется, например, изучение соотношения реминисцентных, фразеологических и свободных единиц на синхронической и диахронической оси. Анализ ТР связан с общими тенденциями увеличения места лингвистики текста в лингвистической науке, представляя собой весьма специфический аспект этого направления науки. В определенных направлениях изучение ТР связано с социолитературными и, возможно, даже с политологическими исследованиями. Анализ ТР может быть интереснейшим материалом, а в чем-то – и орудием психолингвистического изучения процессов производства и восприятия текстов (т.е. процессов речи).

ТР – на грани индивидуального и социального в системе языка и его использовании. Значительная часть ТР в реальных текстах представляет собой индивидуальные проявления памяти говорящего и слушающего (искушенной части слушающих). Для возникновения и функционирования ТР важно, как уже отмечено, чтобы ТР не ограничивались памятью адресанта, желательно, чтобы они вызывали соответствующий отклик у адресата. Определенная часть ТР объединяет широкий круг общающихся, иногда практически всех носителей социолекта или всех носителей данного языка. ТР могут возникать произвольно и относиться к частым, постоянным коннотациям некоторых слов и выражений. Именно в таких случаях усиливается основание считать ТР фрагментами языка как устройства (динамической структуры) для производства (порождения) и восприятия (дешифровки) текстов.

Можно говорить о близости или переплетении в нашей памяти хранилищ фразеологизмов, паремий и ТР. Вообще соотношение ТР и фразеологизмов чрезвычайно сложно. Есть достаточно оснований думать, что некоторые пословицы и фразеологические выражения возникли тоже из ТР, но затем соответствующие тексты были забыты, остались одни реминисценции (нередко – в усеченном виде), которые и входят в фразеологический состав языка (об этом писал В.В. Виноградов еще в самом начале разработки у нас теории фразеологии [Виноградов 1947: 357]). Быть может, главное отличие ТР от фразеологизмов – в том, что если фразеологизмы – в общем и целом – стремятся к потенциальному замещению слов, то ТР такой тенденции не имеют. В определенной мере эта особенность ТР сближает их с пословицами, но и здесь нет полного сходства, так как ТР нередко – не просто словесное выражение, но напоминание образа и ситуации. Конечно, ТР может быть сведена к упоминанию персонажа или автора, то есть к тому же одному слову, но это совсем не то же, что замещение фразеологизмом слова в некотором контексте. Здесь, напротив, – замещение словом (именем) некоторой ТР, а собственно ТР несводима к такому намеку, только к имени. Имя в данном случае лишь знак более широкого контекста, знак ТР.

Не вполне ясна организация хранения в памяти текстов или, зачастую, их своеобразных дайджестов, фрагменты которых могут быть использованы в самых различных ситуациях. Совершенно справедлива мысль о дейктивности "прецедентных высказываний", которые нами характеризуются как ТР, высказанная в связи с разбором путей возникновения "прецедентности" [Костомаров, Бурвикова 1994]. Конечно, чеховский *Ванька Жуков* чаще всего припоминается своим бессмертным адресом *на деревню дедушке*, но ведь в памяти хранится и судьба бедного деревенского мальчишки, получающего *выволочки* от своего хозяина. А из "Хамелеона" вспоминается и быстро меняющий свои мнения полицейский надзиратель (сходству которого в определенном смысле с существом, меняющим окраску в зависимости от окружающей среды, рассказ и обязан своим названием), и золотых дел мастер Хрюкин, и досужая публика, обсуждающая мелкое происшествие, и даже собачка, укусившая обидчика и вызвавшая этим все псевдособытие. Впрочем, ведь и слова поливалентны. А значит, хранилище таких знаков как дайджестов текстов может быть построено, как и хранение слов, по многомерной схеме.

Вероятно, нет принципиальной разницы в процессе возникновения ТР непровольного и осознанного характера. Этим хотелось бы отметить, что применение слова *использование* к п р е ц е д е н т н ы м т е к с т а м относится скорее всего

лишь к сознательному введению воспоминания о таком тексте в новый производимый в данный момент текст. Прежде всего произвольное или сознательное применение ТР различается, подобно обычному поиску нужного слова в устной и письменной речи при производстве текстов, по времени, что связано с возможностями перебора вариантов. Хотя, конечно, сборники "крылатых слов" имеются в редакциях и у авторов, могут существовать и соответствующие картотеки в той или иной форме (как существуют и самодельные словари вроде удостоенного публикации солженицынского "Русского словаря языкового расширения" [Солженицын 1990]), обращение к ним не всегда происходит в действительности, да и сам акт такого обращения при несовершенстве входов и выходов в подобные словари (что хорошо известно пользователям фразеологических словарей), как правило, имеет место скорее для уточнения, проверки ТР, чем для ее первичного поиска.

Нет принципиального различия в восприятии осознанных и непроизвольных ТР. В обоих случаях адресат разыскивает в своей памяти источник (с большей или меньшей точностью, очерченностью или размытостью), и лишь тогда ТР начинает быть для него ТР. Но ведь и с обычными словами имеет место нечто подобное: можно не знать, что такое *тринитробензол*, догадываясь лишь, что это химическое вещество, а, к примеру, *катальпа* – некое растение, но это не мешает в общем и целом понимать текст, где употреблены эти слова. Конечно, гораздо лучше было бы знать точнее, но бесконечные вопросы и порой споры между современными горожанами на тему "что это за дерево" или "какая это птичка" свидетельствуют о возможности или даже, точнее, реальности приблизительного восприятия значения немалого количества слов. В этом смысле ТР могут рассматриваться как достаточно типичные языковые единицы; не случайно вообще языковые единицы благодаря размытости границ своего содержания и формы потребовали введения математиками адекватного сути этих единиц понятия лингвистических переменных [Заде 1976]. Как правило, считается, что ожидаемый адресат текста может вспомнить, если не блестяще, то удовлетворительно, источник ТР и соответствующую ситуацию или образ в источнике. Изредка даже – с использованием какого-то пособия, помогающего уточнить источник и ситуацию, подобно тому как словарь помогает лучше понять слово. В реальности это не всегда так. Дело в том, что набор прецедентных текстов различен для разных членов социума: одни читали одни тексты, смотрели одни спектакли и фильмы, слушали одни романсы и песни, а другие – совсем иные, а потому ассоциации к прочитанному, услышанному и увиденному у одних носителей языка нередко отличаются от ассоциаций, имеющихся в сознании других носителей языка. Почти полное незнание многими иностранцами источников частых ТР, особенно специфически национальных, ведет к большим трудностям вполне адекватного (а значит – с раскрытием ТР!) понимания текстов и ставит лингводидактическую задачу установления некоего минимума прецедентных текстов, обеспечивающего адекватное восприятие хотя бы важнейших для данного языка ТР.

В функциональном плане ТР используются прежде всего для осуществления нескольких задач. Часто ТР служат для наиболее четкой, соответствующей замыслу передачи некоторого фрагмента сообщения с опорой на предшествующий словесный опыт. Так, использование штампов, стандартных формулировок в официальных, деловых и полуделовых сообщениях избавляет адресанта от необходимости заново придумывать уже найденные словесные формулы. Иногда подобного рода опора на прецедентный текст выполняет также определенную эстетическую подзадачу, обращая внимание адресата на уже имеющийся образ или на уже имеющуюся, с точки зрения адресанта хорошо подходящую характеристику.

Поскольку ТР оказываются одним из средств накопления знаний, они могут поместить тот или иной факт, о котором речь идет в тексте, в историческую перспективу, в вертикальный контекст. В стихотворении Анны Ахматовой "Привольем пахнет дикий мед" завершающие текст семь строк, соотносящие кровавые преступления, на которые намекается в тексте, написанном в 1933 году, с пре-

ступлениями Понтия Пилата и леди Макбет (прямо в стихотворении не названных), ставят те кровавые злодеяния, о которых идет речь, в единый исторический контекст с наиболее известными злодеяниями правящих особ в истории и напоминают, что такие преступления не забываются и кровь не может быть смыта с рук убийцы. В этом случае оказывается, что постановка некоторого события рядом с другими крупными историческими событиями придает тому, о чем речь, значительный (отрицательный или положительный) вес. Таковы ТР всего стихотворения "Распятие" (начиная с заглавия) в ахматовском "Реквиеме". Но помещение в исторический контекст некоторого события может служить демонстрации его мелочности и несоизмеримости с тем крупным, о котором речь в источнике, а следовательно, ТР имеет целью создать у адресата комический эффект при оценке им содержания сообщения. Мы видели такое намерение автора при использовании сокращенной цитаты из некрасовского стихотворения "Сеятелям".

Временами появление ТР в тексте связано с желанием адресанта использовать некий уже имеющийся образ в новом, не претендующим на оригинальную образность (например, газетном) сообщении, оживляя тем самым текст. Вероятно, с таким эстетическим функциональным использованием ТР связано довольно частое применение их в публицистике, например, в заголовках некоторых изданий.

ТР может быть использована как ссылка на авторитет, как своего рода подтверждение (если не доказательство) правильности высказываемой мысли, как указание на ее источник. Очень часты такого рода ТР в деловых, в частности, в научных текстах, но встречаются и в публицистике, а также других жанрах.

Специфический, в сильной мере индивидуализированный характер ТР обуславливает различные коннотации (возвышенную, повседневно-обыденную, ироническую) в зависимости от смысла всего высказывания, отражающие отношения адресанта (и всего кортежа общения) к содержанию мысли, к автору источника ТР, к обстоятельствам воспроизведения и т.д.

Текстовые реминисценции отличаются от обычных языковых единиц особенностями своей воспроизводимости: воспроизводится план содержания, но не может быть всегда и полностью воспроизведен план выражения, поскольку нет жесткой формы ТР; не только одна и та же ТР может иметь разные планы выражения (имя автора и имена персонажей в разных формах, цитата и намек на ситуацию или событие, название источника и косвенное указание хронотопа), но и вообще не существует некоего точного и обязательного плана выражения ТР. Надо сказать также, что хотя и имеется некоторый – пусть и расплывчатый, с размытыми границами – план содержания ТР, но это не семантика в обычном смысле слова – это не отношение к значениям других языковых единиц, это не место в семантической системе, а лишь аналогия подобной ситуации, подобному образу, подобному событию, уже описанному в другом тексте, память о котором сохраняют участники общения. В этом и состоит не просто периферийность, но и некоторая пограничность места ТР в языке: это скорее не строгие единицы как слова, морфемы, предложения, фразеологизмы, а такие элементы, которые относятся, быть может, больше к психологическим феноменам памяти, чем собственно языка как системы, но поскольку эта память – о словесных явлениях, она примыкает к языковому устройству и ТР могут рассматриваться как часть языка.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Адрианова-Перетц В.П.* 1947 – Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л., 1947.  
*Виноградов В.В.* 1947 – Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // А.А. Шахматов, 1864 – 1920: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1947.  
*Генкель М.А.* 1974 – Частотный словарь романа Д.Н. Мамина-Сибиряка "Приваловские миллионы". Пермь, 1974.  
*Заде Л.* 1976 – Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М., 1976.  
*Караулов Ю.Н.* 1987 – Русский язык и языковая личность. М., 1987.

- Клименко А.П.* 1974 – Лексическая системность и ее психолингвистическое изучение. Минск, 1974.
- Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д.* 1994 – Как тексты становятся прецедентными // Русский язык за рубежом. 1994. № 1.
- Лексика* 1981 – Лексика и фразеология "Моления" Даниила Заточника. Л., 1981.
- Лурия А.Р.* 1979 – Язык и сознание. М., 1979.
- PPP* 1978 – Русская разговорная речь: Тексты / Отв. ред. Е.А. Земская и Л.А. Капанадзе. М., 1978.
- Словарь Горького* 1975 – Словарь автобиографической трилогии М. Горького: Имена собственные (личные имена, географические названия и заглавия литературных произведений). Л., 1975.
- Солженицын А.И.* 1990 – Русский словарь языкового расширения. М., 1990.
- Супрун А.Е., Клименко А.П., Титова Л.Н.* 1975 – Текстовые реминисценции в ассоциативном эксперименте // Материалы V Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации (Ленинград, 27–30 мая 1975 г.). Ч. 1. М., 1975.
- Титова Л.Н.* 1975 – Киргизско-русский ассоциативный словарь. Фрунзе, 1975.
- Тынянов Ю.* 1983 – Корней Чуковский // Воспоминания о Корнее Чуковском. М., 1983.
- Ульянов Ю.Е.* 1988 – Латвийско-русский ассоциативный словарь. Рига, 1988.
- Фрэзер Дж.Дж.* 1990 – Фольклор в Ветхом завете. М., 1990.

© 1995 г. П.В. ДУРСТ-АНДЕРСЕН

**МЕНТАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СУПЕРТИПЫ\***

**1. ВВЕДЕНИЕ**

Не вдаваясь в подробности нынешнего состояния типологических исследований языков мира, упомянем лишь самые главные, на наш взгляд, черты, характеризующие, за исключением отдельных работ [Тань 1994], не только чисто типологические исследования, но и работы по общей теории языка. Кроме типологических работ Г.А. Климова [Климов 1977, 1983], в которых языки активного, эргативного и номинативного строя рассматриваются как построенные на различных основаниях, работы в области традиционной типологии трактуют разные типы как возможные манифестации языка-эталона, ключевые категории которого более или менее соответствуют категориям латинского языка. Что касается синтаксической типологии, она включает в себя такие синтаксические компоненты, как подлежащее, прямое и косвенное дополнения и такие семантические компоненты, как агент, пациент, реципиент, а также соответствующие синтаксические связи переходности и непереходности и семантические связи целенаправленности и нецеленаправленности. Например, в рамках так называемого функционального направления в западной лингвистике [Comrie 1981, Givón 1984, Keenan 1984, Dixon 1994] причина различия между языками номинативного и эргативного строя сводится к следующему. В связи с наличием глаголов с двумя актантами, т.е. с подлежащим и прямым дополнением, каждый язык должен установить различие между первым и вторым актантами во избежание недоразумений при коммуникации. Языки номинативного строя выбирают один путь (различие маркируется прямым дополнением), а языки эргативного строя — другой (различие маркируется подлежащим). Таким образом, лингвистическое выражение выдвигается на передний план, а лингвистическое содержание почти утрачивает свое значение [Greenberg 1989]. В результате семантический синтаксис эргативного языка ничем не отличается от семантического синтаксиса номинативного языка: в обоих случаях имеется прямое дополнение, которое выражает пациент, но выражает его нулевым суффиксом. Понимание такого же рода можно найти и у Н. Хомского, который считает, что существует универсальная грамматика с наличием так называемых "пустых" параметров. Грамматика каждого языка является результатом выбора между различными параметрами. Во-первых, не все установленные в универсальной грамматике принципы реализуются в каждом языке. Во-вторых, в отдельных языках имеется выбор между значениями "маркировано" и "немаркировано" [Chomsky 1986]. В принципе, на основе параметров универсальной грамматики можно было бы выделить разные типы грамматических систем, но это предполагало бы наличие либо определенных гипер-принципов с управляющей силой, либо

\* Настоящая работа представляет собой обработанную версию доклада, прочитанного 22.XI.1994 в Институте языкознания РАН. Автор хотел бы поблагодарить Г.А. Климова, В.Г. Гака, Ю.Д. Дешериева, Л.С. Ермолаеву за ценные замечания и проявленный ими искренний интерес к результатам его исследований.

определенных уровней описания со своими параметрами. Такие гипер-принципы и такие уровни до сих пор не были определены. Существует, однако, ряд общих принципов, отдельные из которых явно противоречат конкретной языковой действительности, например, принцип, согласно которому любое предложение имеет обязательное подлежащее (см. критику такого постулата у Л. Бэбби [Babby 1989, 1994]). Иными словами, сторонники теории управления и связывания (GB-theory) также придерживаются мнения, что все языки построены на одной и той же основе.

В последние годы в лингвистической типологии наметились контуры нового направления, получившего название "контрастивная типология" [Hawkins 1986, Müller-Gotama 1992]. В этой отрасли типологии, находящейся в самом начале своего развития, проявляется интерес к явлению "гармонии" между различными категориями определенного языка, а также к причинам отсутствия категорий в одном языке, играющих центральную роль в другом. Такой интерес замечался и раньше. Речь идет не только о взаимосвязи грамматических явлений в одном типе языков, например, в языках активного строя [Климов 1977], но и о взаимосвязанности отдельных категорий в одном языке, например, категории вида русского глагола с категорией падежа [Jakobson 1936, Timberlake 1982]. Однако традиционная типология не в состоянии дать убедительной трактовки этих феноменов. Это объясняется не только отсутствием разных "глубинных структур" и адекватных понятий в современном языкознании, но и стремлением найти унифицированные средства в одном языке, выражающие, как предполагается, то же содержание, которое грамматикализовано в другом языке, как если бы разница между этими двумя языками состояла только в средствах выражения.

Нам хотелось бы выдвинуть гипотезу, что не все языки грамматикализованы на одной основе. Мы считаем, что необходимо установить различие между структурами действительности, структурами сознания и структурами языка. Само собой разумеется, что все существующие в мире языки созданы человеком с помощью головного мозга, но это не означает, что они были образованы с помощью одних и тех же механизмов сознания или в одном и том же участке мозга. В продолжение нашей докторской диссертации [Durst-Andersen 1992], в которой совершенный и несовершенный виды русского глагола трактуются как языковые эквиваленты отдельных ментальных моделей, нам хотелось бы в обобщенном виде представить основные положения теории образования центральных категорий языка на основе разных структур сознания. В соответствии с данной теорией грамматические системы разных языков грамматикализованы, но на основе структур сознания, которые, каждая по-своему, отражают определенные структуры действительности. Иными словами, одни и те же структуры действительности отражаются в человеческом сознании на трех уровнях. Эти уровни когнитивных структур универсальны в том смысле, что в сознании всех народов имеются одни и те же структуры. В противоположность когнитивным структурам следует различать языковые структуры разных языков, которые соотносятся с одной и той же моделью отражения действительности в человеческом сознании. Таким образом, разные языки группируются вокруг определенных "супертипов" (или "гипертипов"), соответствующих трем названным уровням когнитивных структур.

На основе коммуникативной модели К. Бюлера [Bühler 1933], базирующейся на экспрессивной, апеллятивной и репрезентативной функциях языка, выдвигается новая теория супертипов, согласно которой грамматические категории и синтаксические структуры отдельного языка построены на одном из следующих элементов: либо на коммуникативном намерении говорящего, являющемся симптомом, т.е. отражением его эмоций и мыслей, либо на сообщении, предназначенном для слушающего и представляющем собой сигнал в его адрес, либо на ситуации, символом которой служит структура предложений такого языка. Само собой разумеется, что при порождении речи все три языковые функции воплощаются в конкретные, речевые функции в любом языке, но это отнюдь не означает, что грамматические структуры

всех языков построены на все трех языковых функциях. Разные структуры отдельного языка не могут указывать одновременно на говорящего, слушающего и реальность.

Каждый супертип имеет свою детерминирующую категорию [Климов 1977] в системе категорий вида, времени и наклонения. Русский и французский языки имеют совершенный и несовершенный виды, английский и датский — перфект и имперфект (т.е. две формы времени), грузинский и турецкий — прямое и косвенное восприятие ситуации говорящим (т.е. две особые формы наклонения). Хотя вполне можно утверждать, что каждая центральная категория определяет структуру всей базисной системы этих трех языков, обеспечивая при этом полное внутреннее согласование среди членов центральной и периферийных категорий отдельного языка [Живов, Успенский 1973], это не означает, что два языка, принадлежащие к одному и тому же супертипу, имеют одну и ту же систему. В этом отношении наша теория основывается на предложенной Е. Косериу [Coseriu 1965] тетрадомии языка. Итак, мы исходим из понимания языка как четырехстороннего явления, включающего тип (т.е. супертип по нашей терминологии), систему, норму и речь. Из-за разных толкований одних и тех же явлений и из-за разного рода обобщений языки, принадлежащие к одному и тому же супертипу, реализуются в виде разных систем. На уровне супертипа речь идет о принципах, которые предоставляют ряд возможностей. На уровне системы речь идет о правилах, которые, каждое по-своему, представляют собой конкретные манифестации одного и того же принципа<sup>1</sup>.

## 2. ЯЗЫКИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ГОВОРЯЩЕГО, И МЕНТАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Предположим, что в человеческом сознании существует "центр", который с помощью ментальных инструкций в состоянии идентифицировать разные ситуации окружающей действительности. Некоторые из них идентифицируются на основе прямого, физического восприятия. Например, простая ситуация "состояние" идентифицируется как стабильное изображение, простая ситуация "деятельность" — как нестабильное изображение. В то время как простые ситуации могут различаться визуальным способом [состояние (q) отражается в виде стабильного образа на "перцептуальном экране", а деятельность (p) в виде нестабильного образа], сложные ситуации (такие как события и процессы, состоящие из ситуаций "деятельность" и "состояние", т.е. из простых ситуаций) идентифицируются с помощью "инструкций", т.е. ментальных указаний. Событие (состояние, каузированное деятельностью) идентифицируется на основе принятия двух сообщений, которые противоречат друг другу. Приведем пример. Если я видел своими глазами, что на столе ничего нет (-q), и если я вдруг увижу вазу на том же столе (q), то я могу сделать вывод, что кто-то продуцировал деятельность, которая каузировала состояние "на столе есть ваза". Я хорошо знаю, что состояние "на столе ничего нет" и "на столе есть ваза" не могут существовать в одном и том же мире, и поэтому я решил, что "на столе ничего нет" принадлежит к прошлому, а "на столе есть ваза" принадлежит к настоящему. Иными словами, произошло изменение состояния (-q → q). Хотя я не видел деятельности, я решил, что какая-то деятельность является причиной изменения состояния. Я пришел к такому выводу автоматически и бессознательно, используя инструкцию событий (если  $-q \wedge q$ , то p причина q). Из-за отсутствия эквивалентного отражения деятельности на перцептуальном экране, событие было воспринято не прямо, а косвенно. Если бы я видел деятельность "кто-то продуцирует деятельность с вазой в руках в направлении стола" (или, скорее всего, если бы я идентифицировал процесс на основе

<sup>1</sup> Мне хотелось бы предупредить читателя о том, что наше изложение грамматик разных отдельных языков не претендует на статус исчерпывающего описания. Это будет гипер-грамматика, т.е. объяснение с принципиальной точки зрения грамматических явлений, которые, в свою очередь, ждут конкретных описаний.



инструкции процессов, т.е. если р делает возможным q, то р ЦЕЛЬ q), и если бы через некоторое время я увидел вазу на столе, событие, идентифицированное мной, было бы воспринято непосредственно [Дурст-Андерсен 1992].

В турецком языке обязательный выбор между формой *-dl*, которая выражает непосредственное восприятие, и формой *-mlŝ*, которая выражает косвенное или опосредованное восприятие [Aksu-Koç 1988; Slobin, Aksu-Koç 1982]. Допустим, что турок пришел в гости к другому турку, и, увидев шляпу друга Кемалья, он воскликнет: *Kemal gelmiş* "Кемаль, видно, пришел!" В данном случае употребляется форма косвенного восприятия, потому что говорящий не видел деятельности Кемалья. Если бы он сам видел, как Кемаль идет в квартиру друга, ему пришлось бы употребить форму *-dl* (*Kemal geldi* "Кемаль пришел"), потому что она выражает непосредственное восприятие говорящим события.

Языки, грамматическая система которых базируется на инструктивном уровне, т.е. на том уровне, где на основе отражающихся на сетчатке глаза стабильных и нестабильных картин идентифицируются различные ситуации действительности, имплицитно обязательный выбор в системе категорий наклонения между воспринятым/невоспринятым говорящим содержанием высказывания. Вследствие этого другие категории языка должны указывать на прямое/непрямое восприятие говорящим содержания, главным образом, как показывают исследования языков с такой системой [Willett 1988], на присутствие/отсутствие в его сознании визуального восприятия ситуации, представленной данной формой глагола. Следовательно, возникает вопрос, какие эквиваленты имеют явления внешнего мира: образные или необразные. Указанные языки соотносятся с внутренним миром говорящего и высказывание трактуется как отражение либо внешних впечатлений, либо внутренних мыслей. Грамматические и синтаксические структуры такого супертипа, представителям которого мы дали название "speaker-based languages" (языки, ориентированные на говорящего), вербализуют эмоции и мысли говорящего в широком смысле этого слова и тем самым манифестируют экспрессивную функцию языка, т.е. функцию, соотносимую с говорящим.

## 2.1. Турецкий и грузинский языки как разные реализации данного супертипа

Хотя турецкий и грузинский языки генетически не связаны (турецкий язык принадлежит к так называемой южной группе тюркских языков, а грузинский к картвельской группе кавказских языков), хотя они различны и в плане морфологической типологии (турецкий язык относится к чисто агглютинативным языкам, а грузинский скорее является слабо агглютинативным языком с явными чертами флективности), и в плане синтаксической типологии (турецкий язык входит в состав номинативного строя, а грузинский в состав языков активного/эргативного строя), тем не менее оба эти языка можно охарактеризовать как "speaker-based languages", поскольку вся грамматическая система обоих языков пронизана ориентацией на выражение впечатлений говорящего в широком смысле слова. Как свидетельствует языковой материал, разница между данными языками заключается в том, что гиперкатегория "прямое/непрямое восприятие" закодирована по-разному. В турецком языке она грамматикализована уже в системе форм настоящего времени, в то время как в грузинском языке она зафиксирована в системе форм прошедшего времени.

Турецкий язык располагает двумя формами глагола "быть" — формой на *-Ø*, например, *Bugün hava güzel* "Сегодня погода прекрасна", и формой на *-dir*, например, *Istanbul'da hava güzeldir* "В Истанбуле погода прекрасная". Хотя, на первый взгляд, разница в семантике этих двух высказываний напоминает разницу в употреблении краткой и полной форм русского прилагательного (нулевая форма описывает, а форма на *-dir* характеризует/классифицирует погоду), из других примеров явствует,

что разница здесь иная. Например, высказывание *O Ankara'dadir* "Он, дескать, находится в Анкаре" выражает "чужую речь", тогда как *O Ankara'da* "Он находится в Анкаре" имплицитно, что говорящий сам ответственен за истину выражаемой пропозиции, потому что он видел его именно в этом городе своими глазами. Такую же систему можно найти и среди полнозначных глаголов, в которых разница выражается определенной формой настоящего времени на *-Iyor* (например, *görüyor* "видит") и неопределенной формой на *-Ar* (например, *görür* "видит/увидит"). Хотя *Her sabah gazete okuyor* "Каждое утро он читает газету" можно перевести на английский язык с помощью *ing*-овой формы (*He is reading his newspaper every morning*), форма на *-Iyor* не представляет собой часть видовой оппозиции. Турецкая форма указывает на источник информации, т.е. на говорящего, который отвечает за истину пропозиции. Она указывает на непосредственное или сознательное восприятие говорящим содержания высказывания. Форма на *-ar* указывает на косвенное восприятие говорящим содержания, т.е., употребляя эту форму, говорящий показывает слушающему, что он сам не отвечает за истину пропозиции. Хотя форма прогрессивного вида английского глагола также включает в себя визуализацию, она направлена на слушающего — она преподносит ему деятельность/состояние как нестабильную/стабильную картину, но не отражает источник передаваемой информации. Так как форма на *-Iyor* (в противоположность форме на *-Ar*, которая безразлична к истинности пропозиции) показывает, что говорящий полностью отвечает за содержание, она также может обозначать запланированное действие, т.е. будущее действие, которое уже зафиксировано в мозгу говорящего. Форма на *-ar* употребляется для обозначения возможного действия, за результат которого говорящий не может отвечать полностью. Как было упомянуто выше, такая же закономерность наблюдается и в системе форм прошедшего времени. Форма на *-di* указывает на то, что событие, обозначаемое данным глаголом, либо непосредственно воспринято говорящим, либо, по мнению говорящего, настолько хорошо обосновано, что он сам может отвечать за истину пропозиции. Форма *-miş* немаркирована в этом отношении, и поэтому она употребляется для обозначения разного рода событий, косвенно воспринятых говорящим. Не вдаваясь в описание всех остальных элементов грамматической системы турецкого языка, упомянем лишь систему указательных местоимений, которая отражает три плана расположения предметов в пространстве с точки зрения говорящего: *bu* "этот", *şu* "воот тот", *o* "тот".

Что касается грузинского языка, который располагает подобной же системой указательных местоимений и наречий, нам хотелось бы сосредоточить внимание на общеизвестной, но еще не объясненной "гармонии" между категориями и структурами разных уровней [Гецадзе, Гайдарова 1982; Harris 1982; Holisky 1981]. Синтаксические структуры грузинского языка зависят от форм вида, времени, наклонения. В так называемой первой серии времен и наклонения (настоящего совершенного и несовершенного видов) представлена номинативная конструкция, т.е. подлежащее выражается именительным падежом, а прямое дополнение дательным, ср.: *Mxaṭvar-i* (им.) *surat-s* (дат.) *xaṭavs* (наст. несов.) "Художник рисует картину", т.е. художник в момент речи продуцирует рисование с целью, чтобы в мире существовала картина. Говорящий сам видел деятельность, но не видел состояния. Во второй серии, т.е. в группе аориста, представлен эргативный строй предложения, т.е. подлежащее выражается эргативным падежом, а прямое дополнение именительным, ср.: *Mxaṭvar-ta* (эрг.) *surat-i* (им.) *daṭaṭa* (аор. сов.) "Художник нарисовал картину", т.е. художник продуцировал деятельность, каузировавшую состояние "картина существует в этом мире". Говорящий сам видел и деятельность, и новое состояние — событие непосредственно воспринято. В третьей серии (куда входит перфект) имеется подлежащая конструкция предложения, т.е. подлежащее выражается дательным падежом, а прямое дополнение именительным, ср.: *Mxaṭvar-s* (дат.) *dauxaṭavs* (перф. (сов.)) *surat-i* (им.) "Художник, оказывается/видно, нарисовал картину", т.е. данная конструкция также представляет собой действие как событие (а не как процесс), но на этот раз

говорящий видел новое состояние и на этой основе решил, что какая-то деятельность определенного художника является причиной возникновения картины. Иными словами, событие было косвенно воспринято говорящим. Сказанное дает возможность сделать следующие выводы. Когда пропозиция обозначает объективный факт внешнего мира, т.е. когда говорящий наблюдал деятельность или состояние, употребляется именительный падеж, а когда пропозиция обозначает субъективный факт внутреннего мира говорящего т.е. когда он не видел деятельности или состояния, употребляется дательный падеж. Таким образом, и именительный, и дательный падежи занимают место подлежащего, но не место подлежащего обыкновенного предложения, а место субъекта пропозиции, содержащей либо описание деятельности, либо описание состояния. Именно этим объясняется наличие двойного согласования в грузинском языке (понятий переходности и прямого дополнения в системе синтаксических категорий не существует). Разница между именительным и эргативным падежами сводится к тому, что эргативный падеж обозначает партиципанта, продуцировавшего деятельность, которая является причиной нового состояния, а у именительного падежа такого ограничения нет. Итак, существует явное внутреннее согласование среди разного рода грамматических явлений. По-видимому, в грузинском языке предложения, обозначающие действия, разделяются на две части: на часть, выражающую активность, и на часть, выражающую неактивность. Поэтому не следует удивляться, что грузинский язык делает различие между так называемыми динамическими и статическими глаголами (последние не располагают аористом). Таким образом, мы вполне можем согласиться с точкой зрения Г.А. Климова и М.Е. Алексеева, что грузинский язык, взятый в своей целостности, напоминает язык активного строя [Климов, Алексеев 1980: 78—169].

### 3. ЯЗЫКИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА РЕАЛЬНОСТЬ И РАЗНЫЕ МЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

Предположим, что в человеческом сознании существует "центр", в котором находятся ментальные модели ситуаций, идентифицирующихся с помощью ментальных инструкций событий и процессов. Ментальная модель событий дает возможность понять, почему сама причина состояния, т.е. деятельность, каузивовавшая новое состояние, вдруг появилась в сознании, хотя человек, идентифицировавший событие, не видел деятельности. Модель ассимилирует событие, которое имело место, в соответствии с инструкцией событий. Однако люди в состоянии идентифицировать не только события, но и процессы, т.е. они в состоянии предвидеть будущее изменение состояния, имея только нестабильную картину на сетчатке глаза. Когда кто-то несет вазу по направлению к столу, то я могу догадаться, что ваза скоро будет на столе. Я идентифицировал не только деятельность на основе восприятия нестабильной картины, но и процесс, т.е. деятельность, имеющую состояние своей целью: «Кто-то продуцирует деятельность с целью каузивовать состояние "на столе есть ваза"». Это состояние не воспринято глазами — оно не могло быть воспринято, потому что его не существует в действительности. Иными словами, ментальная модель процессов объясняет факт возникновения представления о данном состоянии в сознании, хотя самого состояния в действительности еще не существовало [Durst-Andersen 1992].

Перед носителем русского языка стоит обязательный выбор между совершенным видом, который вербализует ментальную модель событий, и несовершенным видом, который представляет собой языковое выражение ментальной модели процессов. Допустим, что я увидел вазу на столе и воскликнул: *Кто-то поставил вазу на стол!* Здесь я употребляю совершенный вид, потому что презентирую действие "X BRING Y TO Z VIA M" как событие, т.е. как состояние, каузивованное деятельностью. Если бы я увидел жену, несущую вазу в направлении стола, и если бы в тот же момент мне задали вопрос *Что делает жена?*, я ответил бы: *Она ставит вазу на стол.* Здесь я

употребил бы несовершенный вид, потому что в момент речи жена производит деятельность с целью каузировать состояние "на столе есть ваза" [Durst-Andersen 1994].

Языки, грамматическая система которых базируется на уровне ментальных моделей, с помощью которых ассимилируются идентифицированные ситуации действительности, имплицитно обязателен выбор в системе категорий вида между событием и несобытием. В результате другие категории языка вынуждены указывать на внутреннюю структуру и организацию этих ситуаций, главным образом, на присутствие/отсутствие предметов в ситуации, представленной данной видовой формой. Итак, языковая структура указывает на действительность, и высказывание в этих языках трактуется как отражение ситуации действительности и их внутренней структуры. Грамматические и синтаксические структуры такого супертипа, отдельные представители которого именуются "reality-languages" (языки, ориентированные на реальность), отражают или, говоря в философских терминах, символизируют внешнюю и внутреннюю организацию действительности и тем самым манифестируют репрезентативную функцию языка, т.е. функцию соотнесения его с предметами и ситуациями реальности<sup>2</sup>.

### 3.1. Русский и французский языки как разные реализации данного супертипа

Может быть, трудно представить себе, что русский и французский языки, которые, как может показаться на первый взгляд, так далеки друг от друга, принадлежат к одному и тому же супертипу. Нам придется уточнить, что имеется в виду только устный вариант французского языка, из которого форма "passé simple" выпала и ее функции заменены формой "passé composé". Это означает резкий поворот в системе категорий времени и вида. Можно сказать, что письменный вариант французского языка представляет собой временную систему с категорией вида, а его устный вариант — видовую систему с категорией времени. Следовательно, французский язык в настоящее время находится в процессе развития, направление которого отражено в устном варианте, т.е. он развивается в направлении к супертипу, в состав которого входит русский язык. Это развитие вовсе не закончилось, и поэтому "новая форма мышления" ощущается только местами. С этой принципиальной позиции мы вернемся к более подробному рассмотрению грамматической системы устного варианта французского языка после разбора грамматической системы русского языка.

Категории вида, времени и наклонения русского глагола каждая по-своему играют роль в создании единой системы, но вид все-таки является самой основой, составляет исходный пункт не только создания глагольной системы, но и построения названного супертипа. Можно объяснить роль этих трех категорий следующим образом. Вид русского глагола создает для слушающего копию определенной части действительности: совершенный вид показывает ему копию события, а несовершенный вид — копию процесса [Дурст-Андерсен 1994]. Категория времени локализует оригинал в действительности исходя из момента речи/восприятия: форма прошедшего времени относит деятельность, составляющую первую часть события или процесса, к действительности, существующей до момента речи/восприятия (т.е. речь идет о прошедшем действии), а форма настоящего времени локализует деятельность на участке действительности, который по времени совпадает с моментом речи (т.е. процесс, проходящий в настоящем времени, соотносится с несовершенным видом, а событие, которое будет иметь место в будущем времени, соотносится с совершенным видом). Наклонение русского глагола маркирует отношение между копией, создаваемой видовой формой, и оригиналом, локализуемым в действительности временной формой. Индикатив ставит знак равенства между копией и оригиналом, т.е. он

<sup>2</sup> Интересно, что В.Г. Гак уже 21 год назад затрагивал вопросы русского и французского синтаксиса, исходя из структуры действительности [Гак 1974].

обозначает истинную референцию (ср.: *Он открыл окно*). Неиндикативные формы наклонения обозначают ситуации, которые существуют не в реальном мире, а только в мире воображения. Сослагательное наклонение обозначает отсутствие оригинала как неизменяемый факт (ср.: *Он открыл бы окно*), тогда как повелительное наклонение рассматривает это как факт, который нужно изменить (ср.: *Откройте окно*). Употребляя императив, адресант просит адресата создать оригинал на основе копии. В случае употребления сослагательного наклонения слушающий спрашивает самого себя, почему говорящий показал ему копию, у которой оригинала нет, и он сам может ответить: может быть, потому что говорящий хотел, чтобы такой оригинал существовал (поэтому форма также употребляется именно в этом транспозитивном значении). На наш взгляд, все это дает объяснение тому факту, что грамматическая система русского языка основана на понятии референции. Вот почему в русском языке надо употреблять форму настоящего времени в высказываниях типа *Брат уже 5 лет в Москве*: в момент речи есть референция — он сейчас находится в состоянии, обозначаемом глаголом. Если такой референции нет, обязательно употребляется форма прошедшего времени, ср.: *Брат был 5 лет в Москве*. Такая же форма мышления наблюдается и в системах местоимений *-то/-нибудь, ничего/ничего* и др. Форма *-то* предполагает референцию (ср.: *кто-то звонил*), в то время как *-нибудь* обозначает отсутствие референции (ср.: *кто-нибудь звонил?*). Разница между местоимениями "*ничего/никого*" и местоимениями "*ничего/некого*" такая же. Высказывание *Профессор ни с кем не говорил* предполагает референцию — был хоть один, с кем он мог бы говорить, тогда как в высказывании *Профессору не с кем поговорить* такая референция отрицается<sup>3</sup>.

Если посмотреть на падежную систему русского языка, конечно, сразу же бросается в глаза употребление родительного падежа вместо именительного и винительного падежей в связи с отрицанием, ср.: *Его не было дома* (локальной референции нет) и *Он не знает тайги* (локальной референции тоже нет — имеется в виду понятие тайги). Оказывается, что именительный, винительный и предложный падежи референтны в том смысле, что они предполагают локальную референцию. Все косвенные падежи немаркированы в этом отношении, и по этой причине они занимают винительный падеж в случае, если речь идет о глобальной, а не локальной референции, ср.: *Он избегает трудностей* (трудностей нет в "локальной" ситуации, обозначаемой глаголом, — нет контакта между агентом и "пациентом"), *Он изменяет жене* (жена не находится в ситуации, обозначаемой глаголом, — нет контакта между агентом и "пациентом"), *Она злоупотребляет терпением мужа* (терпение не находится в "локальной" ситуации, но жена продуцирует действия, от которых терпение мужа косвенно страдает). Нам хотелось бы предложить термин "прямой пациент" для обозначения прямого дополнения, выражаемого винительным падежом, и термин "косвенный пациент" для обозначения косвенного дополнения, выражаемого одним из косвенных падежей. "Косвенный пациент" понимается как макро-роль, которая реализуется как средство.

Система русских предлогов также отражает понятия присутствия/отсутствия контакта (ср.: *Он едет через город, Ему надо уйти в десять, С 10 по 20-е*), тогда как предлоги, которые управляют нереперентным падежом, обозначают отсутствие контакта (ср.: *Он едет мимо города, К десяти ему надо быть дома, С 10 до 20-го*).

Если посмотреть на разницу между так называемыми лексическим и грамматическим глаголами *быть* с точки зрения нашего супертипа, лексический глагол обозначает внешнюю реальность, т.е. локативность и поссессивность, в то время как грамматический глагол обозначает внутреннюю реальность т.е. краткая форма

<sup>3</sup> Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев также рассматривают различие между формами 2 л. ед. числа и 3 л. мн. числа, т.е. различие между *скажешь* и *скажут* как различие между референцией и нереперентцией [Булыгина, Шмелев 1991].

прилагательного описывает впечатление (ср.: *Эта книга мне интересна*), а полная форма обозначает качество определенного предмета, включая его в класс, к которому он, естественно, принадлежит (ср.: *Эта книга интересная*). Такого рода гипер-грамматика может объяснить явления, которые трудно объясняются в существующих грамматиках русского языка, если они вообще упоминаются: *На Украине нет ни одного города, который не голодал бы во время войны*. Почему употребляется сослагательное наклонение в русском языке, а в английском и датском нет? Дело в гармонии между предложениями: так как родительный падеж обозначает отсутствие референции, надо употребить категорию, настроенную на тот же канал [Durst-Andersen 1995].

Перевод последнего высказывания на французский язык (*En Ukraine, il n'y a pas de ville qui n'ait pas souffert de la famine pendant la guerre*) указывает на то, что французский и русский языки, должно быть, построены на какой-то общей основе. Во-первых, конструкция с *de* в связи с отрицанием подлежащего, т.е. *ne... pas de ville*, напоминает употребление родительного падежа русского языка: если локальной референции нет, именительный падеж не употребляется. То же самое наблюдается и в связи с отрицанием прямого дополнения (ср.: *Il n'avait pas acheté de bonbons* "Он не купил конфет"): когда локальной референции нет, употребляется конструкция с предлогом *de*, являющимся (вместе со всеми предлогами французского языка) показателем косвенного падежа [Herslund, Sørensen 1994]. Во-вторых, употребление сослагательного наклонения в придаточном предложении указывает на применение одинаковых принципов [Nølke 1985]. Однако система наклонения французского языка развивалась иначе. Сюзжонктив и индикатив французского языка отличаются от изъявительного и сослагательного наклонений русского языка различным пониманием объема действительности. Можно сказать, что французский язык отделяет внутреннюю реальность от внешней реальности (ср.: *Il semble que Marie est malade* "Кажется (думаю), Мария больна" и *Il semble que Marie soit malade* "Мне кажется (вижу), Мария больна") [Guillaume 1929; Nølke 1994]. Такого рода различия нет в русском языке, но оно было обнаружено нами при анализе лексического и грамматического глаголов *быть*. Однако, как уже было сказано выше, мы не могли бы включить французский язык в состав языков с ориентацией на реальность, если бы французский аорист не пропал в устном варианте французского языка. Форма *passé composé* — маркированный член новой видовой оппозиции, она представляет действие как событие, ср. *Il a envoyé sa femme à Nice* "Он отправил жену в Ниццу", т.е. *passé composé* констатирует состояние "жена находится в Ницце" и предполагает деятельность "он продуцировал деятельность с какой-то целью". Форма *imparfait* представляет действие как процесс, ср.: *Il lisait une carte* "Он изучал карту". Форма *imparfait* похожа на прогрессивный вид английского языка и несовершенный вид чешского языка в том, что она имеет картинное представление, ср. *Cinq minutes plus tard, il mourait* "Через 5 минут он умер", т.е. при особых условиях она может указывать на событие, но она не может представить действие как событие. Используя французский несовершенный вид вместо совершенного вида в репортажах о футбольном матче или вообще о событиях дня по радио или телевидению, комментатор образно описывает события, происходящие перед глазами. Короче говоря, когда форма *imparfait* заменяет форму *passé composé*, она преподносит событие как образ. Кроме этого, можно сказать, что разница между видовыми системами русского и разговорного французского языков заключается скорее не в содержании, а в объеме. В то время как русский язык располагает разного рода способами выражения действия посредством глаголов состояния и деятельности, во французском языке не наблюдается такого расширения на базе существования чистовидовых пар среди глаголов действия. Таким образом, глаголы состояния и деятельности во французском языке все еще имеют следы старой перфектной системы.

#### 4. ЯЗЫКИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА СЛУШАЮЩЕГО, И РАЗНЫЕ МЕНТАЛЬНЫЕ АРХИВЫ

Предположим, что в человеческом сознании существует третий "центр", в котором хранятся все ассимилированные ситуации, т.е. состояния, деятельность, процессы, события. Ментальный архив, должно быть, состоит из архивов прошлого и настоящего. Ментальный архив прошлого включает в себя все впечатления, у которых уже нет конкретных эквивалентов в реальном мире. Итак, в этом месте сохраняются только копии ситуаций прошлого. Ментальный архив настоящего включает в себя все впечатления, у которых есть конкретные эквиваленты в реальном мире. Таким образом, в данном месте сохраняются только копии ситуаций настоящего. Архивное место не играет роли в случае простых ситуаций, но играет большую роль в случае сложных ситуаций. Состояние всегда хранится в виде фотографии, а деятельность всегда в виде фильма независимо от типа ментального архива. Но если речь идет о процессах и событиях, то дела обстоят иначе. Приведем пример: *Однажды Борис, который промышляет воровством, решил проникнуть в особняк богатого предпринимателя. Он планирует проникнуть в его дом в 10.00 вечера. Именно в этот момент он переступает порог дома. Он начинает осматривать все комнаты, все ящики каждой отдельной комнаты. Он не может найти денег. Вместо денег Борису удается найти очень дорогие часы из чистого золота. Он их берет и в 10.30 он уходит из дома.*

Наша гипотеза следующая: в тот момент, когда Борис переступил порог, включается кинокамера; она выключается в тот момент, когда он ушел. В результате, в ментальном архиве прошлого имеется получасовой фильм со всеми сценами и интерьером всех комнат. Это цветной фильм, зафиксировавший также впечатления на уровне слуха, запаха, вкуса, ощущения. Так как все впечатления происходят от прошлого события, они имеются на ленте в архиве прошлого. Мы представляем себе, что кинофильм имеется в файле с названием "Кража мною золотых часов". Но кроме фильма ментального архива прошлого, в архиве настоящего также имеется фотография самого результата события, т.е. фотография нового состояния "У меня есть золотые часы". Такая фотография снималась, когда Борис ушел из дома, именно потому, что произошло событие с изменением состояния. Фотография изображает новое состояние, но на ее оборотной стороне имеется резюме состоявшегося события: "украдены в доме предпринимателя такого-то между 22.00 и 22.30 такого-то дня". Это резюме служит индексом файла-архива прошлого, в котором сохраняется фильм кражи. Когда Борис продаст часы, фотография автоматически вычеркнется из архива — копия теряет свой оригинал — и от события останется только фильм.

Пусть Борис вернется с часами в кармане к своей жене, которая хорошо знала о его плане. Что он скажет жене, если он захочет передать ей, что состоялось событие? Если бы Борис был турком, он употребил бы только форму прямого восприятия. Если бы у него была русская жена, он употребил бы только совершенный вид, потому что имело место именно событие (*Я украл золотые часы*). А что он скажет, если у него жена-англичанка? Перед ним стоит выбор: либо *I have stolen a gold watch*, либо *I stole a gold watch*. Употребляя перфект, Борис презентует событие как "последнее известие" (news-flash), т.е. он подводит итоги дня. Он вербализует репрезентацию события в ментальном архиве настоящего и при этом показывает жене фотографию. Естественная реакция жены будет: "Не может быть, покажи мне (оригинал)". Употребляя имперфект, Борис как бы прокручивает пленку назад и демонстрирует ее с самого начала. Он презентует событие как "flash-back", т.е. он передает ей короткий рассказ — он как бы вербализует название файла, в котором хранится фильм, одновременно показывая фильм жене. Этот фильм демонстрируется очень быстро, потому что Борис придал словесную форму только его названию. Естественная реакция жены будет: "Расскажи мне (поподробнее)". Таким образом,

перфект и имперфект отличаются друг от друга в двух планах. Во-первых, они презентуют событие по-разному. Во-вторых, хотя способ представления события в обоих случаях визуальный, в одном случае на сетчатке глаза у слушающего создается стабильная картина, а в другом нестабильная.

Языки, грамматическая система которых основывается на уровне ментального архива, в котором хранятся ассимилированные данные настоящего и прошлого, требуют выбора в системе временных категорий между параметрами "актуальность" и "неактуальность" ситуативных информаций. По этой причине другие категории языка должны указывать на известность/неизвестность слушающему ситуации, главным образом, на присутствие/отсутствие информативных компонентов высказывания в ментальном архиве слушающего, т.е. либо на старую, либо на новую для него информацию. Следовательно, такие языки имеют не внешнюю, а внутреннюю референцию в силу того, что они соотносятся с внутренним миром слушающего. Высказывание в этих языках трактуется как отражение предназначенной для слушающего информации, а грамматические и синтаксические структуры такого супертипа, отдельные члены которого называются "hearer-based languages" (языки, ориентированные на слушающего), служат сигналом для слушающего и тем самым манифестируют апеллятивную функцию языка, т.е. функцию, соотносимую со слушающим.

#### 4.1. Английский и датский языки как разные реализации данного супертипа

Временная система английского языка с центральными категориями перфекта и имперфекта имеет свой эквивалент в системе категорий существительных. Центральными категориями этой системы являются определенный и неопределенный артикли, т.е. формы *the* (определенный) и *a* (неопределенный), которые также базируются на понятиях "актуальность" и "неактуальность". Предложение *Yesterday I went to the Georgian restaurant* "Вчера я пошел в (определенный) грузинский ресторан" указывает на ресторан, известный слушающему, т.е. у него в ментальном архиве есть файл данного грузинского ресторана. Предложение *Yesterday I went to a Georgian restaurant*, в котором употребляется неопределенный артикль, указывает на ресторан, неизвестный слушающему, т.е. у него в ментальном архиве такого файла нет. Употребляя неопределенный артикль, говорящий фактически просит слушающего создать новый файл. Такая же форма мышления проявляется во многих других местах синтаксиса английского языка. Это доказывается существованием так называемых "It-cleft-sentences" (ср.: *It was a Russian book that I borrowed at the library* "В библиотеке я взял именно русскую книгу"), в которой "это" обозначает новый элемент, т.е. слушающий знал, что я взял какую-то книгу, но он не знал, что она на русском языке. Это также доказывается существованием презентативных предложений (ср.: *There were many people sitting at the table* "За столом сидело много людей"), которые употребляются для презентации слушающему новой для него ситуации. Живописное изображение перфекта и имперфекта также наблюдается в употреблении *ing*-овой формы (ср.: *He is always smoking* "Он всегда курит"). *ing*-овая форма представляет ситуацию, обозначаемую глаголом, как качество картины, т.е. с прагматической точки зрения, она описывает ситуацию, тогда как не-*ing*-овая форма представляет ситуацию, обозначаемую глаголом, как качество предмета/человека (ср.: *He always smokes* "Он всегда курит"), т.е. форма с прагматической точки зрения характеризует данный предмет или данного человека.

Хотя видовой оппозиции в датском языке не существует, он построен на той же основе, о чем свидетельствует сходство в употреблении почти всех форм обоих языков. Однако существует определенное различие между ними в употреблении



перфекта и имперфекта, имеющее принципиальное различие. Речь идет об употреблении датского перфекта в значении косвенного восприятия (ср.: *Han er gået ind i huset gennem vinduet* "(Кажется) он проник в дом через окно") и датского имперфекта в значении прямого восприятия (ср.: *Han gik ind i huset gennem vinduet*, т.е. говорящий сам видел, как вор проник в дом через окно). Такая же разница наблюдается в системе страдательного залога. Датский язык располагает двумя формами пассива — аналитической и синтетической. Аналитический пассив обозначает прямое восприятие (ср.: *Der bliver talt dansk i Sverige* "(Я сам слышал, как) в Швеции говорят по-датски", в то время как синтетический пассив обозначает косвенное восприятие: *Der tales dansk i Sverige* "(Я знаю, что) в Швеции говорят по-датски". По этой причине некоторые подсистемы датской грамматики указывают на параметры, которые характеризуют языки, ориентированные на говорящего. Это также касается модальной системы датского языка, в которой различается знание говорящего: *Han må fyres* "(Я знаю, что) его придется уволить" — и его предположение: *Han må blive fyret* "(Я знаю, что) его уволят". Различие между деонтической модальностью, маркированной синтетическим пассивом, и эпистемической модальностью, маркированной аналитическим пассивом, не находят соответствия в английском языке.

## 5. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Построение рассмотренных выше принципов описания и объяснения грамматических явлений отдельных языков представляет собой попытку преодолеть явные, с нашей точки зрения, недостатки в теориях, построенных в рамках так называемой автономной лингвистики, в которой главное внимание обращается на различие в выражении разными языками одного и того же содержания и в которой грамматическая структура определенного языка более или менее описывается с позиции латинской грамматики. Хотя в так называемой когнитивной лингвистике считается, что языковые структуры являются отражением когнитивных структур и что языковая форма производна от языковых функций [Кибрик 1994], ее возникновение не явилось переворотом в лингвистической науке, потому что в ней проявляется англоцентризм, свойственный работам Н.А. Хомского и его сторонников.

Наша теория исходит из того, что ситуации действительности имеют три разные манифестации в человеческом сознании (форма восприятия, ментальная модель, архивное место), что коммуникация требует трех участников (говорящий, предметы и ситуации реальности, слушающий), что центральные категории языка должны выводиться не из членов и структур предложения, а из трех главных категорий глагола (наклонение, вид, время), которые, каждая по-своему, детерминируют другие категории и синтаксические структуры языка в том смысле, что они должны находиться в гармонии с детерминирующей категорией. На этой довольно простой основе образовались три принципиально разных типа, которым мы дали название "супертипы, ориентированные на говорящего, на реальность, на слушающего". Все супертипы базируются на референции, но отличаются друг от друга ее направлением. Хотя наша теория супертипов, несомненно, нуждается в дальнейшем совершенствовании, достигнутые результаты указывают на возможность применить теорию в других областях лингвистики, например, при изучении процессов овладения ребенком родным языком и освоения ребенком/взрослым иностранного языка, а также при объяснении изменений, происходящих в языке.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Булыгина Г В Шмелев А Д 1991 — Неопределенность и обобщенноличность // Теория функциональной грамматики Персональность Залоговость // Под ред А В Бондарко СПб 1991
- Гак В Г 1974 — Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики 1973 М , 1974
- Гецадзе И О Гайдарова Ф А 1982 — О выражении субъектно объектных отношений в иберийско кавказских языках // Категория субъекта и объекта в языках различного строя // Под ред С Д Кацнельсона Л , 1982
- Живов В М Успенский Б А 1973 — Центр и периферия в языке в свете языковых универсалий // ВЯ 1973 № 5
- Кибрик А А 1994 — Когнитивные исследования по дискурсу // ВЯ 1994 № 5
- Климов Г А 1977 — Типология языков активного строя М , 1977
- Климов Г А 1983 — Принципы континентальной типологии М , 1983
- Климов Г А , Алексеев М Е 1980 — Типология кавказских языков М , 1980
- Тань Аошун 1994 — Китайский язык и концептуальный мир говорящего (на примере показателя *men*) // ВЯ 1994 № 5
- Aksu Koç A 1988 — The acquisition of aspect and modality the case of past reference in Turkish Cambridge, 1988
- Babby L H 1989 — Subjectlessness, external subcategorization, and Projection principle // Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 1989 № 2
- Babby L H 1994 — Case theory // Noam Chomsky Critical assessments / Ed by С P Otero t , 1994
- Buhlei K Sprachtheorie Die Darstellungsfunktion der Sprache Stuttgart, 1975
- Chomsky N A Knowledge of language Its nature, origin, and use N Y 1986
- Comrie B 1981 — Language universals and linguistic typology Oxford, 1981
- Coseriu E 1965 — Synchronie, Diachronie und Typologie // Sprache, Strukturen und Funktionen / Hrsg von E Coseriu Tubingen 1971
- Dixon R M W 1994 — Ergativity Cambridge, 1994
- Durst Andersen P V 1992 — Mental grammar Russian aspect and related issues Columbus (Ohio), 1992
- Durst Andersen P V 1994 — Russian aspect as different statement models // Tense, aspect and action / Ed by C Bache et al B 1994
- Durst Andersen P V 1995 — De syntaktiske systemer i russisk // P V Durst Andersen, J Nørgård Sørensen Ny forskning i grammatik 2 Odense 1995
- Givón T 1984 — Syntax A functional-typological introduction V 1 Amsterdam, 1984
- Greenberg J H 1989 — Two approaches to language universals // On language Selected writings of Joseph Greenberg / Ed by K Denning, S Kemmer Stanford, 1990
- Guillaume G 1929 — Temps et verbe P 1929
- Harris A C 1982 — Georgian and the Unaccusative Hypothesis // Language 1982 № 2
- Hawkins J A 1986 — A comparative study of English and German L , 1986
- Herslund M Sørensen F 1994 — A valence based theory of grammatical relations // Function and expression in functional grammar / Ed by E Ergberg-Pedersen et al B , 1994
- Holisky D A 1981 — Aspect theory and Georgian aspect // Tense and aspect / Ed by Ph Tedeschi, A Zaenen N Y 1981
- Jakobson R 1936 — Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre // Selected writings V 2 The Hague 1971
- Keenan E L 1984 — Semantic correlates of the ergative / absolutive distinction // Universal Grammar 15 essays / Ed by E L Keenan et al L , 1987
- Muller Gotama F 1992 — Towards a semantic typology of language // Meaning and grammar Ed by V Kefer J van der Auwera B 1992
- Nolke H 1985 — Le subjonctif, fragments d une théorie enonciative // Langages, 1985 80
- Nolke H 1994 — La dilution linguistique des responsabilites // Langue française 1994 102
- Slobin D I Aksu A A 1982 — Tense, aspect and modality in the use of the Turkish evidential // Tense-aspect Between semantics and pragmatics / Ed by P J Hopper Amsterdam, 1982
- Timberlake A 1982 — Invariance and the syntax of Russian aspect // Tense aspect Between semantics and pragmatics / Ed by P J Hopper Amsterdam, 1982
- Willett Th 1988 — A cross linguistic survey of the grammaticization of evidentiality // Studies in language 1988 № 1

© 1995 г. Ю.А. СОРОКИН

**РЕЧЕВЫЕ МАРКЕРЫ ЭТНИЧЕСКИХ  
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОРТРЕТОВ И АВТОПОРТРЕТОВ  
(Какими мы видим себя и других)**

Процессы идентификации и самоидентификации тесно связаны между собой в ходе их осуществления приписывание определенных признаков некоторым объектам (в данном случае – представителям тех или иных этносов), носящих ярко выраженный аксиологический характер. Но не только это объединяет вышеуказанные процессы. По-видимому, они существуют как противопоставленные (оппозитивные) единства без идентификации не существует и самоидентификации и, наоборот, без самоидентификации не существует идентификации. Идентификация как приписывание оценок кому-либо предполагает и собственную оценку, причем эта оценка является, как правило, весьма расплывчатой (полуосознаваемой/бессознательной) и требует значительных рефлексивных усилий при ее экспликации. Иными словами, идентификация и самоидентификация – это оппозитивное и диалогическое единство. Это диада, в рамках которой соотносятся и ранжируются определенные этнические качества (свойства).

Роль такого соотнесения и ранжирования нельзя недооценивать. Оценки (чужих) и самооценки как ментальные стереотипы (как неосознаваемые или полуосознаваемые установки) предопределяют готовность или неготовность к вербальному и невербальному общению или к отказу от него и влияют на характер самого общения (конфликтующий или гармонизирующий). Кроме того, сопоставление оценок (чужих) и самооценок позволяет, по-видимому, увеличить поле телерантности, ибо рефлексия по поводу "своих и чужих" в равной мере не позволяет существовать как тем, так и другим этническим предпочтениям.

Для выяснения характера таких оценок и самооценок, рассматриваемых в качестве этнических портретов и автопортретов, мы предлагали следующую анкету:

возраст \_\_\_\_\_ пол \_\_\_\_\_ национальность \_\_\_\_\_

кто ваши родители по профессии? \_\_\_\_\_

бывали вы в других странах (в каких?) \_\_\_\_\_

(американцы, японцы, русские) – какие они? – напишите 5 слов, характеризующих их как народ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

назовите 3–5 выдающихся американцев (японцев, русских), которые можно было бы включить в "коллективный портрет" американского (японского, русского) народа

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Для испытуемых (ии.) русских (17 человек, московские студенты-англисты 20–22 лет) портрет американцев существует в виде следующего набора качеств-оценок:

1. деловые, предприимчивые, бизнесмены (10 ответов),
2. открытые, раскованные, без комплексов (9),
3. улыбчивые (8),
4. индивидуалисты, живут своими проблемами (6),
5. коммуникабельные, общительные (4),
6. свободные, гостеприимные (2),
7. расчетливые, меркантильные, корыстные, прагматичные, мало читают, мало образованы, ограниченные, поверхностные, трудолюбивые, некурящие, интересные собеседники, целеустремленные, искренние, остроумные, спортивные, патриотичные, энергичные, богатые, довольные, шумные (1).

В свою очередь, для американских испытуемых (всего 9 студентов-русистов 20–22 лет) портрет русских можно представить следующим образом:

1. начитанные, образованные (5),
2. умные, щедрые, немотивированные (незаинтересованные, без стимулов к жизни) (3),
3. гостеприимные, находчивые, серьезные, надежные друзья (2),
4. добрые, интересные, патриотичные, много работают, занятые, слишком много пьют, агрессивные, беспомощные, ленивые, мрачные, печальные, несчастные, заботливые, разные (1).

По мнению тех же девяти студентов, в американский этнический портрет (в этнический автостереотип) входят следующие качества-оценки:

1. материалисты (7),
2. дружелюбные (4),
3. расточительные (3),
4. громко говорят (шумные), любят развлечения, свободные, гордые, ориентированные [только] на себя (индивидуалисты), преданные делу, в значительной степени ориентированные на конкурентов (2),
5. много работают, целеустремленные, мотивированные, честолюбивые, изобретательные, новаторы, энтузиасты, щедрые, добрые, счастливые, всегда улыбающиеся, агрессивные, жадные, противные, высокомерные (самонадеянные), грубые, ленивые, интересующиеся телевидением (1).

Как свидетельствуют ответы русских испытуемых (те же семнадцать человек), русский автопортрет может быть представлен следующим образом:

1. гостеприимные, радушные (5),
2. добрые, душевные, терпеливые (4),
3. щедрые (3),
4. открытые, доверчивые, талантливые, изобретательные (2),
5. отзывчивые, интеллигентные, невоспитанные, задумчивые, начитанные, искренние, лицемеры, умные, ограниченные, лихие, сдержанные, оптимистичные, отчаявшиеся, веселые, несчастные, усталые, издерганные, серые, мрачные, жадные, злые, безинициативные, остроумные, великие, добродушные, неразбуженные, ленивые, бунтари, трусливые, неприхотливые, жизнестойкие, умеют приспособляться, агрессивные, упрямые, когда-нибудь взорвутся, закомплексованные, непредсказуемые (1).

А теперь, учитывая эти характеристики-оценки испытуемых, попробуем – в предварительном порядке – сделать некоторые выводы.

И портреты американцев, увиденных глазами русских, и портреты русских, увиденных глазами американцев, и автопортреты представляют собой противоречивый, но целостный набор качеств, в котором можно выделить ядро и периферию.

По аналогии с проксеимическим пространством – сугубо личным [Пиз, 1992: 24–38] – эти качества можно рассматривать как ментальное пространство сознания, предопределяющего конструктивный или деструктивный характер вербального и/или

невербального человеческого поведения. Причем, если считать, что это – "круговое пространство", то – по аналогии с герменевтическим кругом – можно говорить о существовании ментально-этнического круга (понимания), а если считать это пространство линейным, то – по аналогии с горизонтом понимания (герменевтическим горизонтом) – можно говорить и о существовании ментально-этнического горизонта понимания [Гадамер 1988: 317–363]. В свою очередь, ядро качеств в портретах "А" (американцы, увиденные глазами русских) и "Р" (русские, увиденные глазами американцев) состоит из ряда "сгустков" (квазикластеров): в портрете "А" это качества № 1–7, в портрете "Р" – качества № 1–3. Эти качества однородны в том смысле, что отсылают – за редкими исключениями – к миру положительного. В этом отношении они противопоставлены периферийным качествам – неоднородным и амбивалентным, отсылающим как к миру положительного, так и к миру отрицательного (ср. *расчетливые* и *умные*, *ограниченные* и *целеустремленные* – портрет "А" и *заботливые* и *агрессивные*, *добрые* и *ленивые* – портрет "Р"). В ряде случаев в этническом портрете оказываются совмещенными противоположные по своему характеру признаки: *гостеприимные* и *меркантильные/корыстные* (портрет "А"), *ленивые* – *много работают*, *добрые* – *агрессивные* (портрет "Р").

Аналогичным образом структурированы и автопортреты – автопортрет "А" (американцы о себе) и автопортрет "Р" (русские о себе). В этих автопортретах ядерными являются качества № 1–4, а периферийными качества под № 5. Ядерные качества также однородны и ориентированы на мир положительного (если не считать, что американские автооценки – *материалисты*, *расточительные*, *шумные*, *ориентированные только на себя* – имеют негативный оттенок), периферийные качества – неоднородны и амбивалентны: ср. *щедрые* – *жадные*, *много работают* – *ленивые* (автопортрет "А"). В нем базовые качества могут быть противопоставлены периферийным – *расточительные* (баз. кач.) – *жадные* (периф. кач.), *дружелюбные* (баз. кач.) – *высокомерные/агрессивные* (периф. кач.) или *интеллигентные* – *невоспитанные*, *искренние* – *лицемеры*, *умные* – *ограниченные*, *лихие* – *сдержанные*, *оптимистичные* – *отчаявшиеся*, *веселые* – *несчастные*, *усталые*, *издерганные*, *серые*, *мрачные*. Автопортрет "Р": в нем, как и в автопортрете "А", базовые качества могут быть противопоставлены периферийным – *щедрые* (баз. кач.) – *жадные* (периф. кач.), *добрые* (баз. кач.) – *злые* (периф. кач.), *изобретательные* (баз. кач.) – *безинициативные* (периф. кач.).

При сопоставлении портрета "А" (американцы, увиденные глазами русских) и автопортрета "А" (американский этнический автостереотип) выясняется, что: 1) некоторые качества оказываются совпадающими – *предприимчивые* (*меркантильные*, *корыстные*, *прагматичные* – портрет "А") и *материалисты* (автопортрет "А"), *улыбчивые* – *всегда улыбающиеся*, *индивидуалисты*, *живут своими проблемами* – *ориентированные (только) на себя*, *свободные* – *свободные*, *целеустремленные* – *целеустремленные*, *довольные* – *счастливые/всегда улыбающиеся*, *шумные* – *громко говорят* (по-видимому, такого рода качества являются базой, на которой может "строиться" общение и выбираться те или иные его формы – жесткие (антитолерантные/отрицательные) и мягкие (толерантные/положительные). Жесткие формы будут, очевидно, выбираться в тех случаях, когда эти качества не присущи какому-либо другому автопортрету, а отсутствие их – по тем или иным объективным причинам – осознается как этническая дефектность (этнический недостаток). Именно такое осознание и служит одной из причин возникновения этнических конфликтов. Мягкие формы выбираются тогда, когда эти качества, если они даже не присущи какому-либо другому автопортрету, осознаются как компенсированные другим набором качеств, оцениваемых столь же положительно (или еще выше); 2) в портрете "А" такие качества, как *мало читают*, *мало образованы*, *без комплексов* резко противопоставлены качествам *начитанные*, *закомплексованные*, *представленными* и

в автопортрете "Р" (русский этнический автостереотип). [Такое противопоставление, несомненно, носит конфликтный (в принципе) характер, свидетельствуя о разном полярном ментальном состоянии этнических организмов]; 3) в портрете "А" (американцы, увиденные глазами русских) и в портрете "Р" (русские, увиденные глазами американцев) совпадающими оказываются качества *гостеприимные, трудолюбивые (много работающие) и патриотичные*, которые следует, по-видимому, рассматривать в качестве общего моноаксиологического – этнико-апперцепционного фонда русских и американцев (этнико-апперцепционный фонд портрета "А" и автопортрета "А", хотя и является в ряде случаев общим, все же амбиаксиологичен).

В свою очередь, в портрете "Р" (русские, увиденные глазами американцев) и в автопортрете "Р" (русский этнический автостереотип) совпадающими оказываются такие качества, как *начитанные, умные, щедрые, гостеприимные, добрые, агрессивные, ленивые, мрачные, несчастные*. (Можно, по-видимому, предположить, что именно портреты, какова бы ни была их неполнота и неточность, характеризуются большей надежностью, чем автопортреты, амбиаксиологические по своей структуре и, тем самым, обуславливающие жесткие или мягкие формы этнического сопоставления.)

В то же время автопортреты являются одной из самых важных форм (соответствующих действительности или фантомных, принимаемых другими или нет, – это другой вопрос) этнического самосознания, позволяющих соотносить себя с другими. Если суммировать, например, качества, входящие в русский автопортрет, то он оказывается таковым: он состоит из пяти слов, и первый слой можно было бы назвать супермелиоративным слоем. В нем представлены такие качества, как *гостеприимные, радушные, добрые, душевные, щедрые, открытые, доверчивые, талантливые, изобретательные*. Второй и третий слой можно было бы назвать субмелиоративными. Во втором слое ("терпение") представлены такие качества, как *терпеливые, непритомливые, жизнестойкие, умеют приспособливаться*, в третьем ("бунтарство") – качества следующего типа: *неразбуженные, когда-нибудь взорвутся, упрямые, непредсказуемые, агрессивные, лихие, бунтари*. Четвертый и пятый слои можно было бы назвать гиперпейоративными. В четвертом слое ("забитость") представлены такие качества, как *несчастные, отчаившиеся, усталые, издерганные, серые, мрачные, закомплексованные*, в пятом – используются столь же отрицательные, но указывающие на иные фрагменты русского психотипа характеристики – *ленивые, безинициативные, ограниченные*.

Показательно также, что результаты социологического исследования, проведенного в 1990 г. позволили выявить резкую дифференциацию в видении русскими и нерусскими студентами русской нации: "Русское самосознание (молодежное – в лице студенчества) фиксирует главные добродетели своей нации: отзывчивость и доброту, великодушие и бескорыстие в помощи (63% опрошенных русских студентов); перспективность пробуждающейся нации с неразвернутым еще потенциалом сил (61% русских студентов); веселость нравов и юмор (58% опрошенных). Показательно, что трудолюбие и умение работать – на четвертом месте в ряду добродетелей (36% респондентов из числа русских студентов). Замыкает далеко не исчерпанный список положительных качеств русской нации в целом уровень культуры, нравственность (20%). Заметим, что оценки тех же положительных качеств нерусскими студентами в большей степени противоречат самооценке русских студентов. Расхождения достигают 30 процентов" [ССР 1992: 24–25]. Ср. далее: "Непредусмотрительность русских, неосторожность, бесшабашность, лихая удаля составляют доминанту русской психологии. Рядом с этими качествами русские ставят неспешность, долговременность действий своей нации..., непродуманность решений... Русское самосознание очерчивает неприхотливость нации ... смелость, лихость... Ему не чуждо бескорыстие... Самосознание привычно к неминуемым жертвам... Вопреки ожиданиям всеми ругаемая уравниловка ... не воспринимается русскими людьми как типичная черта

нации. Уровень самооценки у русских выше по своему значению, чем уровень экспертных оценок (в качестве экспертов выступают нерусские студенты и преподаватели). Например, довольно значительны различия в оценке долговременности подготовки русских к какой-либо деятельности, привычки к тесноте, стремления к оказанию помощи нуждающимся. Нерусские студенты и преподаватели в меньшей степени видят в русских стремление поделить последним. Интересно, что большая доля нерусских респондентов подметила в национальном характере русских разнородность, неслаженность действий... Самосознание только одной пятой русских отдает дань таким чертам, как терпение и труд" [ССР 1992: 27–28].

Таким образом, еще раз подтверждается точка зрения Н.А. Бердяева [Бердяев 1990: 32–38; 1990-а: 115–117, 144] о полиаксиологической и противоречивой структуре этнического характера (ментального состояния) русских<sup>1</sup>. В то же время в этом этническом автопортрете представлены, по-видимому, и фантомные (отмирающие?) качества – именно на них и указывают чужие жесткие (отрицательные) формы оценок, хотя и не исключено, что эта жесткость продиктована вырожденностью или даже отсутствием таких фантомных качеств в автопортрете оценивающих. [Возможно также, что любое этническое сопоставление строится – в зависимости от ситуации – на сильной, средней и слабой нейтрализации (если использовать термин Н.С. Трубецкого) гипермелиоративных качеств, каковыми русские считают уважение, терпимость, дружелюбие и бескорыстие [ССР 1992: 28].] и на замене их на гиперпейоративные (субпейоративные), причем замена может быть продиктована и институциональными причинами, и деформациями структуры этнического характера, объективнее фиксируемыми извне, чем изнутри.

Но так или иначе в структуре тех признаков, которые позволяют русским считать себя русскими (в составляющих этнической идентификации), происходят изменения, о чем, на наш взгляд, свидетельствует следующий список составляющих (по мере убывания их важности): происхождение, особенности национального характера, язык, единство обычаев, традиций и культурных ценностей [ССР 1992: 29]. Таким образом, качества, характеризующие русских (качества этнического ментального состояния), оказываются потесненными "происхождением", что свидетельствует, по-видимому, о снижении степени их важности и о специфической самозащите русского этноса, существующего не только в окружении чужих, но и своих гибридных/метисных форм ментальной идентификации (самоидентификации).

Рассмотрим теперь другие элементы русских и американских портретов, а именно антропонимические элементы, являющиеся специфическими аксиологическими знаками (аксиознаками), указывающими на те установки, которым следует этническое и институциональное сознание (самосознание)<sup>2</sup>.

Для русских ии. антропонимический образ американцев (АОА<sub>р</sub>) складывается из следующего набора антропонимов:

1. Рональд Рейган (7)
2. Мадонна (6)
3. Джордж Вашингтон, Майкл Джексон, Джон Кеннеди (5)
4. Марк Твен (4)
5. Мэрилин Монро, Мартин Лютер Кинг, Джордж Буш (3)
6. Рокфеллер, Линкольн, Рузвельт, Маргарет Митчелл (2)
7. Барбара Буш, Джордж Майкл, Уолт Дисней, Элвис Пресли, Джеффферсон, Рокуэлл Кент, доктор Локшин (1)

Анализ этого списка (несмотря на небольшое число ии.) все же позволяет выявить

<sup>1</sup> Структура американского этнического характера в данном случае не рассматривается: слишком мало ии., и к тому же среди них в незначительном числе представлены юноши (такой феминистический перевес в ответах характерен, к сожалению, для всех групп ии.).

<sup>2</sup> По моему мнению, сфера этнического сознания соотносена с культурой, сфера институционального сознания – с цивилизацией.

определенные установочные тенденции: 52,4% имен отсылает к сфере политики, 30,4% – к сфере кино и эстрады (рок-певцы), 10,7% имен – это имена художников и писателей. На сферу бизнеса указывает 3,5% имен и на изобразительное искусство – 1,7%. (Конъюнктурные имена представлены тоже 1,7% – доктор Локшин.)

Для американских ии. антропонимический образ американцев (АОА<sub>а</sub>) складывается из следующих антропонимов:

1. *Мартин Лютер Кинг* (5)
2. *Джордж Буш* (4)
3. *Джордж Вашингтон, Мадонна* (3)
4. *Джон Кеннеди, Рузвельт, Эмили Диккенсон, Микки Маусс, Дональд Трамп, Дэвид Леттерман* (2)
5. *Линкольн, Рональд Рейган, Элвис Пресли, Сайкл Джексон, Мэрилин Монро, Фрэнк Синатра, Эдгар По, Снупи* (и еще 5 имен телевизионных дикторов и актеров ТВ) (1).

В этом списке 45% имен указывает на сферу политики, 35% отсылают к сфере эстрады, ТВ и кино, 7,5% – к сфере литературы (таков процент и имен-персонажей мультфильмов), 5% – к сфере бизнеса.

Совпадающими для обоих списков являются следующие антропонимы: *Джордж Буш, Майкл Джексон, Джордж Вашингтон, Линкольн, Джон Кеннеди, Мадонна, Мартин Лютер Кинг, Мэрилин Монро, Рональд Рейган, Рузвельт, Элвис Пресли* (общий антропонимический образ-инвариант).

Сопоставление этих аксиознаков позволяет также установить, что с образом американцев связывают, прежде всего, политику (русские в большей, американцы в меньшей мере). Русские занижают интерес американцев к искусству (кино, эстрада, ТВ) и завышают их интерес к литературе (по-видимому, происходит перенос элементов своего образа в чужой). Они занижают также их интерес к бизнесу (влияние своего эталона?) хотя и у самих американцев такая ориентация оказывается наименее выраженной по сравнению с другими ориентациями.

Если считать, что только политика входит в макросферу институционального цивилизованного сознания (самосознания), а все остальные ориентации свидетельствуют об этническом сознании (самосознании), то, по мнению русских, американцы больше институциональны (52,4%), чем этничны (47,6%), а по мнению самих американцев, они больше этничны (55%), чем институциональны (45%). (По-видимому, именно на ингерентные этнические качества указывают имена-маски персонажей американских мультфильмов (мифологические имена?), отсутствующие в именнике русских ии., но характерные для именика американцев.)

Для русских ии. антропонимический образ русских (АОР<sub>р</sub>) складывается из следующего набора антропонимов:

1. *Пушкин* (8)
2. *Толстой* (6)
3. *Петр I* (5)
4. *Достоевский* (4)
5. *Гоголь, Грозный, Ленин, Разин* (3)
6. *Высоцкий, Горбачев, А. Пугачева* (2)
7. *Бунин, Гагарин, Дзержинский, Ельцин, Лермонтов, Ломоносов, Александр Малинин, Андрей Миронов, Любовь Орлова, Пугачев, Распутин, Н. Рерих, Тургенев, Сахаров, Солженицын* (1).

В свою очередь, для американских ии. антропонимический образ русских (АОР<sub>а</sub>) складывается из такого набора антропонимов:

1. *Горбачев* (8)
2. *Пушкин* (5)
3. *Достоевский, Петр I, Толстой, Сталин* (4)



4. Ленин (3)

5. Ахматова, группа "Кино" (2)

6. Группа "Аквариум", Борис Годунов, Иван Грозный, Ельцин, Пастернак, Сахаров, Стравинский, Хрущев, Чайковский (1).

В первом списке (АОА<sub>р</sub>) 44,6% имен отсылает к сфере русской литературы, 37,5% – к сфере политики и 12,5% – к сфере искусства (кино, театр, эстрада). Последняя группа имен – 5,4% – оказалась неоднородной: ср. *Ломоносов, Н. Рерих, Гагарин*. Во втором списке (АОР<sub>а</sub>) 53% имен отсылает к сфере политики (и истории), 35% – к сфере литературы и классической музыки и 12% – к сфере современной музыки (рок-музыка, эстрада).

Наложение этих двух антропонимических образов позволяет сделать следующие предварительные выводы: по мнению американцев, русское сознание, прежде всего, институционально (53%), а сами русские считают, что оно, прежде всего, этнично (62,5%). Американцы занижают интерес русских к литературе (по-видимому, перенося свое отношение к ней и на русских), но почти единодушны с русскими в оценке значимости современной музыки. Американцы полагают, также, что в русском антропонимическом образе "содержатся" и имена композиторов-классиков, что не находит, однако, подтверждения в ответах русских ин. [Эти данные позволяют, очевидно, усомниться в обоснованности мнения о политизированности русского сознания (самосознания): оно политизировано, если иметь в виду институциональное сознание (самосознание) и не учитывать противопоставленное ему этническое сознание (самосознание). Русское институциональное сознание является настолько экзальтированным (перевозбужденным – и на это существуют свои причины), ведущим, что этническое сознание воспринимается как ведомое (фоновое). Но именно этническое сознание – первично/субстратно, оказывая, конечно, влияние – неосознаваемое – на характер институционального сознания. Для этнической конфликтологии и контактологии различение этих двух форм сознания имеет немаловажное значение, позволяя ограничивать глубинные контакты от неглубинных, "жесткие" конфликты от "мягких".]

Итак, суммируя полученные результаты, мы с неизбежностью приходим к выводу о том, что этнические и институциональные портреты и автопортреты являются сверхсложными аксиолого-когнитивными феноменами, носящими редуцированный и атрибутивный и, тем самым, стереотипизированный характер (о редукации – хотя и физиогномической, но весьма важной для нас, ибо наши результаты свидетельствуют о наличии этнической и институциональной редукации – и об атрибуции, см., например, ([Абалакина, Агеев 1990: 6–28]).

Этнические и институциональные портреты и автопортреты следует рассматривать как интерферирующие неравнозначные и неравноценные отдельности, "стремящиеся" к уникальности и самодостаточности, но к уникальности и самодостаточности стереотипизированной, и поэтому экспансионистской, и поэтому потенциально конфликтной.

Эти выводы подтверждаются и результатами эксперимента, в рамках которого русским ин. (37 чел., из них 27 девушек, 5 юношей, все студенты романо-германского отделения Московского Лингвистического университета в возрасте 19–22 лет) предлагалось заполнить ту же анкету, но оценивая этнические свойства (качества) японцев и русских.

По мнению русских ин., японцы могут быть охарактеризованы следующим образом:

1. трудолюбивые (15),
2. невысокие (низенькие), маленькие (13),
3. вежливые (11),
4. умные (9),
5. пунктуальные (точные) (9),
6. узкоглазые (8),

7. традиционные (консервативные) (7),
8. экономные (бережливые) (6),
9. хитрые (4),
10. улыбающиеся, расчетливые, культурные (3),
11. аккуратные, высокообразованные, деловые, добрые, занудные, изобретательные, исполнительные, практические, рациональные, сюсюкающие (2),
12. своеобразные (внешне), быстрые (шустрые) в делах, бережливые, веселые, обязательные, культурные, целеустремленные, добросовестные, экзотичные, гостеприимные, наивные, все делающие по схеме, как автоматы, коварные, жестокие, заумные, не говорят что думают, не читают книг, стремятся всех перегнать, глубокие (гармоничные), поэтичные (природные), "в мягких тонах", очень неглупые, разумные, тактичные, самобытные, послушные, патриотичные, дотошные, некрасивые, спокойные, законопослушные, уклончивые, организованные, пунктуальные, сдержанные, мстительные, самоуверенные, образованные, приветливые, упорные, симпатичные, урбанизированные, скромные, галантные (1).

В свою очередь, русские дают себе следующие оценки:

1. выносливые (терпеливые, неприхотливые) (16)
2. ленивые (12)
3. добрые (11),
4. гостеприимные, открытые, умные (сообразительные, смекалистые) (5)
5. щедрые, душевные (душа нараспашку) (4),
6. веселые, простодушные (добродушные) (3),
7. философичные (вдумчивые), бескультурные, талантливые, безалаберные, широкие, шарахающиеся из крайности в крайность (доходящие до крайностей), небережливые (неэкономные), грубые (хамы), без царя в голове, с большим
8. сообразительные, "живчики", коварные, отзывчивые, верные, обязательные, доверчивые, интернационалисты, рослые, гордые, разобщенные, уживчивые, замкнутые, простые, дружелюбные, сердечные, отчаянные, по своему мудрые, непонятные другим, "долго запрягают, но быстро едут" (Бисмарк), страшные, если разозлить, жалостливые, самоеды, бездарные, противные, решительные, деловые, патриотичные, всепрощенцы, крепкие, сильные, любящие, гуляющие на широкую ногу, козлы отпущения, живущие одним днем, сентиментальные, расхлябанные, занимающиеся самокопанием, мрачные, материальные, искатели града Китежа, неаккуратные, красивые, завистливые, консервативные, нетерпимые, бесшабашные, пьющие, непредсказуемые, общительные, доверчивые, упрямые, добродушные (1).

Для русских ии. антропонимический образ японцев складывается из следующего набора антропонимов (при 14 отказах от ответа среди девушек и 2 – среди юношей)<sup>3</sup>:

1. *Йоко Оно* (5),
2. *Я. Накасонэ, Куросава* (4),
3. *Хирохито, Акихито, Акутагава Рюноске, Кобе Абэ* (2),
4. *Ясунари Кавабата, Тосики Кайфу, Басе, К. Оэ, Ямасито* (7), *Ли Якокка* (1).

В русском антропонимическом образе имена имеют такое распределение:

1. *Толстой* (13),
2. *Пушкин* (10),
3. *Достоевский, Петр I* (9),
4. *Ломоносов, Есенин* (6),
5. *Чехов* (4),
6. *Николай I, Пугачев, Иван Грозный* (3),

<sup>3</sup> Один из 5 юношей отказался ответить также и на вопрос о качествах (свойствах) русских.

7. Булгаков, Лермонтов, Цветаева, Разин, Ленин, Чернышевский (2),
8. Бердяев, Тарас Бульба, Вересаев, Высоцкий, Гоголь, Горбачев, Даль, Давыдов, Ермак Тимофеевич, Ельцин, Иван III, Карпов, Кутузов, Лихачев, Маяковский, Менделеев, Митрофанушка, Н. Михалков, Александр Невский, Обломов, Павлова, Печорин, Распутин, Сахаров, Скобелев, Солженицын, В. Соловьев, Столыпин, Суворов, Сусанин, Чаадаев, Чайковский, Шалапин (1).

Таким образом, принципы построения коллективных японских портретов<sup>4</sup> и русских автопортретов оказываются одинаковыми с принципами построения коллективных американских и русских портретов и автопортретов: в них представлены ядерные и периферийные признаки, причем ядерные (№ 1–11 в японском коллективном портрете и № 1–7 в русском коллективном автопортрете) являются в основном положительными (аксиологически однородными), а периферийные (№ 12 в японском коллективном портрете и № 8 в русском коллективном автопортрете) – и положительным, и отрицательными (аксиологически неоднородными). Базовые признаки несут слоевой характер: каждый слой есть не что иное, как "мазок", фиксирующий определенный этнический микромодус, периферийные – находятся в турбулентном состоянии (фиксируют наличие в портрете взаимоисключающих этнических микромодусов).

В свою очередь, антропонимический фрагмент коллективного портрета японцев (японцы глазами русских) и АОР<sub>а</sub> (антропонимический образ русских в американской аранжировке) являются неоднородными и гиперредуцированными (этот феномен можно было бы назвать феноменом антропонимического разрежения или персонифицирующей недостаточности). [В связи с вышеизложенным можно сделать следующие два предположения: 1) базовые и периферийные качества есть поле взаимных замен, степень и скорость которых свидетельствует о мере влияния институциональной (цивилизованной) среды и указывает на изменения в структуре этнического характера; 2) антропонимические фрагменты (во всяком случае русские) тех или иных портретов и автопортретов являются "шифрами", ключи к которым представлены базовыми качествами. Иными словами, любое из имен в антропонимическом фрагменте, следует рассматривать как интерпретанту, а базовые качества как интерпретирующее.]

Результаты первого и второго эксперимента позволяют также утверждать, что коллективные портреты и автопортреты являются элементами того, что можно назвать этническими типами (по аналогии с психологическими типами К.Г. Юнга). В связи с этим целесообразным представляется использование понятия этнического раппорта и резервата этнического характера (о понятиях раппорта и резервата личности см. [Юнг 1992: 58–60]), ибо наблюдается – несмотря на различие – несомненное сходство и в способах структурирования портретов и автопортретов, и в характере их когнитивно-аксиологических составляющих. Не менее явно (ср., например, АОА<sub>р</sub> и АОА<sub>а</sub>, АОР<sub>р</sub> и АОР<sub>а</sub>) прослеживается в портретах и автопортретах и предпочтительность в выборе базовых качеств, а также сфер деятельности – та предпочтительность, благодаря которой этническое и институциональное сознание приобретает специфическую (приоритетную) конфигурацию.

Базовые и периферийные качества широко используются в текстах – кваллификаторах – в текстах, дающих положительную, отрицательную или смешанную характеристику тому или иному супраэтническому типу. Например, предложив 32 (4 русских и 28 киргизок в возрасте 20–22 лет) студенткам русского отделения Бишкекского педагогического института охарактеризовать мужчину-европейца и мужчину-азиата, мы получили (при одном отказе от описания мужчины-азиата и четырех отказах от описания мужчины-европейца) су пр а т е к с т , в

<sup>4</sup> В коллективном портрете японцев (японцы глазами русских) представлено более 70 качеств (свойств), в коллективном русском автопортрете – около 90. В антропонимическом фрагменте русского автопортрета представлено 56 имен.

котором были зафиксированы физические и социальные качества, присущие, по мнению ии., этим типам. (В супратексте представлены и фрагменты микросистемы запросов-требований, предъявляющихся к мужчине-европейцу и мужчине-азиату. Иными словами, этот текст носит и проективный характер.) Приведу в качестве образца два субтекста:

а) м у ж ч и н а - е в р о п е е ц – "Высокий, стройный, крепкого телосложения, длинноногий. Глаза голубые. Блондин. Волосы волнистые. Нос прямой, узкий. По характеру прямолинеен, самолюбив, немного упрям". б) м у ж ч и н а - а з и а т – "Среднего (ниже среднего) роста, крепкий, смуглый. Волосы черные прямые, глаза раскосые, черные (карие). Нос приплюснутый, губы широкие. Отличительные черты характера: неуважительное отношение к женщине, уважение к старшим"; а<sub>1</sub>) м у ж ч и н а - е в р о п е е ц – "Высокого роста, стройный, физически развит, красивый", б<sub>2</sub>) м у ж ч и н а - а з и а т – "Среднего роста, физически развит, стройный, красивый, уравновешенный, мужественный, добрый, понятливый, заботливый, гордый, умный, т.е. всесторонне развитый".

Если сравнить эти характеристики с некоторыми другими, то оказывается, что все они строятся на основе единых универсальных правил этнического и супраэтнического портретирования, предполагающих использование положительных и/или отрицательных ядерных качеств, изменение (в сторону повышения или понижения) их "слоевого" места или выдвигание на их место периферийных качеств, раппортную и резерватную балансировку, соотносимую, очевидно, с определенными антропонимами – эталонами (такое соотнесение происходит, по-видимому, преимущественно в имплицитной форме, хотя не исключено и эксплицитное использование антропонимов-интерпретант). Ср. следующие характеристики: "... люди на Западе смотрят на русского как на добродушного, добросердечного человека, который, однако, сравнительно легко становится раздражительным. Впрочем и в доброжелательных карикатурах, шаржах на русского человека его нередко показывают в образе медведя, которому основательно или безосновательно тоже приписывают аналогичные черты и качества. ... Западные немцы считают себя исключительно прилежными и пунктуальными людьми. Они полагают, что больше, чем представители других народов, любят порядок и порядочность, по их мнению, австрийцы, например, менее серьезные, менее пунктуальные и менее порядочные люди, в силу чего они и живут легче, чем немцы. С точки зрения западных немцев, итальянцы – еще менее надежные, зато более веселые люди и им жить намного легче... Другие народы Европы, в свою очередь, считают, что немцам свойственна аккуратность и порядочность, что они обожают совершенство в любой форме. Но при этом они ведут себя высокомерно и надменно по отношению к другим народам, считая свои знания исключительно высокими" [Хойер 1992: 234–236].

Показательно также, что, по мнению англичан (явное сравнение со своими качествами как с гипермелиоративными), американцы – слишком веселые, слишком увлекающиеся, слишком корыстные (хвастливые) и плохо соображающие люди [подстановка на место (гипер)мелиоративных качеств (гипер)пейеративных как запрещенных для себя, но возможных у других] [КУД 1992: 314–319].

В заключение мне хотелось бы указать на следующее: хотя изложенные выше экспериментальные результаты и их истолкование и носят предварительный характер, их прагматическая ценность несомненна. И не только для прагмалингвистики и психолингвистики, но и для языковедения как такового, если оно стремится стать антропоцентрическим или, иными словами, фиксирующим, объясняющим и прогнозирующим способы соотнесения вербальной среды с референтными (телеологическими) сферами: "...Манера мышления и есть возможность мысленного высказывания. Появление знака, если он оказывается подходящим, – это возможность устного или письменного высказывания; возможность семиологического или психосемиологического словесного выражения – это выбор знака, имеющий свои причины, свою психическую мотивацию" [Гийом 1992: 139–140].

Речевые маркеры, отсылающие к соответствующим референтным средам, важны также как указания (д и а г н о с т и к е м ы) на качественное (когитивно-когнитивное, эмотивно-аксиологическое) состояние невербального поведения в тех или иных этногруппах. В то же время эти маркеры релевантны в ономаσιологическом отношении: их конфигурации позволяют судить о приоритетах в распределении вербального материала в г р у п п о л е к т а х, которые целесообразно рассматривать в качестве койнезированной (редуцированной) формы существования идиолектного разнообразия.

Экспериментальные исследования такого рода и их результаты не менее значимы и для коррекции (квази)моделей порождения и восприятия речи. В частности, становится ясно, что в блоках (подблоках) этих моделей должны существовать и такие, которые "отвечают" за количественную ранжировку и качественную аранжировку онимов и соматизмов (ономастикон-блок/подблок и соматикон-блок/подблок).

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абалакина М.А., Азеев В.С.* 1990 – Анатомия взаимопонимания. М., 1990.  
*Бердяев Н.А.* 1990 – Философия неравенства. М., 1990.  
*Бердяев Н.А.* 1990а – Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.  
*Гадамер Х.Г.* 1988 – Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.  
*Гийом Ж.* 1992 – Принципы теоретической лингвистики. М., 1992.  
КУД 1992 – Когда улыбаются джентельмены. 1000 шуток, юморесок и анекдотов / Сост., пер. с английского и литературная обработка А.Е. Порожнякова. М., 1992.  
*Лиз А.* 1992 – Язык жестов. Что могут рассказать о характере и мыслях человека его жесты. Воронеж, 1992.  
ССР 1992 – Социальный статус русских в сознании вузовской интеллигенции. Аналитическая записка по материалам социологического исследования (апрель – июнь 1990 года). М. – Воронеж, 1992.  
*Хойер В.* 1992 – Как делать бизнес в Европе. М., 1992.  
*Юнг К.Г.* 1992 – Психологические типы. М., 1992.

© 1995 г. Е.С.ЯКОВЛЕВА

## ЧАС В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ ВРЕМЕНИ \*

### 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Час будет описываться не изолированно, но в системе других показателей времени: *миг, минута, мгновение, момент, время, пора*. Выбор для сопоставления именно этих слов мотивирован тем, что час в русском языковом сознании обладает двумя рядами ассоциативных корреляций. Условие их можно назвать "синхронной", внутриязыковой и "диахронной", исторической". Первый ряд очевиден: час как единица более крупного порядка соотносится с *минутой* и хотя бы поэтому вовлекается в ассоциации с другими показателями кратковременности. Второй ассоциативный ряд связан с происхождением самого понятия "час" — детализирующего понятие времени. Данный процесс, в частности, хорошо иллюстрируется и эволюцией значения русского *часа*, некогда называвшего время вообще. В русском языке к тому же эти две линии ассоциаций переплетены, вследствие вмешательства между языкового фактора.

Дело в том, что слово *час* в славянских языках имеет разную судьбу, так, в сербскохорватском *час* значит и 'час', и 'мгновение' (тем самым поддерживает ассоциативная связь с показателями кратковременности<sup>1</sup>); в западных языках (польском, чешском, словацком, белорусском) *час* значит 'время', а в украинском — 'время' и 'погода' (эти синхронные, но уже межязыковые, соотношения актуализируют в русском *часе* его диахронию).

В целях уяснения предмета нашего исследования сделаем несколько замечаний общего характера.

#### 1.1. Час как общеславянское слово.

Некогда в русском языковом сознании при обозначении понятия "час" слово *час* конкурировало со словом *година*. В дальнейшем их судьбы разошлись. В "Материалах для словаря древнерусского языка..." И.И.Срезневского приводится следующая справка: "... слово *година*, общее всем славянам, получило в разных краях особенные оттенки значения, как и слово *час*: на северо-западе *година* — час, *hoga*, на юго-западе — *id*, *annus*, на востоке — неопределенное время, вроде эпохи; между тем как *час* значит на северо-западе неопределенное время,

\* Работа выполнена при финансовой поддержке Международного научного фонда.

<sup>1</sup> Нужно сказать, что значение мельчайшей частицы времени — одно из древнейших значений *часа*. Здесь мы имеем в виду перевод в Евангелии от Луки (4.5) греческого выражения *ἐν σμύρτι χρόνου* (бул. 'в мельчайшей частице времени') церковнославянским *въ часѣхъ временѣхъ*, случай, который отметил Гуннар Якобссон и в котором он усмотрел "элегантность в искусстве переводить" [Якобссон 1958: 299].

а на юго-западе и на востоке то же, что на северо-западе година, hora” [Срезневский 1893–1912: 536].

У Ф.И.Буслаева в “Материалах для русской стилистики” находим: “Время есть общее понятие для слов *годъ, часъ*, ибо *година* у нас значит вообще время, а у поляков час; ... наоборот, по-польски *час* значит вообще время; в наших древних памятниках *год* значит просто пору, время ... А *час* в смысле поры, времени и теперь у нас употребляется” [Буслаев 1992: 276]. “Существенное сходство этих слов” Ф.И.Буслаев видит в том, что “они происходят от глаголов, означающих ожидание, угодение, надежду ... Так, *годъ* одного корня с *годить, ждать* .., а *часъ* происходит от *чать*. Понятие о времени переходит к понятию о счастье, удобстве, доброте” (там же, с.247)<sup>2</sup>.

Память языкового коллектива может хранить информацию о семантическом прошлом слова. Эстафета передается, прежде всего, через литературные (и шире – культурно-значимые) тексты. Так, мы понимаем строки О.Мандельштама, описывающие такое мироощущение, при котором каждый час мыслится как последний, быть может, реально и не зная, что *година* – в прошлом славянское название “часа”: *В Петрополе прозрачном мы умрем, // Где властвует над нами Прозерпина. // Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, // И каждый час нам смертная година.*

Название одного из стихотворений К.Бальмонта “Зимний час”; строки З.Гиппиус: *Все это было, кажется, в последний, // В последний вечер, в вешний час*, где *час* употребляется в значении времени (то есть по типу западно-славянской языковой группы) не вызывает у носителя русского языка ощущения ошибки. Это, скорее, расширение возможностей слова в соответствии с его прежними свойствами, ср. строки из Стихиры XII века: *Текоуще въ кзеро стоуденок ... глаголаху святни моченици: не оустрашимса часа зимнааго* (цит. по [Срезневский 1893–1912: 1479]).

Таким образом, наличие у слова этимологической ретроспективы, с одной стороны, может способствовать многомерности его восприятия, а с другой – расширять возможности его употребления в соответствии с этимологическим спектром значений. Приведем пример из З.Гиппиус, в котором *час* употребляется на южно-славянский манер – как аналог мгновения: *И каждую изменчивость я дяю. // Мне равносвяты все твои мгновенья, // Они во мне – единой цепи звенья, // Терзаю ли тебя, иль веселю, // Влюбленности ли час, иль час презренья, – // Я через все, сквозь все – тебя люблю.*

## 1.2. Час в отношении к слову *время* и понятию времени.

В словарях современного русского языка (БАС, МАС, Ожегов) точное значение *часа* возглавляет словарную статью. Так, согласно МАС-у, *час*: 1) единица измерения времени, равная 1/24 суток и состоящая из 60 минут...; 2) мера времени в 60 минут, исчисляемая от полудня или полуночи...; 3) промежуток времени, отводимый на урок, лекцию, занимающий с отдыхом 60 минут (*академический, учебный*...). И лишь “в четвертых” *час* (*чего* или *какой*) – это *время, пора*: *вечерний час; поздний час; ранние часы*. Вариациями последнего типа значения являются такие, как “момент наступления, осуществления чего-либо” (*час рас-*

<sup>2</sup> О *часе* в историко-этимологическом аспекте см. [Черных 1993: 375]; лаконичный, но и наиболее полный обзор этимологических толкований славянского *časъ* представлен в [Якобссон 1958].

платы); “время, предназначенное, отведенное для чего-либо” (*часы занятий; обеденный час*) [МАС: 653]. Заметим, пока без комментариев, что словари (в том числе и Словарь эпитетов!) не различают в этом четвертом типе употребления форм единственного и множественного числа, давая общее для них определение.

Между тем, и в Словаре В.И.Даля и в “Материалах...” И.И.Срезневского устанавливается иная иерархия значений *часа*. Так, у Даля *час* – это прежде всего время, времена, година, пора; // (2) досуг, свобода от дел; // (3) пора, срок, удобное к чему-либо время. Примеры: *Лихой час настал... Будет час, да не будет нас... Всему свой час...* И уже потом *час* – это “мера времени, 60 минут, по 24 часа в сутки” [Даль 1989, IV: 583]. У И.И.Срезневского *часъ* – это “время”: “качественное” – опасное, критическое; “количественное” – *многъ часъ* и под. И только в одном из замыкающих список значений *часъ* – это “мера времени, подразделение суток” [Срезневский 1893–1912: 1479].

Понятно, почему произошло такое перераспределение значений: в древних языках (древнегреческом, латинском) в качестве “часа” как меры времени стало использоваться уже имеющееся слово со значением ‘время’. Так, лат. *hora* это I) время вообще и II) определенное время, которое в свою очередь разбивается на а) время года, пора и в) час; древнегреческое *ώρα* – это время года; особенно цветущее время (весна и лето)... и уже потом – время дня, час.

Таким образом, исходно “час” – это время с некоторой качественной спецификацией: активное, природное, удобное к чему-либо. Закрепленность “часа” за определенном местом на оси времени (его вторичность по отношению к времени как целому) и повторяемость позволили “часу” включиться в систему количественного времени, стать мерой счета времени и пр.

Предметом нашего рассмотрения будет тот *час*, который коррелирует со словами *время, пора, момент*, ибо *час* в точном количественном значении не нуждается в специальном лингвистическом описании. Нельзя, однако, забывать, что в сознании носителей языка представление о слове существует не в виде словарной статьи с четко выделенными значениями и типами употребления: конкретное использование слова, равно как и прочтение, истолкование его употребления, может потребовать одновременной активизации словарной информации, относящейся, условно говоря, к разным словарным рубрикам. Так, в пушкинских строках: *Паду ли я, стрелой пронзенный, // Иль мимо пролетит она, // Все благо: бдения и сна // Приходит час определенный* слово *час* употребляется в значении времени; смысл же “неизбежности”, “объективности” наступления этого времени навевается точным количественным значением *часа* – как определенного времени суток.

Таким образом, не останавливаясь специально на точных количественных значениях слова *час*, мы все же не вовсе о них забудем, ибо феномен *часа* как манифестанта особого времени складывается из всех возможностей этого слова, с привлечением в большей или меньшей степени всех его семантических составляющих.

**1.3. Время, пора; минута, миг, мгновение, момент** как носители моделей времени.

Этой теме посвящена отдельная глава в [Яковлева 1994]. Здесь же мы приведем лишь необходимые для последующего изложения резюмирующие выкладки.



Слова, являющиеся предметом нашего рассмотрения, связаны общим понятием интервала времени. При этом время мыслится не как безликий отрезок числовой оси той или иной длительности, но как нечто с е м а н т и з и р о в а н н о е – время проходит под знаком событий, его заполняющих. Это то “психологическое”, по А.Бергсону, время, “видимый количественный характер” которого “есть в действительности качество” [Бергсон 1910: 142]; то время, которое В.И.Даль назвал “пространством в бытии”, “последовательностью существования” [Даль 1989, I: 260], о котором в “Афоризмах” Валериана Муравьева сказано: “Время – это другое название для жизни” [Муравьев 1992: 113]

Качественная спецификация времени-вместилища событий (понимаемого как синоним жизни) позволяет носителю языка с помощью рассматриваемых слов соотносить описываемое с разными сферами бытия. Это становится возможным потому, что, сгруппированные вокруг какого-нибудь одного, количественно однородного временного интервала (краткого у *минуты* и под., периода у *времени*, *поры* и др.), слова позволяют этот интервал представить по-разному в плане “качества” времени, его заполняющего.

Таким образом, моделью времени мы называем и н т е р п р е т а ц и ю времени, содержащуюся в семантике слова-названия времени. Модель мыслится как двучленная семантическая структура, первый компонент которой является оценкой, а второй – ее интерпретацией. К примеру, у слов *мгновение* и *момент* оценочное основание, или основание интерпретации, общее – “краткость” временного интервала; сами же интерпретации различны: *момент* выражает характеристику “рациональное”, “аналитическое”, “внеположенное” (позиция стороннего наблюдателя); *мгновение* интерпретирует временной интервал в терминах “уникального”, “важного”, “личного”, “незабываемого”. ‘Кратковременность’ в семантике данных слов не имеет прямой соотносительной связи с какими-либо объективными характеристиками количественного времени; кратковременность в данном случае значит э л е м е н т а р н о с т ь: *минуты*, *миги*, *мгновения*, *моменты* объединяются как элементарные единицы взаимнопротивопоставленных моделей времени.

Модели задают три различные интерпретации событий на базовом интервале времени: “бытовое”, “повседневное” (*минута*, *секунда*), “надбытовое”, “исключительное” (*миг*, *мгновение*); “рациональное”, “аналитическое” (*момент*) (подробнее об этом см. в [Яковлева 1994]).

Слова *время* и *пора* – исторические коррелянты *часа* – взаимнопротивопоставлены по признаку линейность/цикличность. При этом *пора*, являющаяся единицей времени космологического, маркирована – она называет фазу извечного жизненного круга (природного, социально-исторического), а *время* не маркировано – оно одинаково способно описывать как единичное, уникальное, повторяемое (то есть “л и н е й н о е”), так и типизированное, возобновляющееся (то есть “ц и к л и ч е с к о е”).

Закономерен вопрос, в каком отношении находится *час* к перечисленным выше моделям? Является ли он продолжением *минуты* в описании бытового, повседневного времени? И в этом смысле противопоставлен *мигу* – манифестирующему исключительное, эмоционально напряженное время? И вообще, корректно ли со- или противопоставлять

столь различные по длительности *час* и *миг* даже и при наличии у них межъязыковых параллелей?

Приведем в качестве аргумента пример, провоцирующий на подобные сопоставления: *Но в час, когда последняя граната // Уже занесена в твоей руке // И в краткий миг припомнить надо // Все, что осталось вдалеке...* (К. Симонов). Как видим, сближение между *мигом* и *часом* (нивелировка “количественного” фактора) происходит как раз за счет актуализации “качества” описываемого времени.

Заметим, что “качественность” *часа* по понятным причинам находит яркое отражение в Словаре эпитетов, который содержит и наиболее удачное, с нашей точки зрения, определение: “*Час*. О времени, моменте; периоде жизни (обычно чем-либо важном, знаменательном)” [Горбачевич, Хабло 1979: 520]

Поиск языковых особенностей *часа* мы начнем, следуя наиболее очевидной ассоциации.

## 2. ЧАС VS. МИНУТА

**З а м е ч а н и е.** Выявление и описание *часа* в русской языковой картине времени основывается на примерах, в которых используется форма единственного числа – *час*. Именно она является м о д е л е о б р а з у ю щ е й: для *часа* в ед. числе фактор “количества” (масштаба) может быть нерелевантен, ср.: *В этот решительный для русского общества час...* Поэтому только в ед. числе *час* (как и ед. число *минуты*) способен описывать “срочное” время, т.е. сообщать о наступлении события в соответствии с заранее известным “сроком”, ср.: *Пришел час разлуки (раставания, отъезда) или И час придет ... и он уж недалек. // Падешь, тиран! ...* (А. Пушкин).

По сравнению с формой мн. числа *час* обладает неким потенциалом неопределенности и возможностью к о б о б щ е н и ю, т и п о л о г и з а ц и и о п и с ы в а е м о г о временного отрезка. Так, можно говорить о *часе* (а не о *часах*) *возможная/становления личности, о часе* (а не о *часах*) *прозрения нации*.

Сочетания *утренний, вечерний, темный час* описывают именно периоды суток, которые мыслятся (в духе *поры*) как время типологизированное, поэтому в предложении они, как правило, служат “кулисами”, фоном действия, ср.: *На распутьи злом и диком // В темный час я тихо жду* (Ф. Сологуб).

Фразы же *утренние, вечерние часы* осмысляются скорее по типу *времени*, которое, в частности, может описывать события, любые по значимости, и мыслиться как нечто утилитарное, ср.: *Утренние часы (\*час!) лучше отдавать занятиям*. Отсутствие типологизированности у форм мн. числа (*часы*) делает не столь очевидной для фраз типа *темные часы* ассоциацию с временем суток: они могут интерпретироваться – по аналогии с *минутами* – как состояния души, ср.: *В темные часы я уединяюсь*.

После этой оговорки обратимся к анализу. Рассмотрим пример: [Пушкин Чаадаеву] *В минуту гибели над бездной потаенной // Ты поддержал меня недремлющей рукой* ( и дальше: ... *ты был целителем моих душевных сил...*). Описывается ситуация критическая, при этом *минута* заставляет осмыслить *гибель* как нереализовавшуюся угрозу, ср. между тем *час гибели*, где *час* сообщает, что критический слом произошел. Другими словами, время *минуты* п р е х о д я щ е, тогда как *час* несет информацию о н е п р е л о ж н о м результате. Заметим, что само это сопоставление *минуты* и *часа* возможно в приведенном случае благодаря тому, что в качестве имени события выбрана *гибель*, а не, скажем, *смерть*, от которой не было бы спасения, поскольку она называет событие по результату.

Продолжим сравнения: *К минуте мщенья приближаясь, // Онегин, тайне усмехаясь, // Подходит к Ольге ...* (А. Пушкин). *Минута* вы-

ступает здесь как манифестант времени “срочного”, т.е. сигнализирует о том, что мщение за п л а н и р о в а н о Онегиным. Но это срочное время мыслится, сообщает *минута*, как бы то в о е, о б ы д е н - н о е, что, в свою очередь, и *мщению* задает соответствующий масштаб – некоей повседневной, ничего не значащей акции. Иное дело *час мщения*: он поднимается над повседневностью, отмечая судьбозначимые события, ср.: [из “Песен воинов перед сражением” В.Ф. Раевского] *Завтра грозный час отмщения, // Завтра, други, станем в строй [и чуть дальше по тексту] О други! близок час желанный, // И близок грозный час врагам*. Важно и то, что *час X-а* приложим (в отличие от *минуты*) не только к жизни отдельного человека, но и к жизни общества.

То, что *минута* ограничена рамками “частного существования” и уровнем повседневности, а *час* способен подниматься до описания общезначимого и отмечать переломы в судьбе человека (общества), позволяет нам противопоставить эти слова по линии “д у ш е в н о е” (*минута*)/”д у х о в н о е” (*час*). Ср. у Апостола Павла: “... сеется тело душевное, восстает тело духовное” (1Кор. 15.44). *Час* и отмечает некие вехи на пути становления духовного человека<sup>3</sup>.

Чтобы обосновать наличие в *часе* “духовности” и увидеть противопоставленность *часа* по этому признаку “душевной” *минуте*, обратимся к примерам: [Из поэмы Н.Коржавина “Ленин в Горках] *Но все проходит. Снова жизнь как жизнь // И зло как зло. И, в общем, все как было. // Но тех, кто не жалел себя и нас, // Пытаясь вырваться из плена буден, // В час отрезвленья, в страшный, горький час // Вы все равно не проклинайте, люди*. Нетрудно заметить, что “в связке” с *часом* слово *отрезвление* понимается в совершенно определенном – духовном, – а не, скажем, психо-физическом, смысле: утро булгаковского Степы Лиходеева, к примеру, никак нельзя назвать *часом отрезвения* (*час* этот приходит к Степе несколько позже). Равно как и к слову *протрезвление* – в силу более узкой и конкретной семантики – *час* не приложим.

Выстраивается ряд: *час потери* (но не *утери, пропажи*), *час обретения* (но не *приобретения*), *час постижения* (но не *уразумения, уяснения*). Во всех этих и подобных случаях *час* выбирает имена событий, способных пополнить духовный багаж, отмечая тем самым этапы роста личности или общества, но общества, заметим, понимаемого по аналогии с личностью, а не скажем в экономическом, социально-историческом планах, отнесенительно которых *час* не может быть использован.

Итак, *час* и *минута* обладают разным потенциалом описания времени-жизни: *минута* – “частное”, преходящее; *час* – общезначимое, непреходящее. Будучи же употреблены относительно одного и того же имени события (состояния, действия), *минута* и *час* заставляют осмыслить его по-разному, ср.: *минута забвения* и *час забвения*; *минута безумия* и *час безумия*. *Минута* побуждает понять *забвение, безумие* как

---

<sup>3</sup> Слово “путь” мы употребили здесь не случайно. Сказав “путь”, мы неявно сообщили о направлении времени, которое манифестируется *часом*. Ср. определение Пути в мифо-поэтической и религиозной традиции как образа связи между двумя отмеченными точками пространства [Топоров 1991: 352]. В нашем случае этими точками “жизненного пространства” являются, по-видимому, рождение и смерть. Кроме того, сказав “путь”, мы неявно сообщили и о трудности его преодоления: “трудность является неотъемлемым свойством Пути в мифопоэтической картине мира” [Топоров 1991: 352]

п р е х о д я щ и е д у ш е в н ы е с о с т о я н и я, с р.: *Остается только мечтать о минуте забвения; В минуту забвения он написал это; В минуту безумия он сжег черновик и под. Час* позволяет осмыслить забвение и безумие как д у х о в н ы е категории, тем самым существенно редуцируя психо-физический аспект конкретных состояний, с р.: *В час безумия я согласился на это выступление; В час забвения ...* здесь хочется сказать *всеобщего*, и это не случайно: час укрупняет описываемое либо в плане проекции на некую линию жизни, судьбы, либо в плане глобального осмысления субъекта (*час забвения нации*); при этом забвение понимается не как отключение психо-физическое, а как “обморок духовный” (= потеря памяти о “корнях”, о “норме” и пр.).

Духовное время н а п р а в л е н о (это, действительно, “путь”). Поэтому каждый отдельный час X-а мыслится не изолировано, но в некоей перспективе: он з а к о н о м е р е н в плане “роста”. Понятно поэтому, что с именами, однозначно называющими духовное, а не душевное, *минута* не сочетается, с р.: *час покаяния*, но *минута раскаяния*. Соответствующие события и проецируются различно, с р.: *Час покаяния еще не наступил* и *Пока не наступила минута раскаяния, выпьем еще шампанского; Я чувствую приближение минуты раскаяния* и *Я верю, что час покаяния близок*.

Поскольку душевные состояния в принципе хаотичны, не отмечены какой-либо “путеводной” заданностью, *минуты* могут быть “хорошими” и “дурными”, “злыми” и “добрыми”. Сказанное справедливо и для нейтрального слова *время*<sup>4</sup>, обладающего к тому же и более широкими, по сравнению с *минутой* и *часом*, возможностями описания. При *часе* же X-ами не могут быть названия событий, ситуаций, исключающих осмысление в перспективе “пути”, “духовного роста”. С р. в связи со сказанным следующие ряды противопоставлений: *час смирения*, но не *упрямства*, не *своеволия*, не *гордыни*, не *тщеславия*, не *суесловия*; *час прощения*, но не *осуждения*; *час верности*, *мужества*, но не *час предательства*; может быть *час сомнения*, но не *час малодушия*; *час беспамятства*, но все же не *час отупения*, *одурения*. Мы видим, что *часом* не могут быть отмечены события, либо исключающие возможность будущей просветленности, либо прямо ведущие к духовной гибели. С р. между тем корректность сочетаний типа *минута малодушия*, *время гордыни* и *суесловия*; *минута упрямства* и *время всеобщего одурения*.

Понятно, что духовному времени чужды и разного рода утилитарные понятия, поэтому может быть *время* (а не *час*!) *здорового смысла*, *торжества практицизма*, *бережливости*, *осмотрительности*.

*Час* подразумевает н е и з б е ж н о с т ь X-а, его п р е д н а ч е р т а н н о с т ь, что навевается значением *часа* как определенного времени суток: *Есть час Души, как час Луны...* (М.Цветаева).

Непрестанное возобновление природных *часов* позволило Ф.И.Тютчеву сформулировать общезначимую (с р. выбор формы бытийного предиката!) закономерность: *Есть некий час, в ночи всемирного молчанья, // И в оный час явлений и чудес // Живая колесница миро-*

<sup>4</sup> Ниже мы лишь коснемся примеров, сопоставляющих *час* и *время*, поскольку они непосредственно относятся к обсуждаемой теме; собственно же сопоставлению этих слов как манифестантов моделей времени посвящен отдельный раздел.

зданья // *Открыто катится в святилище небес.* По аналогии с Тютчевым (взяв первые строки в качестве эпиграфа) М.И.Цветаева утверждает свою закономерность, но уже относительно жизни личности: *Есть некий час – как сброшенная кляжа: // Когда в себе гордыню укротим. // Час ученичества – он в жизни каждой // Торжественно-неотвратим.* Основанием этой закономерности служит общность человеческих судеб. Обращаем внимание на “мы” в глаголе (*укротим*) и на выбранное поэтами определение *часа*: местоимение *некий* подразумевает знакомство говорящего с предметом описания (см. [Падучева 1985]), таким образом *некий час* указывает на заранее известный “срок”, имевший место не однажды, с точки зрения говорящего, и в этом смысле закономерный, ср. у Б.Пастернака: *Может стать так, может иначе, // Но в несчастный некий час // Духовенств душой, черней иночеств // Постигает безумье нас.* Опять же интересно это “мы” инклюзивное: *час* пастернаковского *безумия*, как и *час ученичества*, неотвратимы для посвященных – “нас”, а не “их”. Типологизированность *часа* в последнем случае выражена и формой НСВ глагола (*постигает*).

**З а м е ч а н и е.** Тема общезначимых *часов* (да и сама синтаксическая форма их представления) была открыта, по-видимому, А.С.Хомяковым, его стихотворением “Два ча са”, ср.: *Есть час блаженства для поэта, // Когда мгновенною мечтой // Душа внезапно в нем согрета // Как будто огненной стрелой ... Но есть поэту час страданья, // Когда восстанет в тьме ночной // Вся роскошь дивная созданья // Перед задумчивой душой.* Этот пример, между прочим, показывает, что не обязательно п р я м о отталкиваться от природного *часа*, чтобы сформулировать “правило” *часа* личности. Обратим внимание и на выбор дательного падежа для субъекта *часа страдания*: дательный служит дополнительным языковым средством подчеркивания н е и з б е ж н о с т и *часа* благодаря тому, что эта форма вступает в ассоциативный ряд дательного “подневольного” субъекта инфинитивных и безличных предложений, сообщающих о неизбежности действия, названного предикатом. Заметим, что предложенный А.С.Хомяковым синтаксический вариант – *есть поэту час страданья* – возможен за счет ассоциативной связи *часа* с *порой*, которая, в отличие от *часа*, имеет узаконенный языком безличный синтаксический тип употребления.

Таким образом, ‘общезначимость’ позволяет *часу* употребляться в сфере действия предиката *есть*. Естественно предположить, что *минута* такой способностью не обладает. В самом деле, о *минуте* можно сказать *есть* только в плане описания времени природного, ср.: *Есть такая минута перед самым закатом, когда...* При описании же времени душевного мы должны использовать форму мн. числа, передающую идею собирательности и по параметру ‘обобщение’ коррелирующую с предикатом *есть*, ср.: *Есть минуты, когда не тревожит // Роковая нас жизни гроза* (Ф.Тютчев). Обратим внимание, что для *часа*, напротив, невозможно общезначимое обобщение в форме мн. числа: сочетание *есть часы...* не поддается осмыслению, сказать же *бывают часы...* можно.

Последние примеры подводят нас к мысли о том, что на возможность обобщения в описываемой нами сфере влияет фактор идиоматизации: поскольку *минуты* (а не *часы*!) являются конвенциональным языковым средством описания “душевного времени”, фраза *Есть минуты, когда...* корректна, а фраза *Есть часы, когда...* – нет. *Часы*, называющие душевные состояния, – это уже и н д и в и д у а л ь н о е, а в т о р с к о е средство, поэтому они не могут служить собирательным выразителем общезначимого душевного времени. Здесь, конечно, на память

приходят тютчевские же строки: *Есть и в моем страдальческом застое // Часы и дни ужаснее других*. Однако употребление *часов* в них не противоречит общему правилу, ведь бытие этих *часов* утверждается относительно конкретной жизни.

Вообще, возможность употребления временных показателей в контексте разного рода бытийных предикатов (*есть, бывает, был...*) служит дополнительным языковым аргументом в пользу тех или иных семантических гипотез, но во избежание излишней детализации сейчас мы ограничимся предложенными наблюдениями.

Итак: а) по сравнению с “внесрочными” душевными *минутами час* “духовен” (манифестирует время общезначимое, направленное); б) по сравнению же с *минутами* “срочными” (*минута расставания; минута мщенья*), ограниченными уровнем повседневности и горизонтом частного существования, *час* судьбозначим. В качестве итоговой иллюстрации этого тезиса приведем примеры, в которых выбор временного показателя неявно несет информацию о “качестве” описываемой жизни: *Свою роль ангела-хранителя Булгакова Елена Сергеевна знала твердо, ни разу не усомнилась, в трудный час ничем не выдала своей усталости* (В.Лакшин); [об аресте мужа героини] *До чего же Тимур ее доендурил, – смеялись крестьяне, – что она в такой час вспомнила о полотенце* (Ф.Искандер); [и снова об аресте] *В час прихода этих людей он сидел за столом и мирно раскладывал пасьянс* (С.Голицын).

### 3. ЧАС VS. МИГ

3.1. Начнем с противопоставленности этих временных показателей по линии *уникальность, неповторимость, единичность (миг)/обобщенность, типологизированность (час)* (заметим, что именно в силу своей уникальности *миг* невозможен в контексте предиката *есть*, ср: *\*Есть миг...*). Ср. примеры: *Приходит миг раздумья. Истомленный, // Вникаешь в полнозвучные слова* (К.Бальмонт) и [из “Предсмертной исповеди христианина”] *Несправедливостью судеб // Я огорчался в час раздумий, // Но зарабатывал мой хлеб // Без возмущений и безумий* (З.Гиппиус). Типологизированность *часа* подкрепляется формой мн. числа имени (*раздумий*), которая невозможна при *миге* как раз в силу его единичности, уникальности.

Основанием для обобщения *часа X-a* может служить спроецированность *X-a* на определенное время суток (и соответствующий регулярный повтор), ср. предпочтительность “собирательной” формы мн. числа имени в род. падеже в подобных случаях: *Вечерний звон у стен монастыря ... Час горьких дум, о, час разуверений* (А.Ахматова).

**З а м е ч а н и е.** Обсуждая в предыдущем разделе характеристики духовного времени, мы в качестве примеров приводили такие, в которых имена событий были даны в ед. числе – рассматривался *час безумия*, а не *безумий*, *час сомнения*, а не *сомнений*.

Если мы зададимся целью сформулировать “правило” выбора числа для имени в род. падеже, то у нас получится примерно следующее: только ед. число для имен, обладающих “единичностью”, связанной с неповторимостью духовных шагов: *час осознания, покаяния, смирения*. Такие имена не “собираются” с помощью формы мн. числа. С этой точки зрения *безумие* допускает двойное осмысление: в духовном плане (и тогда только единственное число, ср.: *Это был час всеобщего безумия; В час безумия он принял решение участвовать в чем-*

пионате) и в плане “действия по типу X-а” (и тогда мн. число). Но в последнем случае (*час безумий*) объект уже выходит за рамки нашего рассмотрения, поскольку *час* описывает время типологизированное на основе регулярного повтора (*Я всегда с нетерпением жду этого часа безумий, прозрений, постижений, вдохновений*). Заметим, что такой *час* относится по преимуществу к отдельному человеку, либо называет период суток как таковой, ср.: *Ночь – час прозрений*. Интересно, что “диахронический” коррелят *часа – пора* – подчиняет в подавляющем большинстве случаев собирательные имена, и если у слова есть форма мн. числа, то именно она для *поры* является предпочтительной, ср.: *Юность – пора надежд* (а не *надежды*); *Вечер – пора прозрений* (а не *прозрения*). То есть *пора* описывает время, типологизированное именно на основе природных возвратов и повторов. Для *часа* же в русском языке открыта и другая возможность – описывать закономерность наступления события вне связи с природными циклами (*час прозрения, сомнения...*).

Строго говоря, типологизированность *часа*, которая задается его соотношением с суточным кругом, мы должны были бы оставить и в дальнейшем сопоставлять примеры типа *миг осознания* (единичен, конкретно-референтен, неожиданен, редок) и *час осознания* (всеобщ и закономерен); *миг утраты...* и *час утраты...* Но этот путь подводит нас к новому сопоставительному аспекту.

3.2. Оба временных показателя описывают нечто, поднятое над повседневностью, особо важное с точки зрения говорящего, но *миг* в непланов, неожиданен, всегда нов; *час* же мыслится, скорее, в терминах неотвратимости и предрешенности: событие, отмеченное *часом*, не случайно. Пример: *Онегин, помните ль тот час, // Когда в саду, в аллее нас // Судьба свела...* Для Татьяны встреча с Онегиным является одним из проявлений судьбы, и сама любовь мыслится в категориях духовного – испытывающего – времени. Сопоставим с этим другое восприятие и описание любви – в терминах надбытового времени *мига* (эмоционально насыщенного, особо значимого и неповторимого): *Когда, как в клетке запертый орленок, // В груди забьется сердце и когда // Природа нам шепнет: “Ты не ребенок”, – // В тот миг я полюбил...* (Л.Мей).

Можно сказать и так: *час* наделяет событие (в наших случаях оно названо именем в род. падеже) признаком “истинность” в смысле его справедливости, закономерности, неизбежности для данной судьбы; *миг* же, будучи и исключительно важным эмоционально, этой информации не несет.

В указанном плане весьма показательным одно словоупотребление В.В.Розанова: описывая событие трагическое, переломное в жизни писателя (речь идет о Гоголе), он осмыслил его в терминах *мига*, а не *часа*. Пример: *Помешательство – минус души, а не плюс. Но с Гоголем никак не было неинтересно в миг сожжения рукописи...* Говоря *миг*, а не *час сожжения*, В.В.Розанов отдает должное исключительности этого события, но все же не включает его в разряд судьбозначимых, а следовательно – неизбежных, predetermined. *Миг* свидетельствует, что, с точки зрения Розанова, “сожжение рукописи” не необходимый этап в судьбе писателя (“Помешательство – минус души, а не плюс...”).

Противопоставленность *мига* и *часа* по указанному признаку подтверждается и эпитетами: *час* – *урочный, определенный, должный, заветный, неизбежный*, т.е. такой, каким *миг* быть не может.

Мы сказали об “истинности” *часа* в плане его справедливости, непреложности, но она проявляется и в том, что *час* непреходящ, его результат неотменим. *Миг* же удержать невозможно, ср. бальмонтовскую

грусть по поводу того, что *Миг встречи душ уходит безвозвратно*. Заметим, что *час встречи душ* остался бы; и не просто следом, воспоминанием, но неким результатом, определяющим дальнейшую судьбу этих “душ”. Рассмотрим в связи со сказанным пример: [из “Гимна Солнцу”] *Там день есть меж днями, когда небосвод // Миг правды дает за обманы. // И тот, кто томился весь год без лучей, // В миг правды – богаче избранников дней* (К.Бальмонт). *Миг* подчеркивает исключительность и мимолетность этой “правды” (ее место не могла бы занять абсолютная и непреходящая “истина”). *Час правды* знаменовал бы глобальное разрешение ситуации и был бы не отменим, не скоропреходящ.

**З а м е ч а н и е.** Вообще, эта “разрешающая” семантика *часа* – как исхода ситуации – весьма интересна. Мы остановимся на данном вопросе при сопоставлении *часа* и *поры*, а сейчас, в предварение, лишь заметим, что русский *час* тяготеет к точке конца, из всей “нити бытия” (слова М.Волошина) он скорее выберет конечное, а не начальное (ср. идиоматизацию именно *последнего часа*<sup>5</sup>).

Противопоставленность *мига* и *часа* по линии отсутствия/наличия предопределенности, неизбежности, предписанности законом судеб находит интересное выражение у М.Ю.Лермонтова при интерпретации, по существу, одного и того же события – гибели поэта: в одном случае она неизбежна (*час*), а в другом – трагически нелепа, случайна (*миг*). Ср.: *Я говорил тебе: ни счастья, ни славы // Мне в мире не найти; – настанет час кровавый, /// И я паду; и хитрая вражда // С улыбкой очернит мой недоцветший гений... и ... Не мог ценить он нашей славы; // Не мог понять в сей миг кровавый, // На что он руку поднимал!...*

**3.3. Миги и мгновения – элементарны**, это мельчайшие частицы онтологического времени; *час* же не может быть осмыслен как атом времени в его первозданности. С этим связана новая линия противопоставлений.

*Миг* воспринимается непосредственно (как мельчайшая частица онтологического времени) и поэтому может описываться в терминах *первичного* восприятия, ср.: *О, запах пламенных духов! // О, шелестящий миг!* (А.Блок); *С душою миг познав медвяный, // Еще другой ищущ души* (К.Бальмонт). *Час* не может быть ни *шелестящим*, ни *медвяным*. *Миги* и *мгновения* можно *вкушать*: *Пленительна зеленая планета, // Где человек свой первый миг вкусил* (К.Бальмонт); описываемое ими время может “сгущаться”, “уплотняться” в элементарные частицы “жизненной материи”, ср.: *Когда последнее мгновенье // Мой взор навеки омрачит...* (М.Лермонтов) – *последний час* не способен быть непосредственным “омрачителем” *взора*. *Час*, как и *миг*, может быть *сладким*, но в одном случае (*миг*) это “сладость” непосредственного

<sup>5</sup> То обстоятельство, что за *часом* *последним* для носителя русского языкового сознания закреплено вполне определенное содержание, влияет и на перевод. Так, этимологически библейское выражение *δωδεκάτης ὥρας* (букв. ‘в двенадцатый час’) в переносном употреблении значит ‘в последнюю минуту, перед самой смертью’ [Вейсман 1991: 1367]. Со значением ‘в последнюю минуту’ это выражение вошло в английский язык, ср. примеры на фразему *at the eleventh hour* из Англо-русского фразеологического словаря: *If any guest failed at the eleventh hour, Todd was asked to dine* – *Если в самую последнюю минуту какой-либо гость не являлся, тогда приглашали обедать Тода* [Кузин 1955: 569]. В русском же языке *час* *последний* несет вполне определенные, эсхатологические, ассоциации, и поэтому *hour* в примерах типа вышеприведенного с необходимостью переводится через свободные от этих ассоциаций слова *момент*, *минута*.



восприятия, а в другом (час) сладкий значит 'желанный', 'приятный', ср.: *И сладок нам лишь узнаванья миг* (О.Мандельштам); *И женщины сплетут ему венец, // Теряя все за сладкий миг обмана, // В проклятых восхваляя Дон Жуана* (К.Бальмонт) и ... *Тобой дышать до гроба стану. // Мне сладок будет час и муки роковой...* (Д.Веневитинов).

Э л е м е н т а р н ы й миг схватывается непосредственным восприятием и эпитеты отражают эти первичные ощущения мига (вкусовые, звуковые, тактильные); о б о б щ е н н ы й же час предполагает и некоторое о с м ы с л е н и е описываемого, рефлексию. Становится понятно, почему у символистов "позвякивали" именно миги, а не, скажем, часы, ср.: (из "Масок" А.Блока) ... *И позвякивали миги, // И звенела влага в сердце, // И дразнил зеленый зайчик // В догоревшем хрустале...* Миг может выступать как синоним быстротекущей жизни в ее непосредственном ощущении, ср. у А.Ахматовой: *Я люблю только радости мига // И цветы голубых хризантем*

Если время и впрямь является другим названием для жизни, то миг можно рассматривать как атомарную частицу бытия (сущности, заметим, уже п р о с т р а н с т в е н н о -временной!), как "след", о б р а з событий, прошлых или будущих.

Рассмотрим в связи со сказанным пример (из поэмы К.Бальмонта "Лермонтов"), в котором миг описывает некую пространственно-временную сущность, "образ" – время пророческого прозрения: ... *Нет, не случайно он среди громад // Кавказских – миг узнал смертельно сонный, // Где мог он так красиво умереть...* Понятно, что час "узнать" ('распознать', узреть) невозможно, как не может час поясняться с помощью где-предложения. Увидеть, т.е. как бы непосредственно воспринять можно только час природный, например: *От меня, как от той графини, // Шел по лесенке винтовой, // Чтоб увидеть рассветный, синий, // Страшный час над страшной Невой* (А.Ахматова); *Бездыханный покой очарован. // Несказанная боль улеглась. // И над миром, холодом скован, // Пролился звонко-синий час* (А.Блок).

3.4. И наконец, использование часа и мига относительно таких понятий, как "жизнь", "творчество", "рождение", "создание", позволяет заметить явную личностную ориентацию часа, его персоноцентричность: часом могут быть отмечены "жизнь", "рождение", "смерть" ч е л о - в е к а, л и ч н о с т и, либо же феномена, который мыслится по аналогии с человеком, наделяется личностным началом, как, например, Россия у А.Белого в "Петербурге", ср.: *С той чреватой поры, как промчался к невшскому берегу металлический Всадник ... надвое разделась, страдая и плача до последнего часа – Россия.*

Заметим, что "личностное" начало часа таково, что вряд ли возможно говорить о последнем часе младенца, ребенка – человека, не прошедшего "выковки" предшествующими часами испытаний и в этом смысле не "взошедшего духовно" (по Апостолу Павлу), не подсудного.

Миг же свободно описывает любые природные проявления, в каких-то случаях являясь "естественным", природным аналогом часа, ср.: *И в куколке, до мига воплощенья, // Всю зиму мотылек лелеет плоть* (К.Бальмонт) – час воплощенья так или иначе "персоноцентричен". Еще пример: *Блеснув мгновением серебром, // В реке плотица в миг опаски*

// *Сплетет серебряные сказки* (К.Бальмонт). *Опаска* – мгновенное, импульсивное, переходящее состояние животного. Однако *миг* здесь уместен не только вследствие “микроскопичности” описываемого; к плотице в принципе не приложимо понятие “часа”: в применении к ней можно говорить о *моменте, времени*, но не о *чаше опасности*, который указывает на обработку соответствующей информации духовным опытом субъекта. Ср., между прочим, и некорректность сочетания \**час опаски*, вследствие рассогласования частей по признаку ‘наличие/отсутствие духовной рефлексии’.

Как мы отметили выше, творчество, в частности космическое, описывается в терминах *мигов* и *мгновений*, а не *часов*, из чего можно заключить, что оно мыслится как естественный, стихийный процесс. Проиллюстрируем сказанное: [из “Художника” К.Бальмонта] *Нираною, ни мыслью не оравлен, // В размерности ты все вбираешь в сон // Своих зрачков. Ты как бы сын племен, – // Которым первый миг земли был явлен* или его же: *Пожар – мгновенье первое земли, // Пожар – ее последнее мгновенье*. Ср. создание стиха, по Б.Пастернаку: *В миг, когда дыханьем сплава // В слово сплочены слова!* Неуместность *часа* в приведенных примерах определяется не столько фактором масштаба, сколько именно “качеством” описываемого: стихийностью “естественных волений” природы и неподотчетностью творчества.

3.5. Вернемся теперь к примеру из К.Симонова (*Но в час, когда последняя граната ...*) и проанализируем в нем закономерность выбора временных показателей. *Миг* и *час* здесь относятся, по существу, к одному и тому же отрезку временной (=жизненной) оси, но интерпретируют его по-разному: *час*, манифестант времени духовного, квалифицирует этот отрезок как решающий, судьбоносный, *час* здесь – это время выбора, определяющего личность, поступка; *миг* же, являясь неким “растяжением самой души” (дефиниция времени переживаемого, данная Бл.Августином), охватывает во внутреннем созерцании всю жизнь (...и в краткий миг припомнить надо...). Можно сказать и так: *час* – это взгляд на описываемое “высооты” духовного опыта, прожитой жизни, а *миг* – это спонтанное восприятие, не сверенное с духовным опытом (и шире – шкалой, системой ценностей).

В подтверждение тезиса о противопоставленности *мига* и *часа* по линии “ближней/дальней” дистанции, с которой ведется описание, приведем еще один случай, когда одно и то же событие интерпретируется сначала в терминах *мига*, а через строку – в терминах *часа*: *Но близок, близок миг победы. // Ура! мы ломим; гнутся шведы, // О славный час! о славный вид! // Еще напор – и враг бежит ...* (А.Пушкин). *Миг* передает живое ощущение битвы, наступающего в ней перелома (“вот-вот...”, “запахло, повеяло победой”); *час* же сигнализирует об осознании происшедшего. В первом случае о победе говорит как бы участник событий, а во втором – историк. Переход от *мига* к *часу* свидетельствует об изменении позиции интерпретатора: в самом деле, с каждой строкой взгляд на происходящее (битву) становится все более и более “внешним”, в итоге – “всеохватывающим”. Продолжим в подтверждение цитату: ... *И следом конница пустилась, // Убийством тупятся мечи, // И падшими вся степь покрылась, // Как роем черной саранчи.*

В качестве точки над *i* приведем пример, в котором *победа* допускает интерпретацию только в терминах *часа* (в силу особого ее понимания автором): [*Открой мне, Боже, открой людей!*] *И в час победы – возьми меня.* // *Возьми, о жизни моей Властитель,* // *В Твое сиянье, в Твою обитель,* // *В Твое забвенье возьми меня* (З.Гиппиус). *Победа* здесь является неким духовным итогом существования личности. Отмечающий этот “всход” (прорастание “тела духовного”) *час* одновременно является и *последним часом* земного существования.

#### 4. ЧАС VS. ПОРА

Оба эти слова способны к описанию времени, которое мыслится: а) как п е р и о д, занятый действием (для *поры* прототипом выступает природное время): *вечерняя пора/вечерний час* и б) как м о м е н т, с которого действие должно вступить в силу, начать осуществляться: *пробил час, настала пора...*

Однако в первом случае, при описании природного времени, *час* связан условием масштаба: согласно современной норме, природный *час* может описывать часть суток, а не, скажем, часть года; *пора* в этом плане более свободна, ср. примеры, в которых *час* и *пора* сопоставимы по масштабу: *Юный месяц идет к полуночи:* // *Час монахов – и зорких птиц,* // *Заговорщиков час и юношей,* // *Час любовников и убийц* (М.Цветаева); *Уже светло, поет сирена* // *В седьмом часу утра.* // *Старик, похожий на Верлена,* // *Теперь твоя пора!* (О.Мандельштам). И хотя бы один короткий пример их несопоставимости: *Октябрь... Пора отлета птиц* (О.Малевич).

О тесных ассоциативных связях *часа* и *поры*, называющих момент активизации действия, свидетельствует их частое контекстное соседство, например: *Благослови, родная: час пробил!* // *В груди кипят рыдающие звуки,* // *Пора, пора им зверить мысль мою* (Н.Некрасов); *Оборвана цепь жизни молодой,* // *Окончен путь, бил час, пора домой,* // *Пора туда, где будущего нет,* // *Ни прошлого, ни вечности, ни лет...* (М.Лермонтов). Приведенные примеры иллюстрируют справедливость поговорки: “Час придет и пору приведет”.

**З а м е ч а н и е.** Вообще говоря, в точном смысле понятия периода, занятого действием, и момента, с которого действие должно начать осуществляться, приложимы только к слову *пора*, имеющему, как известно, два типа употребления: 1) номинативное – *пора* в значении существительного (*Прошла пора сбора урожая; Настала пора реформ*); 2) предикативное – *пора* с инфинитивом в составе предиката (*Пора собирать урожай; Нам пора с ним рассчитаться*). В первом случае *пора* – это период, а во втором *пора* – этот момент; номинативная *пора* это *пора чего, пора какая*, предикативная же *пора* исключает заполнение этих качественных валентностей (ср.: *Настала долгожданная пора отпусков* при невозможности *\*Настала долгожданная пора идти в отпуск*), всегда подчиняет инфинитив, а в качестве субъекта, который должен совершить действие, названное инфинитивом, имеет дательный падеж (*Нам пора уходить*).

Существенно, что период, занятый действием, может мыслиться по-разному: как ддящийся (*Была пора сбора урожая*), как прошедший (*Она прошла, пора стихов,* // *Пора любви, веселых снов,* // *Пора сердечных вдохновений* (А.Пушкин)). Момент же активизации как прошедший мыслится не может, поэтому с инфинитивом хорошо сказать *Пришла пора собирать урожай* и плохо *\*Прошла пора собирать урожай*.

По возможностям употребления *час* лишь отчасти сопоставим с *порой*. Во-первых, *час* не способен к безличному употреблению: можно сказать *Нам пора уходить* и нельзя *\*Нам час уходить*. Во-вторых, даже и в номинативном употреблении *час* не всегда описывает период, занятый действием, ср.: *Настала пора демократических преобразований* (*пора* – ‘период’) и *Настал час расплаты*; *Пришел час осознания* (*час* – ‘?’) – вне контекста неясно, идет ли речь о моменте актуализации соответствующего действия или о периоде, который уже занят им. Кроме того, не зависимо от того, описывает ли *час* период или момент, он не может мыслиться как *п р о ш е д ш и й*, ср.: *Прошла пора сомнений и надежд* при невозможности *\*Прошел час осознания*.

Таким образом, *час* и *пора* сопоставимы только в тех случаях, когда речь идет о чем-либо наступающем или наступившем, но не прошедшем. Это примеры типа: *Пришла твоя пора*; *Мой час настал* (тривиальные аналогии между *часом* и *порой* при обозначении времени суток – *вечерняя пора/вечерний час* – мы, разумеется, оставляем без внимания). В данной, общей для *часа* и *поры*, области они описывают нечто, близкое смыслу ‘своевременность’. Однако у каждого из слов *с в о и о с н о в а н и я* для утверждения этой своевременности. На них мы и сосредоточим внимание в дальнейшем, поскольку именно этот аспект, по нашему мнению, является смысловым стержнем противопоставления *часа* и *поры*.

Рассмотрим простейшие примеры: *Пришел твой час/Пришла твоя пора*. *Пора* сообщает о наступлении, в силу накопления необходимых признаков, нового периода в развитии ситуации – времени, благоприятного для действий, активных проявлений; эта “вызревшая” *пора* как бы и открывает следующую временную (= деятельностную) перспективу. *Час* же, прежде всего, не “вызревает”, не “накапливается” (предшествующим ходом вещей); выражение *час настал* может описывать наступление события в полном отрыве от каких-либо аспектов ситуации (то есть не мотивируемое в *н е ш н и м* развитием), ср. блоковское: *Но час настал. И Ты ушла из дому...*

*Час, пробивший, наступивший, пришедший*, не обязательно предполагает открытие новой деятельностной перспективы – он может быть и последним во временном (= жизненном) ряду: *И час пробил! его нежнейший друг // Стал медленно слабеть* (М.Лермонтов). *Пора же, наступившая, пришедшая*, в принципе не может быть последней, она не может быть заключительной точкой развития, разрешающим итогом. А *час* – может: *Последний лист падет со дерева // Твой час последний прозвучит...* (Е.Баратынский).

Таким образом, *пора* описывает своевременность как проявление *з а к о н о м е р н о с т и* в развитии данной, конкретной ситуации в силу накопления необходимых признаков для наступления события: *Устали, пора расходиться*; *Снова пришла пора сбора винограда*. В основании же своевременности *часа* лежит идея неизбежности события с точки зрения некоего всеобщего Закона (а не конкретной закономерности); своевременность здесь – это *с п р а в е д л и в о с т ь* закона. Становится понятным, почему внешне *час* может быть никак не мотивирован и при этом неминуем.

Из сказанного ясно, что *час* – как “веха” в судьбе – не прогнозируется, а является, скорее, предметом *в е р ы* (*час* справедливости) или

з н а н и я (последний час). Примеры: *Она верит, что час ее пробьет, что она полюбит и будет любить идеально* (И.Гончаров); *Она верит, что рано или поздно час ее пробьет – и все вокруг поймут, наконец, какая необычайная жизнь сгорела на их глазах* (В.Бахметьев); *И дни Творцу она вручила ... Не сетуя на смертный час* (В.Жуковский) – то есть зная о неизбежности и неминуемости этого часа (не сетуя на “идею” смертного часа).

То, что час входит в некий априорный набор “жизненных сроков”, а пора мыслится как органически созревшая в условиях развивающейся ситуации, в рамках каждой отдельно взятой жизни, хорошо видно из сравнения возможностей употребления этих слов в разных модальных перспективах: *пора*, в отличие от *часа*, не употребляется в ирреальной модальности, случаях типа *\*Еще не настала пора с ним рассчитаться; \*Когда же наступит пора с ним рассчитаться*. Ср. между тем у Д.Веневитинова (о *чаше* активных проявлений) ... *Твой час еще не наступал*. Сказать *\*Твоя пора еще не наступала (не наступила)* плохо, поскольку о *поре* можно говорить только в режиме констатации факта. Еще примеры: *О милый друг, спеши, пока // Еще не бьет последний час* (А.Беленсон); [об идее “Москва – третий Рим”] *Схема взята привычная из византийской апокалиптики: смена царств или, вернее, образ странствующего Царства или Град в странствии и скитании, пока не придет час бежать в пустыню* (о. Г.Флоровский).

Таким образом, обладающие несомненной исторической общностью – выросшие из одного концептуального ядра – *час* и *пора* как бы поделили сферы описания: своевременность *поры* мотивируется явными предпосылками, а своевременность *часа* – соответствием тайным срокам. Ср. представление закономерности наступления одного и того же события (любви) с помощью этих слов-интерпретаторов: [о сердце] *Но в час свой урочный // Узнает оно цепей неизбежное бремя* (М.Лермонтов) и ... *И в сердце дума заронилась... Пора пришла. Она влюбилась...* (А.Пушкин).

## 5. ЧАС VS. ВРЕМЯ

Этот раздел неадекватен в плане количества предлагаемого к рассмотрению материала. Мы остановимся лишь на некоторых наиболее значимых (для выявления особенностей *часа*) сопоставительных аспектах, прекрасно сознавая, что само слово *время* могло бы задать общую схему сопоставлений рассматриваемых нами временных показателей, схему с полным набором таксономических временных характеристик, ведь именно оно способно к описанию всего спектра временных значений – от континуума до точки, любого “качества” и значимости, – именно *время* выступает практически ко всем вышеупомянутым показателям (*момент, минута...*) в роли некоего нейтрального коррелянта, который высвечивает (отсутствием свойств и своей универсальностью) яркость и неповторимость партнера по оппозиции (ср. практически полное синтаксическое совпадение у слов *время* и *пора*). Нашу же задачу мы видим в том, чтобы сказать нечто о *чаше* на фоне *времени* в плане установления каких-то интересных свойств *часа*.

По преимуществу нас будут интересовать выражения типа *в этот час* и *в это время* в аспекте возможностей “качественного” заполнения

соответствующих временных промежутков. Ср. примеры: (а) *В этот час (время) россиянам необходимо мужество и стойкость* и (б) *В это время (?час) россиянам необходимо повысить зарплату*. В (а) час интерпретирует временной отрезок как судьбозначимый для россиян и поэтому является более эффективным средством описания по сравнению со словом *время*, которое, во-первых, лишено целостности *часа* (как кванта времени); во-вторых, не содержит априорной идеи масштаба (*час* – относительно некоего жизненного целого, судьбы, а *время* – ?...) и, наконец в-третьих, не несет идеи неизбежного, объективно предопределенного срока. В (б), напротив, *время* предпочтительнее *часа* уже в силу самого характера событийного заполнения, который снимает вопрос о судьбозначимости описываемого временного отрезка, а следовательно – о “сроке” и о “пути”. То, что выбор *часа* определяется характером событийного заполнения, а не масштабом описываемого, подтверждает сравнение следующих примеров: *В это время в России проводится всемирная шахматная олимпиада* (*час* в этом контексте может быть использован только в “количественном” значении – времени суток) и *В этот час в России проводится всеобщая мобилизация* (судьбозначимый *час* уместен в силу “качества” описываемого события, несмотря на то, что по параметру “количество” оно заведомо большее, чем олимпиада). Ср. смысловой эффект использования *часа* в следующем отрывке из “Смерти Иоанна Грозного” А.К.Толстого: *Сын Федор – ты в тяжелый, трудный час // Восходишь на престол – в отличие от времени, час позволяет выйти за пределы социально-исторической интерпретации временного интервала в область духовных ассоциаций*. И ср. приоритет *часа* при описании следующих ситуаций: *В этот час в России рождается новое понимание государства; В этот час Россия с тревогой смотрит в будущее; В этот час Родина требует от вас жертвы...*

**З а м е ч а н и е.** Приведенные примеры позволяют еще раз коснуться темы “*Час* как показатель описания с д и с т а н ц и и, на расстоянии”. В рассматриваемых нами случаях отрезок *в этот час/в это время* мыслился г л о б а л ь н о. Как кажется, именно эта масштабность позволила вести описание в плане настоящего времени (настоящего а к т у а л ь н о г о !). Если же мы изменим “масштаб” – зададим осмысление наших временных отрезков как вместилища частной судьбы, – то возможность описания в терминах настоящего актуального ставится под вопрос (разумеется, только для *часа* как обозначения судьбозначимого, а не природного времени, ср. в пояснение: *В этот час Петя должен быть в библиотеке – бытового эпизод из частной жизни – и В этот час мы должны забыть былые распри – час задает глобальное осмысление ситуации*). Под вопрос ставится и возможность самоописания в таком временном режиме. Кажется гораздо более естественным использование судьбозначимого *часа* при описании 1-го лица в плане “настоящего исторического” или каких-либо прошедших времен, например: *В этот час я еще не знал, через что мне предстояло пройти; В этот час я готов был простить ей все...*

И еще об одной особенности *часа*, обсуждение которой поможет нам перейти к следующему разделу, – *час* легко находит “владельца”: *мой, твой, его час*. Впрочем, в свете всего вышесказанного эта персональная ориентация *часа* уже не вызывает удивлений. Пример: *Италия, отчизна вдохновенья! // Придет мой час, когда удастся мне // Любить тебя с восторгом наслажденья, // Как я люблю твой образ в светлом сне* (Д.Веневитинов).

По указанному признаку *час* решительно противостоит слову *момент*, ср. некорректность сочетаний \**мой, твой ... момент*. И это по-

нятно, ведь *момент* – это слепок в н е ш н и х обстоятельств, которые могут мыслиться как благоприятные или неблагоприятные, но которые исключают какое-либо посессивное понимание (о русском *моменте* см. подробнее в [Яковлева 1994]).

Рассмотрим в качестве подытоживающего пример, в котором использование *часа* задает интерпретацию всей описываемой ситуации. Замена же *часа* на *момент* меняет и смысл этого “целого”: *Позволительно, думаю я, всякому честному русскому, искренне любящему свое отечество, в этот решающий час слегка досадовать на тех, кто влиянием своим ... толкнул его на эту гибельную войну* (П. Чаадаев). Очевидно, что *решающий момент* в приведенном контексте значил бы нечто иное по сравнению с *решающим часом*, а именно: *момент*, вследствие тесной связи с обстоятельствами, событиями на описываемом временном отрезке, в сочетании со словом *решающий* сигнализировал бы о п е р е л о м е в обстоятельствах, повороте событий, которой в принципе мог бы быть и благоприятным, несущим облегчение, удачу и проч. *Час* же, являясь единицей времени духовного, ниспосылаемого, в сочетании с *решающий* подчеркивает судьбозначимость событий, к каковым прежде всего относятся испытания, трудности, лишения.

Рассмотренные особенности *часа* заставляют нас вспомнить о *чase* библейском, *чase* Нового Завета.

## 6. ЧАС В СВЕТЕ ВИБЛЕЙСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВРЕМЕНАХ И СРОКАХ

Бог в Библии разговаривает с человеком на языке времени активно: посылая на землю *дни бедствий, годину искушения* и под. Понимать “знамения времен” – значит понимать смысл происходящего. В Ветхом Завете сроки свершения земных судеб предсказываются в терминах *дней, времени, лет, времен*, но окончательным, всеразрешающим, сроком является День Господень – Судный День, День Страшного Суда, Второго Пришествия. С одной стороны, этот День “назначен”, неминуем (“Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством преопределенного Им Мужа” (Деян. 17.31)), а с другой – время его наступления неизвестно (“...день Господень так придет, как тать ночью” (Фесс. 5.2))<sup>6</sup>.

Новый Завет несет идею нового срока – *часа*, часа Иисуса. И *час* этот становится как бы естественной частью ранее предсказанного *дня*.

**З а м е ч а н и е.** Подчеркнем: *час* Нового Завета – это не лингвистическое нововведение, следствие языка, на котором написаны Евангелия. В древнееврейском языке был “час” (*шаа*) как обозначение части суток, и это слово встречается в Кн. Пророка Даниила в значении момента (“точки”) – “В тот самый час вышли персты руки человеческой, и писали против лампы на извести стены чертога царского ...” (Дан. 5.5) – и в количественном значении – “Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его (Дан. 4.16).

Как кажется, выбор в Новом Завете именно “часа” (*ѡра*), а не, скажем “времени”, “дня”, для описания определенного круга ситуаций, и реконструкция на основе этого выбора нового типа времени относятся к области мировоззренческих проблем. Последовательность и регулярность перевода новозаветного *ѡра* в Евангелиях на латинском, церковнославянском и русском (здесь мы опираемся на сопоставление параллельных текстов Евангелия от Матфея [Новый За-

<sup>6</sup> Здесь и далее все цитаты из Библии даются по изданию [Библия 1983].

вет 1993]) позволяют усмотреть в этом слове некую терминологическую значимость – соотносительность с общей системой языка времени в Библии<sup>7</sup>.

Впервые мы о *часе* слышим на брачном пиру в Кане Галилейской: “И как недоставало вина, то Мать Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус же говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час мой” (Ин. 2.3–4).

То, что *час* этот мыслится как некий тайный срок, который не зависит ни от воли отдельных лиц, ни от внешних событийных поворотов, хорошо видно из следующих примеров (мы идем дальше по тексту Евангелия от Иоанна): *И искали схватить Его; но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его* (7. 30); *Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его* (8. 20). Эти русские переводы хорошо показывают и специфику “своевременности” *часа* по сравнению со “своевременностью” *поры*, которая в приведенных контекстах была бы неуместна.

*Час* Нового Завета задает перспективу нового времени. Попробуем тезисно наметить отличительные черты этого времени, сопровождая их языковыми иллюстрациями.

1. “**Персональность**”: это время “движется” поступками отдельных людей, движениями их душ. Иными словами, наступление или ненаступление “*часа*” определяется духовными человеческими проявлениями: ... *вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников ... : вот приблизился предающий Меня* (Мф. 26. 46)<sup>8</sup>. Этот пример показывает, как приближение *часа* может угадываться по деталям мира внешнего: приближение предающего является сигналом о приближении *часа* крестной жертвы, или даже иначе – приближение предающего ведет к *часу* казни и искупления. Существенно, однако, что “*деталью*”, по которым можно судить о надвигающемся *часе*, являются именно **п о с т у п к и** отдельных людей, их душевные проявления, а не, скажем, какие-то природные знамения (которые могли бы сигнализировать о приближении “*дня*”). Так, отсутствие стойкости учеников, их колебания тоже служат своего рода “*знаком*” приближения *часа*: *Вот, наступает час, и наступил уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного ...* (Ин. 16. 31–32).

2. **Духовность**, в основании которой лежит крестная жертва самого Иисуса: “Я пришел не судить мир, но спасти мир” (Ин. 12. 47). “*Час*”, спровоцированный, “приближенный” предательством (и шире – грехом), одновременно является и спасительной жертвой в добавление к Судному Дню Ветхого Завета.

*Час* манифестирует время, испытывающее; Иисус (это повторяется во всех синоптических евангелиях) говорит ученикам: *Когда же будут*

<sup>7</sup> Нужно сказать, что практика современных переводов Библии далеко не так щепетильно относится к этой строгости библейских времен и сроков. Так, к примеру, в симфониях “модернизированных” англоязычных Библий “*час*” отсутствует, и соответствующий новозаветный прототип распыляется в переводах через *time*, *moment* и даже *day* (ср. в этом плане [Collins Bible 1982]).

<sup>8</sup> В оригинале, как и в русском переводе, относительно “*часа*” и относительно “*преддающего*” используется один и тот же глагол *πρωικειν*, что естественно усиливает ощущение каузативной связи между поступком Иуды и наступлением времени испытания Иисуса.



предвзавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать (Мф. 10. 19); Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; но, что дано будет вам в тот час, то и говорите: ибо не вы будете говорить, но Дух Святой (Мк. 13. 11); Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить; ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить (Лк. 12. 11). Мы видим, что путь учеников мыслится как повторение “часа” Учителя, прохождение через “час”. Таким образом, испытание является необходимым условием обретения этой новой временной ментальности.

3. *Час Иисуса* основывается на свободе выбора, наличии “воли выбирающей”, которая предполагает не природное стремление, но свободное решение, то есть относится к категории личности. Мы помним, как проходило Гефсиманское борение, но в итоге мы слышим: *Кончено; пришел час; вот, предается Сын Человеческий в руки грешников* (Мк. 14. 41). Часа можно избежать, час может миновать человека (в отличие от дня – Дня Господня, – который в принципе неминуем и всеобщ), ср. у Мк. 14. 35: *И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей.*

Время, которое постулирует новозаветный час, может “миновать”, а может и “наступить”, если выбирается “час”, ср.: *Душа Моя теперь возмущилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел. Отче! прославь имя Твое* (Ин. 12. 23–27).

**З а м е ч а н и е.** Последний пример весьма интересен в плане сопоставления с аналогичной, но ветхозаветной ситуацией, где речь идет об испытании, которое также описывается в терминах времени (но другого!), ср.: [из Книги Есфири] *Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для Иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?* (4. 14).

То, что час манифестирует время экстремального, то, что он не мотивирован ситуативной или природной целесообразностью (как *пора*) и нарушает гармонию космологических ритмов, являясь показателем перелом а, выхода из неких жизненных рамок, мы видели и из предшествующих разделов. Вернемся к этому в свете обсуждаемой темы.

Отцу Г.Флоровскому принадлежат слова: “... Христос есть потрясение для природного порядка и ритмов” [Флоровский 1937: 323]. Таким “потрясением” и является час *Иисуса*, час времени Нового Завета, описывающий перелом, слом привычного порядка, выход за пределы возможностей ветхого человека.

Приводя в предшествующих разделах примеры с исконно библейским выражением *наступил час* (и более поздним вариантом *пробил час*), мы отмечали возможность двойного их осмысления: а) как сигнала о наступлении часа *последнего, смертного* (час личной эсхатологии); б) как открытия активной, деятельностной перспективы (в идеале – это время, открывающее истинный смысл происходящего).

Как кажется, возможность двойного прочтения этих фразем заложена уже в новозаветном употреблении *часа* – манифестанта свободного выбора, ср. о последнем *часе*, который одновременно и час Истины, новой

жизни: *После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего...* (Ин. 17. 1). И ср. у Апостола Павла (Рим. 13. 11) ... *наступил уже час пробудиться нам ото сна...*

4. Время, манифестируемое новозаветным часом, не имеет непосредственной соотносительной связи с укладом внешнего мира, в частности, оно не связано условием масштаба, протяженности “жизненного пространства”. Чтобы проиллюстрировать данный тезис, мы выйдем из текста Нового Завета в новозаветную тематику и шире – описание реалий, так или иначе связанных с этой новой временной ментальностью.

Пример первый: одна из глав “Сына Человеческого” о. А. Меня называется “Час близится” и начинается словами *До Пасхи осталось около трех месяцев...*

Пример второй. Возможности часа описывать события, не имеющие выхода в конкретный календарь дней, события, совершающиеся в соответствии с неким Законом, а не видимой (природной) закономерностью, то есть часа как некоего сокровенного срока, хорошо видны в следующем отрывке из В.О.Ключевского (речь идет о преп. Сергии Радонежском): *Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжело его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои рассеянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно прямую историческую дорогу.* Понятно, что событие, о котором говорит историк, не поддается какой-либо иной временной локализации – скажем, в терминах дней или лет.

Подчеркнем, невозможность поляризации некоторых событий часа на ось дней, условно говоря календарную, связана не с отсутствием какой-то более “точной” информации о них (их распыленностью, рассеянностью в жизненном пространстве), но именно с принципиально иной сферой их обитания, реализации. В подтверждение предлагаем сравнить два примера, в одном из которых с необходимостью употреблен день, манифестирующий начало библейской истории, а в другом – час, задающий выход в некое мистическое, трансцендентное время, события которого, если и локализуются, то в каких-то иных, не физических, измерениях: (1) *Настоящая история Откровения начинается в тот день, когда некий семит-кочевник из окрестностей Ура Халдейского услышал зов и повиновался повелению свыше;* (2) *Библия в обеих своих частях есть ... повествование ... о действии Бога в мире от самого начала времен и до того часа, когда перед кончиной одного из апостолов, слово Откровения было вручено на хранение Церкви Христовой* (примеры взяты из предисловия к Библии акад. Даниеля-Ропса [Библия 1983: 8\*]).

В подтверждение того, что эта независимость от “календаря”, пусть даже и условного, является отличительным свойством часа, ср. два простейших примера, уже не связанных с новозаветной тематикой: *Настал день, когда истина открылась Шиловскому* (из “Дневника” Е.С.Булгаковой) и *Настал час, когда истина открылась ему.* В последнем случае час не только меняет принципы временной, или, лучше сказать, событийной, локализации, но и самое “истину” осмысляет

иначе (вряд ли то, что открылось Шиловскому, можно описать в терминах “часа”).

Как кажется, приведенного в этом разделе материала достаточно, чтобы сделать вывод о том, что русский час в существенной степени наследует специфику часа Нового Завета и в силу этого является манифестантом того типа “трудного” Пути, который связан с искуплением (см. об этом в [Топоров 1991]). Существенно и то, что новозаветное понимание часа актуализирует в нем идею личности и духовности.

Интересно, что в каких-то случаях час оказывается единственно возможным адекватным средством выражения авторского замысла, казалось бы, даже вопреки априорным законам стандартной семантической сочетаемости. Поясним сказанное на примере сочетания типа  $t + N2$ , где  $N2$  – история. Мы говорим: *период истории, момент истории*, и кажется, что сочетание *час истории* абсолютно невозможно. Однако у о. С.Булгакова в “Апокалипсисе Иоанна” читаем: *Мы дерзаем молитвенно звать “ей, гряди, Господи Иисусе” и внимать Его ответному обетованию: “ей, гряди скоро” во всякое время, когда слышит Его сердце и призывает Его час истории*. В приведенном отрывке час – как показатель тайного, мистического срока, как знак выхода в область трансцендентного – обладает бесспорным приоритетом в описании ситуации: час акцентирует в истории не поверхностно-событийное или материальное, но духовное и, быть может неясное, сокровенное содержание.

Тяготение часа к описанию духовной, ментальной, а не, скажем, физиологической сферы, сферы природных ритмов и закономерностей, хорошо видно из сопоставления возможностей таких сочетаний, как *пора возмужания* и *час возмужания*. Понятно, что в отличие от *поры*, час может быть и “несвоевременным” с т.з. “естественного” роста: *час возмужания* может постигнуть и ребенка, и духовно незрелого взрослого. При этом, говоря о *чаше возмужания нации* мы имеем в виду “воспитание духа путем прохождения через трудности”, говоря же о *поре возмужания нации* мы, скорее, подразумеваем всесторонний расцвет. И подчеркнем, дело здесь не в масштабе, так, *часом* для русской нации можно, по-видимому, считать период ига, а *порой* – скажем, XVIII век или же начало XIX-го (победу над Наполеоном и пр.).

## 7. ИТОГИ

Час в русском языковом сознании является носителем модели судьбозначимого времени, в идеале – духовного. Время это:

- 1) “персоноцентрично” – тяготеет к описанию личностного начала;
- 2) имеет направление (мыслится в перспективе “пути”);
- 3) час отмечает судьбозначимый перелом (является моментом судьбы), который мыслится как *н е и з б е ж н ы й, н е о б х о д и м ы й, н е п р е л о ж н ы й* в свете данной судьбы, данного “пути”.

Мы перечислили характеристики “судьбозначимости”. Следующий пункт относится к “духовности”, которая не является обязательным компонентом модели часа, но зависит от модели мира говорящего (впрочем, вторгаясь в сферу описания духовных ценностей, говорящий должен действовать по законам часа, а не своей картины мира; имеются в виду примеры типа *час смирения*, но не *гордыни, своеволия...*);

4) движителем этого времени является и с п ы т а н и е: обретение духа мыслится как прохождение через трудности. Отсюда и с п р а в е д л и в о с т ь, “истинность” *часа*, которая в п.3 трактуется в терминах неизбежности.

Как мы отмечали ранее, модель подразумевает и н т е р п р е т а ц и ю времени, которое мыслится как вместилище событий. То есть заданное носителем модели “качество” времени определяет интерпретацию “качества” событий: *час*, к примеру сообщает об их судьбозначимости, а *минута* – об их обыденности, ординарности. При этом, в применении к рассмотренным словам речь шла об интерпретации и н т е р в а л а времени: кратчайшего у *мигов*, *мгновений* и под. и “периода” – у *поры* и *времени*. *Час* в указанном плане отличается от других показателей времени: его интерпретация может относиться как к, условно говоря, “точке” на оси, “сроку”, знаменующему перелом, так и к периоду, интервалу, заполненному событиями, ср.: *В этот решающий час мы должны...; В тот час он еще не знал, что ему предстояло пройти... (час – это период) и ... пока не придет час бежать в пустыню (час – это “точка”, срок).*

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бергсон Анри* 1910 – *Время и свобода воли* // Собр. соч. 2-е изд., СПб. 1910. Т. 2.  
*Библия* 1983 – Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Изд-во “Жизнь с Богом”, 2-е изд., Брюссель, 1983.  
*Буслаев Ф.И.* 1992 – *Преподавание отечественного языка. Материалы для русской стилистики.* М., 1992.  
*Вейсман А.Д.* 1991 – *Греческо-русский словарь.* Репринт V-го издания 1899 г. М., 1991.  
*Горбачевич К.С., Хабло Е.П.* 1979 – *Словарь эпитетов русского литературного языка.* Л., 1979.  
*Даль В.И.* 1989 – *Толковый словарь живого великорусского языка.* Т. 1–4. М., 1989.  
*Евангелие* 1993 – *Евангелие от Матфея на греческом, церковнославянском и русском языках с историко-текстологическими приложениями.* М., 1993.  
*Кунин А.В.* 1955 – *Англо-русский фразеологический словарь.* М., 1955.  
*МАС* – *Словарь русского языка.* Т. 1–4. М., 1984. Т. 4.  
*Муравьев В.Н.* 1992 – *Философские заметки и афоризмы* // ВФ. 1992. №1.  
*Падучева Е.В.* 1985 – *Высказывание и его соотносительность с действительностью.* М., 1985.  
*Срезневский И.И.* 1893–1912 – *Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам.* Т. I–III. СПб., 1893–1912. Т. III.  
*Топоров В.Н.* 1991 – *Путь* // *Мифы народов мира.* Т. 1–2. М., 1991. Т. 2.  
*Флоровский Г.* 1937 – *Пути русского богословия.* Париж, 1937. Репринт. Вильнюс, 1991.  
*Черных П.Я.* 1994 – *Историко-этимологический словарь современного русского языка.* Т. 1–2. М., 1994. Т. 2.  
*Якобссон Гуннар* 1958 – *Развитие понятия времени в свете славянского časъ* // *Scando-Slavica.* Т. IV. 1958. С. 286–307.  
*Яковлева Е.С.* 1994 – *Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия).* М., 1994.  
*Collins Bible* 1982 – *Good News Bible. Today's English Version. The Bible Societies. Collins Bible.* 1982.

© 1995 г. В.И. ПОДЛЕССКАЯ

**ИМПЛИКАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:  
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ**

Термин "импликативные конструкции" используется в данной работе для обозначения полипредикативных конструкций, компоненты которых связаны логическим отношением импликативного типа\*. Импликативные конструкции вводят два положения дел, таких что одно положение дел сопровождается другим или приводит к нему (я использую терминологию, предложенную в [Левин 1970], ср. также термин "отношение сопутствования", предложенный в [Гладкий 1982]). К импликативным конструкциям относятся, в частности, условные, причинные, целевые и уступительные конструкции.

Описывая семантику импликативной конструкции в конкретном языке, необходимо дать ответ, по крайней мере, на следующие вопросы:

1. В прошлом, настоящем или будущем имеет место положение дел, описываемое компонентами конструкции? (Назовем этот параметр "темпоративным статусом".)

2. Описывает ли конструкция отношение между двумя уникальными (единичными) положениями дел или регулярное (повторяющееся, кратное) отношение? (Назовем этот параметр "фреквентативным статусом".)

3. Соотносится ли положение дел, описываемое компонентами конструкции, с реальным или с воображаемым миром? (Назовем этот параметр "эпистемическим статусом".)

Перечисленные три статуса полипредикативных конструкций импликативного типа неоднократно рассматривались в качестве параметров типологической классификации (см., например [Baker 1956; Comrie 1986; König, Van der Auwera 1988; Van der Auwera 1983]; из самых последних работ особого внимания заслуживают [Храковский 1994] и [Givón 1994], а также [Bybee, Fleischman 1995]). Особенно интенсивно обсуждается содержание третьего параметра – эпистемического статуса. Остановимся на этом параметре более подробно.

Эпистемический статус импликативных конструкций часто описывается в терминах истинностных значений. Так, различие между причинными, обычными условными и контрфактивными условными конструкциями может быть выражено в терминах истинностного значения посылки (протазиса). В причинных конструкциях посылка истинна (*Так как мы вышли пораньше, мы успели на поезд [мы вышли пораньше]*). В контрфактивных условных конструкциях посылка ложна (*Если бы мы вышли пораньше, мы бы успели на поезд [мы не вышли пораньше]*). В обычных условных конструкциях истинность посылки не определена (*Если мы выйдем пораньше, мы успеем на поезд [неизвестно, выйдем мы пораньше или нет]*).

При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что в некоторых "бесспорных" причинных конструкциях посылка не является истинной. Таковы, например,

\* Первоначальная версия публикуемой работы представляла собой доклад, прочитанный на преинау-у арационной сессии Типологической Ассоциации (ALT) в ноябре 1994 г. в Констанце. Пользуюсь случаем, чтобы выразить искреннюю признательность участникам сессии, и в первую очередь, проф. Й. Ван дер Аувере за заинтересованное обсуждение и проницательные замечания. Исследование осуществлялось при финансовой поддержке Института Открытого Общества (грант RSS) и РФФИ.

причинные предложения, в которых протазис описывает положение дел в будущем. В предложении

(1) *Так как завтра я приду с работы поздно, я не смогу принять гостей*  
истинностное значение протазиса [*завтра я приду с работы поздно*] не определено, поскольку высказывание о будущем не может быть ни истинным, ни ложным. Между тем, любому носителю русского языка очевидна разница между *так как завтра я приду с работы поздно* и *если завтра я приду с работы поздно*. В первом случае (причина) говорящий ЗНАЕТ, что он придет поздно, а во втором (условие) он этого НЕ ЗНАЕТ. Знание о будущем возможно в тех случаях, когда речь идет о запланированных событиях или о событиях, повторяющихся с известной закономерностью, иначе говоря – о событиях, которые в рамках заданной картины мира должны непременно произойти (ср. понятие "субъективная истинность", детально рассмотренное в работах [Дмитровская 1988; Зализняк Анна А. 1985; 1987]). Именно знание говорящего о событиях, предстоящих в будущем, позволяет употреблять причинные, а также временные и уступительные конструкции не только в речи о прошлом и настоящем, но и в высказываниях о будущем, когда логическая истинность суждения не может быть установлена. Признак "известность/неизвестность для говорящего" позволяет, например, в речи о будущем различать уступительные и условно-уступительные предложения. Ср.:

(2) *Хотя завтра я приду с работы поздно, я смогу принять гостей,*

где говорящий ЗНАЕТ, что придет поздно (уступительная конструкция), и

(3) *Даже если завтра я приду с работы поздно, я смогу принять гостей,*

где говорящий НЕ ЗНАЕТ придет ли он поздно (условно-уступительная конструкция).

Учитывая сказанное, мне представляется более плодотворным определять эпистемический статус имплицативных конструкций не на базе истинностных значений компонентов конструкции, а на базе прагматического критерия известности ситуации для говорящего. Этот прагматический критерий позволяет выделять в составе имплицативных конструкций компоненты следующих трех типов:

(1) РЕАЛЬНЫЕ – говорящий знает, что обозначаемая ситуация имеет (имела/будет иметь) место;

(2) КОНТРАФАКТИВНЫЕ – говорящий знает, что обозначаемая ситуация не имеет (не имела/не будет иметь) место;

(3) ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ – говорящий не знает, имеет ли (имела ли/будет ли иметь) место обозначаемая ситуация.

Итак, с соответствующими уточнениями, мы имеем для имплицативных конструкций три основных классифицирующих критерия: темпоративный статус, фреквентативный статус и эпистемический статус. Теоретически эти критерии являются независимыми, что позволяет наглядно характеризовать отдельные классы имплицативных конструкций с помощью следующей пространственной модели:

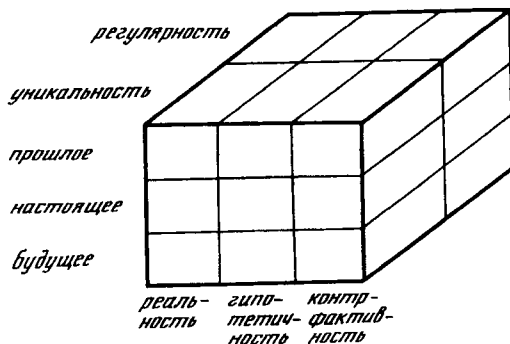


Рис. 1

Лексико-грамматические средства отдельных языков позволяют по-разному членить имплицативное пространство. В одних языках уникальные и регулярные имплицативные отношения маркируются разными средствами, в других это противопоставление снимается. В одних языках контрфактивные конструкции возможны только в речи о прошлом, в других они могут иметь любой темпоративный статус. В принципе, любой кусок "имплицативного пирога" может быть грамматикализован в том или ином языке. Тем не менее оказывается, что те или иные комбинации параметров грамматикализуются чаще других и более естественным образом. Например, как было убедительно показано в [Храковский 1994; Givón 1994; Comrie 1985] и ряде других работ, во многих языках существует устойчивая корреляция между эпистемическим и темпоративным статусом: будущие события чаще маркируются как гипотетические, в то время как для маркировки контрфактивности используются преимущественно показатели прошедшего времени.

Задача типологического исследования полипредикативных конструкций имплицативного типа состоит в том, чтобы, во-первых, выявить, какие комбинации параметров оказываются наиболее предпочтительными при грамматикализации, и, во-вторых, дать функциональное объяснение тому или иному предпочтению. Шаг в этом направлении я попытаюсь сделать в настоящей статье, материалом для которой послужили имплицативные конструкции в русском и японском языках.

Разумеется, речь идет только о параметрах собственно семантической классификации имплицативных конструкций. Многие другие аспекты их описания остаются за рамками работы. Так, не будем касаться ни противопоставления иллокутивных и неиллокутивных средств выражения имплицации, ни степени связанности компонентов конструкции (эти вопросы изящно трактуются, например, в [Иорданская 1988]).

#### 1. СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ОБОЗНАЧЕНИЯ КОНТРАФАКТИВНОСТИ

Прототипическим средством выражения контрфактивности в русском языке является сослагательное наклонение, образующееся путем присоединения частицы *бы* к форме прошедшего времени индикатива. Несмотря на материальное сходство с формой прошедшего времени, форма сослагательного наклонения может обозначать положение дел не только в прошлом, но также в настоящем и будущем. Так, приводимые ниже три варианта протазиса имплицативной конструкции различаются лишь временным наречием, а не формой предиката:

(4) *Если бы она была вчера здесь...*

(5) *Если бы она была сейчас здесь...*

(6) *Если бы она была завтра здесь...*

Однако определенная зависимость между эпистемическим и темпоральным статусом таких конструкций все же имеется. Выражение контрфактивности с помощью сослагательного наклонения в речи о будущем либо существенно затруднено, либо вообще невозможно. Вне контекста имплицативные конструкции с протазисом типа (6) – вводящим положение дел в будущем и маркированным сослагательным наклонением – получают не контрфактивную, а гипотетическую интерпретацию с дополнительным оттенком желательности. Так, предложение

(7) *Если бы она была завтра здесь, мы бы обо всем договорились.*

интерпретируется как "Я не знаю, будет ли она завтра здесь, но я этого хочу". Добиться контрфактивной интерпретации можно лишь с помощью агрессивного контекста – языкового и/или ситуативного. Например, в ситуации, когда ваш знакомый приехал на день раньше, чем вы договаривались, вы можете сказать:

(8) *Зачем ты приехал сегодня?! Если бы ты приехал завтра, я бы занялся твоими делами, а сегодня у меня совсем нет времени.*

Все сказанное в равной мере относится и к конструкциям, обозначающим уникальное отношение, и к конструкциям, обозначающим регулярное отношение,

ср.: *если бы ты пришел сюда завтра... и если бы ты мог приходить сюда каждый день...*

Таким образом, в русском языке полипредикативные конструкции с сослагательным наклонением в протазисе "отвечают" за следующие компоненты имплицативного пространства:

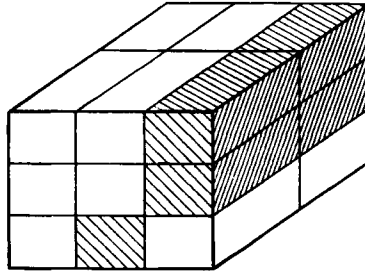


Рис. 2

Рассмотренные конструкции служат хорошей иллюстрацией к универсалии, сформулированной в [Givón 1994: 319]: "Если в языке некоторая форма индикатива используется как форма сослагательного наклонения для обозначения не вполне достоверных событий, то эта же форма используется и в контрфактивных предложениях (обратное не обязательно верно)".

Действительно, в русском языке индикативная форма прошедшего времени используется в составе формы сослагательного наклонения для обозначения возможных и желательных событий. Как мы убедились выше, эта же форма в составе формы сослагательного наклонения используется и в контрфактивном значении.

## 2. ЕСЛИ БЫ НЕ ТЫ... и ПРИДИ ОН РАНЬШЕ...

Б. Комри в [Comrie 1986 : 89] утверждает, что в естественных языках отсутствуют "чистые" контрфактивы. Действительно, в большинстве языков прототипические средства выражения контрфактивности могут использоваться также и в других функциях. Типичным примером могут служить рассмотренные в разделе 1 русские имплицативные конструкции с сослагательным наклонением в протазисе: в речи о будущем они утрачивают контрфактивное значение и приобретают гипотетическое. И все же, представляется слишком сильным утверждение о том, что не существует лексико-грамматических средств, которые маркировали бы исключительно контрфактив. Рассмотрим две конструкции в русском языке, которые могут претендовать на звание "чистого" контрфактива: одна – безусловно, а другая – как мы увидим, с некоторыми оговорками.

Сначала рассмотрим конструкцию типа *если бы не х...*, состоящую из условного союза *если*, частиц *бы*, *не* и именной группы в именительном падеже. Значение этой конструкции можно сформулировать следующим образом: "если бы не имела место ситуация, участником которой является *х*, тогда...". Конструкция может употребляться т о л ь к о если говорящий знает, что ситуация, участником которой является *х*, имела (имеет/будет иметь) место. Конструкция сохраняет контрфактивное значение как в речи о прошлом, так и в речи о будущем, ср. два следующих предложения:

(9) *Я бы приехал две недели назад, если бы не моя лекция в прошлый понедельник.*

(10) *Я бы приехал на следующей неделе, если бы не моя завтрашняя лекция.*

Таким образом, конструкцию *если бы не х* следует признать чистым контрфактивом, что может быть отражено графически на схеме имплицативного пространства:

Другой кандидат в чистые контрфактивы – нефинитная, неспрагаемая глагольная форма, омонимичная форме императива 2-го лица ед. числа (о синтаксических



особенностях этой формы и, в частности, о ее способности, в отличие от других русских нефинитных форм, иметь собственное подлежащее см. [Черемисина 1987 : 14–15]). Псевдо-императивы, также как и конструкция *если бы не х*, сохраняют контрфактивную интерпретацию независимо от темпоративного и фреквентативного статуса высказывания, ср. следующие три примера, которые различаются только временным наречием:

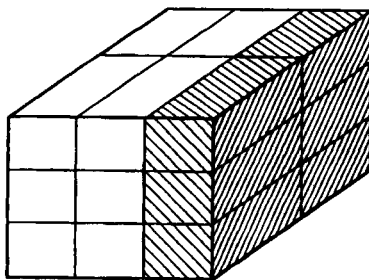


Рис. 3

- (11) *Будь она вчера здесь...*
- (12) *Будь она сегодня здесь...*
- (13) *Будь она завтра здесь...*

Некоторые носители русского языка, однако, считают, что в речи о будущем псевдо-императивы не полностью контрфактивны, т.е. что, например, предложение

- (14) *Вернись Иван завтра, она бы все ему простила*

можно употребить и в тех случаях, когда говорящий не полностью исключает возможность, что "Иван завтра вернется" (на это обстоятельство обратила мое внимание М. Копчевская-Тамм). Тем не менее, даже самые придирчивые информанты согласны, что псевдо-императивы возможны лишь в тех случаях, когда говорящий либо может влиять на обозначаемую ситуацию, либо имеет возможность оценить степень ее вероятности. Так, приводимое ниже предложение неправильно, какую бы интерпретацию мы ни пытались дать псевдо-императиву – гипотетическую или контрфактивную, поскольку человеку не дано предвидеть выпадение осадков:

- (15) \**Выпади завтра побольше снега, мы бы покатались на лыжах.*

Формы сослагательного наклонения, в отличие от псевдо-императивов, подобными ограничениями не связаны, поэтому следующее предложение вполне допустимо (в гипотетической интерпретации):

- (16) *Если бы завтра выпало побольше снега, мы бы покатались на лыжах.*

Пример русских псевдо-императивов показывает, что не существует жесткой границы между реальными, гипотетическими и контрфактивными конструкциями. Скорее, каждая импlicative конструкция занимает определенное положение на некоторой "эпистемической шкале" (о градуированности эпистемического параметра см., например [Comrie 1986; Van der Auwera 1983]). На этой шкале существуют прототипические положения, соответствующие реальным, гипотетическим и контрфактивным конструкциям. Однако конкретные конструкции могут занимать и промежуточное положение, в той или другой мере приближаясь к прототипу. "Чистые" контрфактивы представляют собой прототипический случай, и поэтому, действительно, встречаются достаточно редко, однако, как мы убедились на примере русских конструкций *если бы не х*, они в принципе возможны.

### 3. ПРЕЗУМПТИВЫ

В этом разделе будет рассмотрен такой способ членения импlicative пространства, при которой грамматализуется противопоставление между конструк-

циями с прототипически реальным протазисом и конструкциями, в которых протазис имеет любой другой эпистемический статус. Это противопоставление маркируется, например, в японском языке – посредством нефинитной условной формы с аффиксом *-ba*.

Формы, традиционно называемые в японистике условными, или, что более точно, условно-временными (к их числу обычно относят нефинитные формы с аффиксами *-ba* и *-tara* и финитные формы с союзами *nara* и *to*), на деле выражают неспецифицированное имплицативное отношение, поскольку их эпистемический статус может варьироваться (подробнее о синтаксисе и семантике этих форм см. [Akatsuka 1986; Alpatov, Podlesskaya 1995; Hinds, Tawa 1975–1976; Inoue 1983; McCawley 1978; McGloin 1976–1977; Murayama 1988; Takami 1988]). Степень достоверности обозначаемой ситуации выражается, как правило, другими средствами: это могут быть особые наречия, типа *moshi* ‘допустим’, формы предположительного наклонения в аподозисе, специальные аналитические конструкции и т.д. Контрфактивность выражается с помощью противительного союза (*ga*, *keredomo*, *noni* и др.), который помещается сразу после аподозиса (в протазисе может быть любая условная форма):

Условная конструкция

*A* + маркер условной формы + *B*

‘Если *A*, то *B*’

Контрфактивная конструкция

*A* + маркер условной формы + *B* + противительный союз

‘Если *A*, то *B*, однако [*A* не имело места]’ ⇒ ‘Если бы *A*, тогда бы *B*’

Протазис имплицативной конструкции с формой на *-ba* в вершине может иметь любой темпоративный, фреквентативный и эпистемический статус за исключением одной единственной комбинации признаков – форма на *-ba* не может обозначать реальное, уникальное положение дел в прошлом:

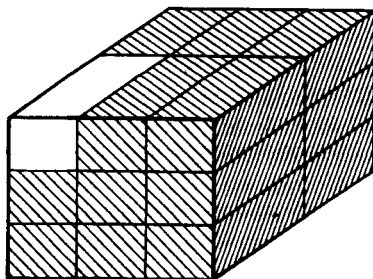


Рис. 4

Ниже приводятся примеры, показывающие, что формы на *-ba* могут вводить протазис как временных, так и условных конструкций. В примере (17) форма на *-ba* обозначает гипотетическую ситуацию:

(17)	<i>Kamera</i>	<i>ga</i>	<i>takakere-ba</i>	<i>kae-masen</i>
	камера	SUBJ <sup>1</sup>	дорогая – COND	смочь . купить – ADDR. NEG. PRES

<sup>1</sup> В подстрочных переводах используются следующие сокращения: ADDR – адресив (грамматический способ выражения вежливости к собеседнику); COND – условно-временная форма; DOBJ – прямое дополнение; IOBJ – косвенное дополнение; NF – нефинитная форма; NEG – отрицание; PAST – прошедшее время; PRES – настоящее время; SUBJ – подлежащее; TOP – тематическая частица.

‘Если камера дорогая, я не смогу ее купить [говорящий не знает, дорогая ли камера]’.

В следующих двух примерах форма на *-ba* обозначает реальную ситуацию. В примере (18) это реальная ситуация, регулярно повторяющаяся в прошлом:

- (18) *Ame*                      *ga*                      *fure-ba*                      *yasun-da*  
 дождь                      SUBJ                      идти – COND                      отдыхать – PAST  
 ‘[Каждый раз] когда шел дождь, мы отдыхали’.

В примере (19) это уникальная ситуация в будущем, про которую говорящий знает, что она при нормальном ходе вещей будет иметь место:

- (19) *natsu*                      *ni*                      *nare-ba...*  
*summer*                      IOBJ                      come – COND  
 ‘Когда настанет лето... [говорящий знает, что лето настанет]’

Единственное, для чего нельзя использовать форму на *-ba* – в отличие от других японских условно-временных форм! – так это для выражения уникального временного отношения между двумя ситуациями, если ситуация, вводимая в протазисе, имела место в прошлом:

- (20) *Kesa*                      *wa*                      *mado*                      *o*  
 сегодня. утром                      TOP                      окно                      DOBJ  
*ake-tara/akeru to/\*akere-ba*                      *yuki ga*  
 открыть если/когда                      снег SUBJ  
*fut-te*                      *i-mash-ita*  
 идти – NF                      быть – ADDR – PAST  
 ‘Сегодня утром, когда я открыл окно, шел снег’.

Часть имплицативного пространства, которая не может маркироваться формой на *-ba* (эта область на Рис. 4 оставлена незаштрихованной), это имплицативные конструкции с прототипически реальным протазисом, т.е. протазисом, обозначающим ситуацию, о которой говорящий знает, что она имела место единственный раз в прошлом. Для этого класса ситуаций я бы предложила термин "презумптивы". Презумптивы реальны не только с функциональной, но и с чисто логической точки зрения: событие, которое уже произошло, не только становится содержанием субъективного знания говорящего, но также может быть подтверждено или опровергнуто, т.е. верифицировано в терминах истинностных значений.

Итак, с помощью японских форм на *-ba* презумптивы грамматически противопоставлены ситуациям, имеющим любой другой набор эпистемических, темпоративных и фреквентативных характеристик. По существу, формы на *-ba* кодируют неутвердительную модальность, или ирреалис, в широком смысле слова.

В самом деле, во-первых, они кодируют имплицативы с гипотетическим и контрфактивным протазисом, представляющие собой стандартные случаи ирреалиса.

Во-вторых, они кодируют имплицативы с протазисом, обозначающим положение дел в настоящем или будущем, что с логической точки зрения расценивается как ирреалис, поскольку еще не осуществленное положение дел не может верифицироваться в терминах истинностных значений.

И, наконец, в-третьих, они кодируют регулярные имплицативы, которые также могут быть отнесены к ирреалису. Ведь когда мы делаем высказывание типа "Каждый раз когда/если *A* имеет место, *B* также имеет место", мы неизбежно делаем

обобщение, поскольку такое утверждение не означает, что всякий раз когда *A* имеет место, мы определяем истинностное значение *A* и *B*.

Итак, я попыталась показать, что в японском языке имеется специальное грамматическое средство, позволяющее противопоставить импликативные конструкции, протазис которых имеет презумптивный статус, и конструкции, в которых реальность протазиса в логическом смысле не верифицируется. Замечу, в заключение, что такой способ членения импликативного пространства встречается и в европейских языках. Один из примеров обнаруживается в немецком языке, где в импликативных конструкциях с презумптивным протазисом (обозначающим реальное, единичное положение дел в прошлом) используется придаточное с союзом *als*, а для обозначения уникального положения дел не в прошлом, а также регулярных, гипотетических или контрфактивных положений дел с любым темпоральным статусом – используется придаточное с союзом *wenn*.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гладкий А.В. 1982 – О значении союза *если* // Семиотика и информатика. Вып. 18. М., 1982.
- Дмитровская М.А. 1988 – Знание и достоверность // Арутюнова Н.Д. (ред.) Прагматика и проблемы интенциональности. М., 1988.
- Зализняк Анна А. 1985 – Знание как единица семантического языка // Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности. Школа-семинар "Кутаиси-85". Тезисы докладов и сообщений. М., 1985.
- Зализняк Анна А. 1987 – К проблеме фактивности глаголов пропозициональной установки // Пропозициональные предикаты в логическом и лингвистическом аспекте. Тезисы докладов рабочего совещания. М., 1987.
- Иорданская Л.Н. 1988 – Семантика русского союза *раз* (в сравнении с некоторыми другими русскими союзами) // *RLing* 1988. V. 12. № 3.
- Левин Ю.И. 1970 – Об одной группе союзов русского языка // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 13, М., 1970.
- Храковский В.С. 1994 – Условные конструкции: взаимодействие кондициональных и темпоральных значений // ВЯ. 1994. № 6.
- Черемисина М.И. 1987 – Сложное предложение как объект общего языкознания // Черемисина М.И., Скребнев Ю.М. и др. (ред.) Предикативность и полипредикативность. Челябинск, 1987.
- Akatsuka Noriko 1986 – Conditionals are discourse-bound // *On conditionals* / Ed. by E. C. Tragott, A. ter Meulen, J.S. Reilly, Ch.A. Ferguson Cambridge, 1986.
- Алпатов В.М., Подлесская В.И. 1995 – Converbs in Japanese // *Converbs (adverbial participles, gerunds) in cross-linguistic perspective. Empirical approaches to language typology* / Ed. by M. Haspelmath, E. König. B., 1995.
- Baker A.J. 1956 – Pressuposition and types of clauses // *Mind* 1956. V. LXV. № 259.
- Bybee J., Fleischman S. 1995 – *Modality in Grammar and discourse* / Ed. by J. Bybee, E. Fleischman. Amsterdam, 1995.
- Comrie B. 1985 – *Tense*. Cambridge, 1985.
- Comrie B. 1986 – Conditionals: a typology // *On conditionals* / Ed. by E.C. Tragott, A. ter Meulen, J.S. Reilly, Ch.A. Ferguson. Cambridge, 1986.
- Givón T. 1994 – Irrealis and the sunjunctive // *Studies in language*, 1994. V. 18. № 2.
- Hinds J., Tawa Wako 1975–1976 – Conditions on conditionals in Japanese // *Papers in Japanese linguistics*. 1975–1976. № 4.
- Inoue Kyoko 1983 – An analysis of a cleft conditional in Japanes – where grammar meets rhetoric // *Journal of pragmatics*. 1983. № 7.
- König E., Van der Auwera J. 1988 – Clause integration in German and Dutch conditionals, concessive conditionals and concessives // *Clause combining in grammar and discourse* / Ed. by J. Haiman, S.A. Thompson. Amsterdam, 1988.
- McCawley N. 1978 – Another look at *no*, *koto* and *to* // *Problems in Japanese syntax and semantics* / Ed. by J. Hinds, I. Howard. Tokyo, 1978.
- McGloin Naomi Hanaoka 1976–1977 – The speaker's attitude and the conditionals *to*, *tara* and *ba* // *Papers in Japanese linguistics*. 1976–1977. № 5.
- Myrayma Yasuo 1988 – The condition and the use of the conditionals *to*, *tara* and *ba* // *Papers in Japanese linguistics*. 1988. № 10.
- Takami Ken-ichi 1988 – The syntax of *if*-clauses: three types of *if*-clauses and  $\tilde{X}$ -theory // *Lingua*. 1988. № 74.
- Van der Auwera J. 1983 – Conditionals and antecedent possibilities // *Journal of pragmatics*. 1983. № 7.

© 1995 г. А.Н. ПЕЧНИКОВ

**К ПРИНЦИПАМ СИНТАКСИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Вряд ли можно возражать против того, что в речи мы пользуемся некоей общей, генеральной схемой построения предложения, позволяющей производить конкретные предложения-структуры и дающей ответы на вопросы: а) о языковой единице, являющейся составляющей (интегрантом) структуры предложения, б) о способе связи экспонентов составляющей между собой, в) об исходном звене структуры предложения, способном выступать в роли минимума предложения.

Структура предложения как коммуникативной единицы складывается на базе номинативных единиц – слов и их аналогов и предполагает связанность их между собой. Через связь слов передаются типизированные мышлением связи реального мира. Конструктивную роль в формировании предложения играют подчинительные отношения (отношения зависимости). В основе подчинительных отношений лежит такое осознание связей между явлениями реального мира, которое устанавливает первичность одного явления по отношению к другому: действие принадлежит деятелю, признак принадлежит предмету, а не наоборот; иначе говоря, без деятеля нет действия, без предмета нет признака. В соответствии с подчинительными отношениями слова в предложении связываются последовательно, образуя непрерывно развертывающуюся линию или несколько линий. Начальную позицию линии занимает независимое слово, обозначающее предмет выражаемой в предложении мысли. В предложении *Я приближался к месту моего назначения* (А. Пушкин. Капитанская дочка, гл. II) последовательность слов на основе грамматической зависимости однолинейна: *я → приближался → к месту → назначения → моего*. Гораздо чаще она оказывается многолинейной, наблюдается это в том случае, когда одно или несколько слов в предложении имеют при себе два зависимых слова и более, например: *Володька схватил со стены узду, выбежал из сенцев и под проливным дождем побежал к лошадям* (Ф. Абрамов. Безотцовщина, 4) –



в предложении пять непрерывных словосочетательных линий: 1) *Володька → схватил → узду*, 2) *Володька → схватил → со стены*, 3) *Володька → выбежал → из сенцев*, 4) *Володька → побежал → к лошадям*, 5) *Володька → побежал → под дождем → проливным*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Приведенные примеры иллюстрируют то, что в предложении сосуществуют два порядка слов: 1) скрытый, передающий грамматическую зависимость слов друг от друга; эта последовательность может быть многолинейной, 2) явный, передающий фактическое расположение слов во временном или линейном

Казалось бы, последовательная связь слов является непреложным фактом предложеческой структуры. Однако встречаются приемы анализа, вступающие в противоречие с таким осознанием словосочетательной цепи. Так, в учебной практике при разборе структуры на основе членов предложения вопрос к слову нередко рекомендуется ставить не от одного слова, а от составного члена предложения или сочетания членов [*буду сказывать (что?) сказку, начал писать (что?) письмо, туристы поехали (куда?) в Сибирь* вместо *сказывать сказку, писать письмо, поехали в Сибирь*]. Высказывались мнения о возможности двусторонней синтаксической зависимости слова в структуре предложения; см., например, утверждение об одновременно существующих связях *прибежал из кишлака* и *Юсуф из кишлака* в предложении *Сейчас прибежал Юсуф из кишлака* [Валгина 1972]<sup>2</sup>. С привычным представлением о последовательной связи слов в предложении не согласуется известное положение о "детерминанте" как "распространителе, относящемся ко всему составу предложения и не связанному ни с каким его отдельным членом" [Русская грамматика 1980:149]. Оно требует большего внимания (подробнее см. [Печников 1983:61–68]).

Вероятно, можно говорить о функциональном своеобразии в организации смыслового содержания причисленных к "детерминантам" обстоятельственных форм, стоящих в начале предложения (они передают локальный и временной фон отраженной в предложении ситуации), но утверждение о синтаксической связи "детерминантов" со всем составом предложения трудно считать доказанным. Тезис о "детерминантах" вызывает два предположения: или отнесение "детерминантов" ко всему составу предложения неадекватно отражает положение дел в реальных структурах предложения, или в организации предложения происходят какие-то коренные изменения, ломающие извечные принципы его построения. Мы склонны видеть первое. Примечательно, что в ходе дискуссии о "детерминантах" исходный компонент этой связи сужался: "весь состав предложения" – "структурная схема предложения" – "предикат (сказуемое)". Можно пойти дальше и предположить, что "детерминант" связан с глаголом *быть*, имеющимся в сказуемом любой структуры. Известно, что сказуемое может состоять или только из этого глагола (*В горах было землетрясение*), или начинаться с него (*Ночь была темная*). Глагол *быть* многозначен, его исходное значение – "существовать" (*Есть добро и зло*). Все остальные значения возникли как результат ограничения исходного значения в том или ином отношении. Так, ограничение бытийности определенной пространственной сферой (*Здесь был курорт*) привело к появлению значения "находиться, располагаться", отнесенностью к лицу или сообществу (*У меня есть старинные книги. На заводе есть уникальные станки*) – значения "иметься", отнесенностью к какому-либо явлению (*Мастер был на техсовете*) – значения "присутствовать" и т.д. В приведенных примерах обстоятельственные формы связаны с бытийным глаголом (*был здесь, есть у меня, есть на заводе, был на техсовете*) на основе сильной (регулярной) связи. Без этих форм смысловое содержание предложений оставалось бы незавершенным ("Курорт находился...", "Станки имеются...", "Мастер присутствовал..."). А ведь и в подобных предложениях усматриваются "детерминанты" с их "свободным присоединением" ко

---

(на письме) потоке. Термином "порядок слов" обозначается вторая, однолинейная последовательность, которая складывается на основе первой под влиянием ряда факторов: параллельное подчинение словом двух и более слов (линейный характер речи "исключает возможность произнесения двух элементов одновременно" [Соссюр 1977: 155]); тенденции позиционного закрепления зависимых форм по отношению к определяемому, например, препозиция признака-атрибута и постпозиция признака-предиката; расстановка слов в соответствии с актуальным членением. Так, изменение соотношения "данное – новое" в предложении из трех слов дает шесть вариантов порядка слов, но последовательность слов на основе грамматической зависимости при этом остается одна и та же. Отсюда вытекает важный вывод: через местоположение слова в линейной цепи, обусловленное актуальным членением, некорректно определять его синтаксическую роль.

<sup>2</sup> Критическую оценку приведенной точки зрения см. [Норман 1980].

всему предложению, например: *У нас есть одна интересная идея. Это случилось в скверике перед цирком. Тут в зарослях находится одна из интимнейших наших литературных святынь.* Л. Леонов (примеры из работ Н.Ю. Шведовой).

Глаголу *быть* в отмеченных значениях, признанному "самостоятельным", в исследовательской практике противопоставляется "связочный" глагол, объявленный "незнаменательным", "грамматикализованным". Нетрудно, однако, видеть, что "связочный" глагол *быть* имеет то же значение бытийности, но ограниченное теперь отнесенностью к какому-либо состоянию ("пребывать в определенном состоянии"): *буду петь, буду жив, буду связным.* Особенность употребления "связочного" глагола *быть* в том, что в сочетании с именными частями речи в плане настоящего времени он обычно имеет нулевое выражение (*Кот сыт*), а в сочетаниях со вторым глаголом произошла их синкретизация в одной форме (*пою, пел, пропел*), раздельное выражение их осталось лишь в плане будущего времени при условии несовершенного вида второго глагола (*буду петь*). При этом формы согласования глагола *быть* усвоены вторым, "основным" глаголом, которому надлежало бы, как и в сочетании *буду петь*, иметь форму инфинитива.

Несмотря на синкретизацию значения бытийности и значения и действия в одном слове, каждое из них обуславливает свое синтаксическое окружение. В предложении *На аэродроме полицейские проверили наши паспорта*, где форма *проверили* имеет значение «пребыли в состоянии действия "проверить"», дополнение *паспорта* вызвано значением "проверить", а обстоятельственная форма *на аэродроме* обусловлена значением "пребыть в состоянии действия" – *пребыли* (в действии "проверить") (где?) *на аэродроме*. Убедительнее это выглядит при замене слова *проверили* синонимичным сочетанием *произвели проверку – произвели* (где?) *на аэродроме*. Поскольку пребывать/пребыть можно в состоянии любого действия, более того, в любом состоянии – физическом, физиологическом, психическом, вещественном и т.п., обстоятельства места и времени могут оказаться в предложениях со сказуемыми любой структуры, если только они вызываются и допускаются смысловым содержанием предложения. Ближе к истине в этом вопросе был В.В. Виноградов, допускавший, что "слабоуправляемые" слова ("детерминанты" в определении Н.Ю. Шведовой) "могут относиться ко всему составу предложения или же связываться только с личными формами глагола" [Грамматика 1954:28]. Думается, что более оправданной является вторая часть приведенной формулировки. Н.Ю. Шведова писала, что "связь (детерминирующей) группы с каким-то отдельным словом в предложении может быть осуществлена, но образующиеся соединения редки и необычны, так как ни в какой степени не предсказаны лексической семантикой слов" [Шведова 1973]. С этим нельзя не согласиться. Но авторами концепции "детерминантов" не учитывается, что спрягаемая форма глагола не только называет действие, но и выражает его проявление. Обстоятельственная форма в предложении *Вечерами отец читает* (занимается чтением) *мемуары* указывает на время проявления действия – *занимается* (когда?) *вечерами*. Сказанное, на наш взгляд, позволяет считать, что и "детерминанты", если они и существуют как отличная позиция, не перечеркивают положения о последовательной связи слов в предложении.

Особенностью линии грамматически связанных слов является то, что она открывается независимым компонентом, обозначающим предмет мысли, а замыкается словом, выступающим только в роли зависимого слова. Все же срединные слова последовательно выступают в роли зависимого (от предшествующего) и главного (по отношению к последующему) компонента и, таким образом, участвуют в выражении двух смежных отношений: *я приближался* → *приближался к месту* → *к месту назначения* → *назначения моего*. Тот факт, что семантика предложения предстает в виде комплекса отношений между понятиями, а каждое отношение выражается языковой

единицей – словосочетанием, позволяет считать, что структура предложения складывается на основе словосочетаний и представляет собой линию или несколько линий словосочетаний, последовательно связанных цепочным способом.

Представление структуры предложения на основе словосочетаний по сути подобно анализу по членам предложения: обе концепции выделяют составляющую структуры предложения на основе отношения между словами. Однако результат получается различный. Если концепция словосочетаний выделяет единицу, базирующуюся на сочетании двух слов, т.е. включающую полный контекст отношения (главный и зависимый компоненты), то концепция членов предложения основывает единицу в принципе на базе одного, зависимого слова. В нашем примере глагол *приближался* определен как сказуемое по его зависимой функции (от местоимения-существительного я), его же роль главного члена по отношению к существительному *к месту* осталась неучтенной и необозначенной. А ведь именно глагол предопределяет характер отношений, а вместе с тем и форму зависимого слова. Иное дело в концепции словосочетаний, где учитывается роль слова и как зависимого, и как главного компонента отношения (развернутое сопоставление концепций словосочетаний и членов предложения см. [Печников 1983: 68–74; 1994].

Синтаксическая структура предложения открывается словосочетанием, выражающим бытийность предмета мысли. Предложение может состоять только из этого словосочетания (*Было утро*). Уже в рамках такой структуры выражаются все грамматические категории (аспекты) предложения, дальнейшее развертывание структуры не привносит в грамматическую характеристику предложения ничего нового. Во втором словосочетании выражается то или иное ограничение значения бытийности. Посмотрим это на вариантах, ограничивающих значение бытийности определенным состоянием: *он будет* → *будет читать*, *будет осведомлен*, *будет инженером*, *будет красивым*, *будет рад*, *будет первым*, *будет наготове*. Соединению контекстов двух отношений ("предмет мысли" → "быть") → ("быть" → "состояние") соответствует смысловая формула "предмет пребывает в определенном состоянии", реализуемая, например, в предложениях *Он будет петь*. *Волга была спокойной*. *Школа была расширена*. *Мы были вторыми*. *Все были настороже*. Последующее развертывание структуры протекает в соответствии с сочетательными возможностями последнего слова. Если исходное словосочетание, выражающее бытийность предмета мысли, является регулярным, одинаковым для всех предложений в речи, то со второго словосочетания начинается структурное разнообразие предложений. Структура предложения в речи – явление индивидуальное. Комбинация словосочетаний за пределами исходного звена носит свободный характер, т.е. структура складывается в соответствии с смысловым содержанием высказывания.

Неполнота предложения, понимаемая как нулевое выражение понятийных компонентов, допускаемое в речи наряду со словесным выражением, не нарушает схемы структуры предложения [Печников 1983: 54–60]. Фразеологизированные структуры (*Некому руку подать*. *Где ему справиться с этой работой!* *Нет бы помолчать*) признаются видоизменениями (усечениями) генеральной схемы, производность их от схемы устанавливается в результате научного поиска.

В заключение перечислим рассмотренные принципы синтаксической организации предложения: 1) слова в предложении связываются последовательно, 2) составляющей структуры предложения является словосочетание – языковая единица, передающая отношение между двумя понятиями, 3) исходным звеном и минимумом структуры предложения является словосочетание, выражающее бытийность предмета мысли; в его границах проявляются все грамматические категории (аспекты) предложения, 4) комплекс словосочетаний, входящих в структуру предложения, имеет свободный характер.



## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Валгина Н С* 1972 – О двусторонней синтаксической связи в современном русском языке // РЯШ. 1972 № 5.
- Грамматика 1954 – Грамматика русского языка. Т. II. Ч. I. М., 1954.
- Норман Б Ю* 1980 – К вопросу о двусторонней синтаксической связи // РЯШ. 1980. № 4.
- Печников А Н* 1983 – Опыт теории синтаксических единиц. Куйбышев, 1983.
- Печников А Н* 1994 – Представление структуры предложения на основе словосочетаний // ФН. 1994. № 1.
- Русская грамматика 1980 – Русская грамматика. Т. II. Синтаксис. М., 1980.
- Соссюр Ф де* 1977 – Труды по языкознанию. М., 1977.
- Шведова Н Ю* 1973 – К спорам о детерминантах // ФН. 1973. № 5.

© 1995 г. М.В. НЕФЕДЬЕВ

## ЗАМЕТКИ О РАЗВИТИИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТИПОВ

(на примере глаголов с приставкой *об-*)

1. При диахроническом описании словообразовательной системы русского языка возникает необходимость постановки вопроса о критериях выделения словообразовательного типа. Принимая во внимание эволюционный характер развития языка и взаимосвязь языковых явлений с психологией носителя языка, следует предположить, что оформление новых словообразовательных типов занимало зачастую очень длительный период и должно было иметь под собой достаточную базу.

Становление нового словообразовательного типа можно представить следующим образом. После того, как тот или иной формант приобретает новое значение, начинается процесс расширения круга мотивирующих основ. Он заключается в том, что словообразующий формант, присоединяясь к мотивирующей основе, вносит только новое значение, следствием или отражением чего является появление новообразований, однозначных по своей семантической структуре. Отсюда вытекает также положение, что вновь оформившийся словообразовательный тип должен (хотя бы ограниченный период времени) проявлять продуктивность.

Таким образом, при выявлении формирования новых словообразовательных типов следует использовать следующие критерии: 1) отражение процесса расширения круга мотивирующих основ; 2) наличие новообразований, однозначных по своей семантической структуре; 3) наличие продуктивности (с диахронической точки зрения) выделяемого типа.

Введение данных критериев позволит не смешивать такие явления, как оформление новых словообразовательных типов, с одной стороны, и развитие переносных значений, общих для семантической структуры ряда образований, – с другой.

При определении принадлежности какого-либо образования к той или иной словообразовательной модели нужно учитывать тот факт, что слово не всегда может иметь прямое значение, четко указывающее на смысловые отношения между мотивирующим и мотивированным. Как отмечает О.П. Ермакова, «производное "может себе позволить" не имеет прямого значения, либо не реализуя, либо утратив его» [Ермакова 1984: 30]. Автор приходит к выводу, что в развитии семантики производных слов часто архаизируются именно прямые номинативные значения при сохранении переносных [Ермакова 1984: 30]. Применительно к словообразовательному аспекту изучения слова заслуживает внимания интерпретация терминов "прямое и переносное значение", данная О.П. Ермаковой: "Прямое значение производного слова – это значение, непосредственно мотивированное значением производящего – единственным или прямым. Переносное значение производного слова – значение, мотивированное его (производного) прямым значением или переносным значением производящего" [Ермакова 1984: 34].

2. Целью настоящей статьи является апробирование трех предложенных критериев на примере истории словообразовательных типов глаголов с приставкой *об-*. Выбор предмета исследования обусловлен тем, что глагольные префиксы вообще в отличие

от суффиксов имеют разветвленную систему значений, а формант *об-*, в частности, является одним из самых многозначных. В семантической эволюции данной приставки имели место процессы, свойственные развитию других приставок: развитие результативного значения и вторичных конкретных, которые непосредственно или опосредованно восходят к семантике результативности<sup>1</sup>. Индивидуальным для семантической эволюции префикса *об-* было формирование новых типов на базе полисемии у глаголов с локальным значением приставки<sup>2</sup>. В статье описаны словообразовательные типы, развившиеся на базе многозначности образований, так как именно в этой области появляется потребность не смешивать становление новых словообразовательных типов и появление переносных значений, общих для семантической структуры ряда образований<sup>3</sup>.

3. Для анализа были привлечены в полном объеме глаголы с приставкой *об-*, представленные в Картотеке Словаря древнерусского языка XI–XIV вв. (КСДР), Словаре русского языка XI–XVII вв. (СлРЯ XI–XVII), Картотеке Словаря русского языка XVIII в. (КС XVIII). В сопоставительных целях были использованы словарь И.И. Срезневского [Срезневский 1958]; опубликованные тома исторических словарей [Словарь XI–XIV вв. 1988–1991] (СДР XI–XIV), [Словарь XI–XVII вв. 1975–1994], [Словарь XVIII в. 1984–1991] (СлРЯ XVIII)<sup>4</sup>.

4. Приставка *об-* первоначально конкретизировала значение глагола и локально его уточняла. На этой базе сложился основной словообразовательный тип глаголов с префиксом *об-* со значением "действие, названное мотивирующим глаголом, направить (направлять) вокруг чего-нибудь, на все стороны чего-нибудь". Материалы КСДР фиксируют производные по данной модели от разных семантических групп бесприставочных глаголов: глаголов движения, эволютивных и мутативных основ<sup>5</sup> Ср.: и *обидоша*<sup>6</sup> я кругомь (ПрЮр XIV, 265а); и земля *обросла* бяше плодомъ и приготова пицу (Пал 1406, 23в); *обложьши* на немь тѣло теплотою и естъвеною кровию. и дѣомь грѣющи. и многыми различными болѣзньми (Пал 1406, 42б) и др. (всего около 25 образований).

4.1. Языковой материал свидетельствует о том, что для производных от глаголов с семантикой движения и перемещения в пространстве характерно развитие переносных значений, общих для целого ряда образований, с указанием мотивирующей основы на способ осуществления действия. У производных от глаголов движения с приставкой *об-* это свойство проявляется наиболее ярко. Одно из таких переносных значений – "обступить, окружить, осадить": *об(у)ити* – "окружить, передвигаясь пешком"; *об(у)ходити* – "окружать, передвигаясь пешком"; *объѣхати* – "окружить, передвигаясь верхом на коне". Ср.: князь же юрьи посла дорожа въ просоки... и приѣжа дорож и рече. а уже *обишли* насъ княже около (ЛН XIII–XIV, 124); и прозвутерь же въздѣхнувъ ре(ч). о како бра(т) в лѣности пребываетъ. и сего ра(д) лукавии бѣси *обходя(т)* и. (Пр 1383, 89б); и Татарове о(т)шедше о(т) Золотых воротъ. *объѣхаша* весь градъ. и стаща станом пред золотыми враты (ЛЛ 1377, 160 об.).

<sup>1</sup> Подробнее о вторичных конкретных значениях см. [Нефедьев 1994].

<sup>2</sup> Сравни высказывание П.С. Сигалова о том, что главный источник появления новых значений приставок – их взаимодействие с глаголом и переносное употребление приставочного образования [Сигалов 1977 : 249].

<sup>3</sup> О развитии моделей глаголов с результативным значением приставки *об-* и с вторичным конкретным "обмануть, принести ущерб (кому-нибудь)" см. [Нефедьев 1994].

<sup>4</sup> Сокращенные обозначения источников приводятся по следующим изданиям: для древнерусского периода [Словарь XI–XIV вв. 1980: т. 1, с. 28–68], для старорусского периода [Указатель источников XI–XVII вв. 1975], для эпохи XVIII в. [Указатель источников XVIII в.].

<sup>5</sup> В данной статье принимаются определения стальных, эволютивных и мутативных основ, данные Ю.С. Масловым [Маслов 1958: 18–20, 23].

<sup>6</sup> Вслед за А. Мейе в данной работе *объ* наряду с *объ* расценивается как вариант приставки *об-*, а *оби* как усиленная форма *объ*. [Мейе 1951: 124].

Это же переносное значение развивается у части производных от мутативных основ с пространственной семантикой. Ср.: *приде ц(с)ръ великъ и обьступи гра(д)* хотя и взяти (ЗЦ к. XIV, 58в); ни стѣнами *обьставлена* суть (МПр XIV, 35); Даниль и Василько... в понедѣльникъ на ночь *обьѣдоста* гра(д) (ЛИ ок. 1425, 255 об.).

Для сравнения можно привести производные от глаголов движения с локальной приставкой *на-*, многие из которых имеют переносное значение "напасть (нападать) на кого-либо, что-либо": Ревности же бѣи исполненъ бы(с) црѣ авениръ *наскочи* крѣпко на идолы яже имяше в полатѣ своєї (ЖВИ XIV–XV, 123а); и тако начаша *наѣздити* в задѣ полковъ стрѣлятися с ними и почаша у ни(х) возы ихъ отимати (ЛИ ок. 1425, 158); дързнувѣшимъ же *наити* на дома чуждая. аще убо оглшнии бывѣша. обличаться (КЕ XII, 236б); ѣд. Новгородецъ... пѣшь *натече* на корабли и погуби г корабли з дружиною своєю (ЛЛ 1377, 169 об.); Ляхове *наѣхавше* убиша и (Романа) (ЛЛ 1377, 143 об.); не устраши(с) рати *находящая* (ПКП 1406, 171в).

4.2. Другим переносным значением, общим для ряда производных от глаголов движения с приставкой *об-*, является значение "распространить (распространять) действие на много объектов или много мест в пределах одного объекта": посла блжнии нѣкоего брата *обшити* грады. и округляя страны. изискавше купити давѣ ему купленья пшеницѣ ꙗзлатни(к) (ПНЧ XIV, 150а); иже грады *обиходяще* яко же се мнящесе пустынници (КР 1284, 152а); павель великийи всея вселенныя *обѣтекъ* со всѣми стѣми (ФСт XIV, 130г).

Подобные образования послужили базой оформления нового словообразовательного типа. После того, как за приставкой *об-* закрепляется указанное значение, начинается процесс расширения круга мотивирующих основ. На наличие в эпоху XI–XIV вв. модели глаголов с приставкой *об-* со значением "распространить (распространять) действие, названное мотивирующим глаголом, на много объектов (или на много мест в пределах одного объекта)" указывают следующие моносемичные образования, производные от глаголов разных семантических групп. Производные от глаголов движения *облѣтати* – "облетать, летать всюду" и *обѣздити* – "объездить, изъездить": радуся нѣопарящии орель. *облѣтавыи* весь миръ (СбТр к. XIV, 217); а выѣздил. ту землю. хodorъ чюлчичъ то тѣ *обѣздилъ*. от пана оты старосты (Гр 1370). Производные от стальных основ *обизрѣти* и *обузрѣти* – "осмотреть, рассмотреть что-либо": ты княже тые коне *обизрель* и улюбиль еси одинаго коня (Гр ок. 1300); азъ же не быхъ хотѣлъ *обузрѣти* дѣла руку своєю (СбТр XII–XIII вв., 37 об.). Производные от эволютивных основ: а еже окружье *обирищеть* (ГБ XIV, 153б); и начаша его искати въ мнозѣхъ мѣстѣхъ... и вся мѣста *обискаша* (ЛН XIII–XIV, 65–65 об.).

Характер языкового материала позволяет говорить о том, что данный тип на протяжении истории русского языка проявляет продуктивность. СлРЯ XI–XVII и КС XVIII фиксируют ряд производных по этому типу, не отмеченные в КСДР: Абие преподобный Герасимъ поверзаетъ себе на землю предѣ образомъ... иже с собою *обношаше* всегда (Ж. Герас. Б., 1970б XVII в. ~ XVI в.); Пока въ корабли... доски плотна стоять межъ себя, тогда всю вселенную могутъ *обѣхати* и никакова сторма не боятца (Петр, 1, 65. 1696 г.); Исѣ... обраща в народѣ глѣаше: кто прикоснуся ризахъ моихъ... и *обгладаше* видѣти сътворшее се (Требник, 279. XVI в.); старецъ Никандр..., ходя по церкви, *обсматривал*, от кого та голка, и того не сысхалосе (Док. новг. восст., 342. 1650 г.); Кошира в рогожи нас *обшила*<sup>7</sup>, а Тула в лапти обула. (Сим. Послов., 114.

<sup>7</sup> Данное образование совмещает в себе дистрибутивную семантику с накопительной, что позволяет Н.С. Авиловой отнести его наряду с *обстирать* и *оббегать* к глаголам накопительного способа действия [Авилова 1976: 307].

XVII в.); Медвѣдь *облазил* борти (САР<sup>1</sup> III, 1351); *Обдумай* мысль сию простую, Красавица! – и будь умна (Држ. Соч III, 180) и др.

4.3. Материалы КСДР и СлРЯ XI–XVII отражают развитие нового переносного значения в семантической структуре производных от глаголов движения: "направить движение мимо". Ср.: *иже* скрываютъ преданая и исправленая. свыше и исперва. но поне же растлѣвають и погубляють. нужно си(х) присно *обходя* то всегда и прочее *яже* отсюда покажемъ. одержание бывас(т) сп(с)ня нашего (ФСт XIV, 196г–197а); царь Ахмать... поиде к Литовской земли, *обходя* рѣку Оку, и ожидая к себѣ короля на помощь и силы его. (Ерм. лет., 181); А промыта то, кто *объедет* мыть. А проедет мыть, а мытника у завора не будет, ино промыты нѣтъ. (Дух. и дог. гр. 188, ок. 1456 г.); Еще нечисты устны *обношу* безпричастиемъ божественныхъ тайнъ. (М. Гр. Отв. соб., 89, 1537 г.); Человѣцы сии... увѣдятъ насъ и *обойдутъ* инѣми пути. (Ж. Ант. С. ц., 57. 1579 г.).

В грамматиках современного русского языка подобные образования выделяются в рамках самостоятельного типа глаголов со значением "действие, названное мотивирующим глаголом, направить мимо предмета, находящегося на пути движения", который определяется как непродуктивный [Грамматика 1980: 363; Грамматика 1989: 117]. Однако с выделением данного типа в словообразовательной системе русского языка нельзя согласиться, так как для этого имеются существенные возражения.

Развитие у производных от глаголов движения переносных значений, общих для семантической структуры ряда образований, "напастъ" (у глаголов с приставкой *на-*), "окружить", "направить движение мимо объекта", "направить движение на много объектов" – это процесс, который является переходным в оформлении новых словообразовательных типов. Для того, чтобы констатировать появление и наличие нового типа глаголов с одним из значений многозначной локальной приставки, необходимо отражение процесса расширения круга мотивирующих основ (а иногда и выход за рамки одной семантической группы мотивирующих глаголов). Иными словами, необходимо наличие новообразований, моносемичных по своей семантической структуре, у которых префикс вносит только одно, новое, значение. Именно так обстояло дело при становлении типа глаголов со значением "распространить действие, названное мотивирующим глаголом, на много объектов (или на много мест в пределах одного объекта)". Этого не произошло со значением "направить действие мимо": все образования с данной семантикой – это производные от глаголов движения, и все они – многозначные. При этом значение "направить движение мимо объекта" развивается у них позже других, а поэтому является общим для производных от глаголов движения переносным значением, а не значением приставки *об-*.

Таким образом, можно думать, что словообразовательного типа глаголов с приставкой *об-* со значением "действие, названное мотивирующим глаголом, направить мимо предмета, находящегося на пути движения", в русском языке нет и никогда не было, и, следовательно, не приходится говорить и о его продуктивности.

4.4. Развитие нового типа прослеживается на следующем примере. В кругу производных от глаголов движения со значением "направить движение вокруг объекта" постепенно развивается переносное значение "направив движение вокруг объекта, оказаться впереди этого объекта, который выполняет это же действие". Ср.: *объѣхати* – одно из значений "обогнать, опередить, настичь": Как проехали село Конешное и стали мы на поле на дороге сѣдла оправливать на лошадях, и тѣ люди Кирилова монастыря, с которыми меня послали... *объехали* меня на полѣ и стали под лѣсомъ (Колл. Бередникова. Чел. А. Коротенева 1642 г.).

После того, как закрепляется данное значение, префикс *об-* начинает вносить его в образования самостоятельно. На начало расширения круга мотивирующих основ и оформление словообразовательного типа глаголов с приставкой *об-* со значением "с помощью действия, названного мотивирующим глаголом, превзойти другого исполнителя данного действия" указывают моносемичные образования: *обстичи* – "обогнать,

опередить" и *обыграти* – "одержать верх в какой-либо игре". Ср.: Я послал... Кондратя Афонасьева, чтоб *обстичь* ево и против ево встречу хотя покараулить на Пехре... и напротивку ехать да взять ево. (Грамотки, 230, ок. 1700 г.); Казак Архипка Иванов пришел де к ним на судно пьян, в одном зипуне, а сказывал де он Архипка, что де ево обыграл зерню тоболской казакъ Любимка Меркульевъ. (Якут. а. к. карт. 1, № 1, сст. 279. 1639 г.). Анализируемый материал позволяет отнести время становления данного типа к XVII в.

КС XVIII фиксирует еще несколько образований с аналогичным значением: А заяц мыслит так: лишь только захочу; я дуру *облечу*: Пускай она тащится, И выиграть заклад оскаля зубы тщится (Сум. СС 1787 г., VII, 157); Теперь та въѣхала карета к нам на двор, которую вы здесь недавно *обогнали* (Фив. Корион, 113); Гишпанския галеры шли в Неаполь, и за 60 миль Итальянских *обошли* до Неаполя помяенныя Французския галеры (Пут. Тлст. II, 148); Гонецъ *обскакаль* многихъ ѣдущих (САР<sup>1</sup>, V, 469); иногда возбуждаеть кони своя... дабы я не *обтекъ* его, ибо кони мои не такъ ослабѣли яко его кони, и могли его угнати (Телемак, 1767 г., I, 55). Среди последних примеров глаголы *облетѣть*, *обогнать* и *обскакать* являются моносемичными и впервые фиксируются в КС XVIII, что позволяет их считать новообразованиями эпохи XVIII в.

4.5. Языковые факты свидетельствуют о том, что в период XVIII в. в кругу производных с локальным значением приставки *об-* начинает формироваться, а затем окончательно складывается новый словообразовательный тип. У части глаголов, производных от эволютивных основ, развивается переносное значение "обработав со всех сторон, подготовить к употреблению": *обдѣлать* – одно из значений "подвергнуть обработке, отделке, придать должный вид": Справа стену мочить водою, дабы сухой кирпич извѣсть в себя вобрать мог, ... а после того тонкою извѣстью наводить и все края обострить и начисто *обделать* (ДАЭ 46) (ср. значение "соответствующим образом обработать по всей поверхности или по краям" [Словарь XI–XVII вв. 1987: вып. 12, с. 21]); *обработать* – одно из значений "работая над какой-либо вещью, довести ее до окончательного вида": обработать камень, плиту (САР<sup>1</sup>, V, 9).

Когда значение "обработав со всех сторон, подготовить к употреблению" закрепляется за приставкой *об-*, происходит процесс расширения круга мотивирующих основ, присоединяясь к которым, данный префикс вносит только это значение. С этого момента можно говорить о наличии словообразовательного типа глаголов с приставкой *об-* со значением "с помощью действия, названного мотивирующим глаголом, приспособить, подготовить к употреблению или эксплуатации что-либо (иногда кого-либо)". На четкую оформленность данного типа к концу XVIII в. указывают следующие образования, производные от разных семантических групп глаголов: *обжить* – "приспособить, сделать удобным для жилья": Он в новостроенный свой дом не прежде переберется, как уже хорошенько его *обживут* (САР<sup>1</sup> II, 1155); *обкатать* – "пробной ездой испытать, проверить годность к употреблению": *Обкатать* сани (САР<sup>1</sup> III, 480); *обмять*: *обмять*. Обѣздить после долгого стояния (о лошадах). (САР<sup>1</sup>, IV, 186); *Обѣздить* верховую лошадь (САР<sup>1</sup>, VI, 983). Все эти образования сохраняются до наших дней.

Таким образом, можно говорить о наличии в современном русском языке еще одного словообразовательного типа (может быть, непродуктивного), который не отмечен в грамматиках современного русского языка (см. [Грамматика 1980] и [Грамматика 1989]), но имеет полное право на включение в систему словообразовательных типов.

Особенностью последнего типа является то, что он оформлялся в кругу производных от эволютивных основ. Это приводит к обособлению значения "подготовить к употреблению или эксплуатации" от пространственной семантики приставки *об-*, что делает возможным словопроизводство по данному типу от глаголов состояния.

Однако значение приставки *об-* "подготовить к употреблению или эксплуатации" нельзя считать вторичным конкретным, так как оно восходит не к результативному, а к локальному<sup>8</sup>.

5. В заключение можно сказать, что описанный языковой материал доказывает целесообразность введения трех предложенных критериев выделения словообразовательных типов. Их использование не только способствует исследованию развития словообразовательных типов, но приводит к необходимости переоценки некоторых языковых фактов в современном русском языке.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Авилова Н.С.* 1976 – Вид глагола и семантика глагольного слова. М., 1976.  
Грамматика 1980 – Русская грамматика. Т. 1. М., 1980.  
Грамматика 1989 – Краткая русская грамматика. М., 1989.  
*Ермакова О.П.* 1984 – Проблемы лексической семантики производных и членимых слов: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1984.  
*Маслов Ю.С.* 1958 – Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида. М., 1958.  
*Мейе А.* 1951 – Общеславянский язык. М., 1951.  
*Нефедьев М.В.* 1994 – Семантическая эволюция глагольных приставок *на-* и *об-* в истории русского языка XI–XVIII вв. // ВЯ. 1994. № 4.  
*Сигалов П.С.* 1977 – Вопросы теории русского исторического словообразования: Дис. ... докт. филол. наук. Тарту, 1977.  
Словарь XI–XIV вв. 1988–1991 – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. I–IV. М., 1988–1991.  
Словарь XI–XVII вв. 1975–1994 – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–19. М., 1975–1994.  
Словарь XVIII в. 1984–1991 – Словарь русского языка XVIII в. Вып. 1–6. Л., 1984–1991.  
*Срезневский И.И.* 1958 – Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I–III. М., 1958.  
Указатель источников XI–XVII вв. 1975 – Словарь русского языка X–XVII вв. Указатель источников. М., 1975.  
Указатель источников XVIII в. 1984 – Словарь русского языка XVIII в. Указатель источников. Л., 1984.  
*Улуханов И.С.* 1994 – Состояние и перспективы изучения исторического словообразования русского языка // Исследования по историческому словообразованию. М., 1994.

---

<sup>8</sup> В научной литературе встречается термин "вторичное значение", которым называют любое непространственное значение (см., например [Улуханов 1994: 9]). "Вторичными конкретными" мы называем такие значения, которые оформились на базе результативности, подчеркивая тем самым, что их становлению предшествовал процесс десемантизации, утери префиксом первичного локального значения [Нефедьев 1994: 78–82].

**КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ**

**ОБЗОРЫ**

© 1995 г. А. КРЕЧМЕР

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ  
РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА**

1. Процесс образования и специфика исторического развития русского стандартного (литературного) языка и сегодня является одной из центральных тем исторической русистики. В настоящей работе не ставится и не может ставиться цель дать исчерпывающий обзор и критический анализ научной дискуссии по этому вопросу на всем протяжении ее развития<sup>1</sup>. Основная ее цель — представить современное состояние дискуссии, ее ключевые проблемы и вопросы, многие из которых все еще остаются нерешенными и относятся, по выражению А.А. Алексеева, к "проклятым" вопросам истории русского литературного языка [Алексеев 1986: 3]. А поскольку вопросов таких немало, включение их в данный обзор неизбежно влечет за собой сжатость изложения.

2. Центральными вопросами дискуссии о происхождении и формировании современного русского литературного языка являются, на наш взгляд, следующие: 1) локализация нижней временной границы того феномена, который в русистике традиционно обозначается термином "литературный язык"; 2) языковая основа этого феномена; 3) вопрос прерывности/непрерывности его развития.

Вопросы эти находятся во множественной причинной связи не только друг с другом, но и с другими, не менее, на наш взгляд, важными, речь о которых будет идти несколько позже. Здесь мы ограничимся лишь кратким обзором основных позиций по названным вопросам.

ад 1) В вопросе о начале образования русского литературного языка достаточно четко представлены два полюса. Так, для одних начало это совпадает с моментом принятия христианства — такую позицию традиционно занимают как русская (советская) школа, так и большая часть западных славистических школ. Для других период с 988 г. по XVII в. является лишь предысторией русского литературного языка, а сама эта история начинается только с XVIII в.<sup>2</sup> Связь этого вопроса с вопросами прерывности/непрерывности истории русского литературного языка и ее периодизации очевидна.

ад 2) Наиболее полемично обсуждался и обсуждается в диахронной русистике вопрос о языковой базе русского литературного языка — как современного, так и донационального. Для старшего периода, для эпохи Киевской и Московской Руси, это, прежде всего, вопрос о роли и удельном весе ц.-слав. (по терминологии Н.И. Толстого, "древнеславянского") и вост.-слав. (русского) языкового материала в древне-

<sup>1</sup> Подробному анализу этой дискуссии до середины 80-х гг. посвящена наша работа [Kretschmer 1986].

<sup>2</sup> Такая позиция наиболее четко представлена в работах Исаченко, Успенского и Хюттль-Фольтер. Тезисы о существовании литературного языка у восточных славян в дохристианский период, ввиду их очевидной спекулятивности, здесь далее не рассматриваются [Филин 1981: 191 и сл.].



русской письменности. Здесь также наблюдается поляризация мнений, наиболее четко представленная, пожалуй, в известных работах С.П. Обнорского, а также Ф.П. Филина, с одной стороны, и Б.О. Унбегауна, с другой (в несколько смягченной форме и в работах дореволюционных русистов, например, Шахматова, раннего Виноградова и Соболевского). Согласно первой из этих концепций, роль ц.-слав. языка в образовании русского литературного языка была очень незначительной; согласно второй, язык этот, по крайней мере, в донациональный период, играл главную роль (Унбегаун идет еще дальше и постулирует такое положение и для национального периода) [Унбегаун 1970; 1971].

В научной литературе отражаются также промежуточные подходы, как, например, известная теория В.В. Виноградова о двух стилях русского литературного языка донационального периода [Виноградов 1958], тезис о многостилевости этого языка [Ефимов 1957]; сюда же относятся и различные теории языкового дуализма в допетровской Руси, которым будет уделено внимание в настоящей работе.

В дискуссии по этому вопросу принимают, по понятным причинам, участие прежде всего сторонники непрерывности развития русского литературного языка. Для их противников вопрос о соотношении различных языковых систем в донациональный период не является релевантным, поскольку точку отчета истории русского литературного языка они ведут лишь с XVIII в. и важными факторами для них, таким образом, являются литературные языки Западной Европы и их роль в формировании русского литературного языка.

ad 3) В большинстве работ и сегодня еще представлен традиционный постулат непрерывного и поступательного, эволюционного процесса развития русского литературного языка, в соответствии с которым XVII веку и Петровской эпохе отводится роль временной границы, разделяющей донациональный (древнерусский) и национальный периоды русского литературного языка. Постулат прерывности развития русского литературного языка в первую очередь связан с именем А.В. Исаченко, для которого время петровских преобразований является одновременно и временем разрыва с допетровской письменной и литературной традицией и, в связи с этим, языковой цезурой, языковой "ничейной полосой" ("Sprachliches Niemandsland"). Начало формирования русского литературного языка он относит ко второй половине XVIII в., постулируя при этом сильнейшее влияние западноевропейских языков, точнее, уже существовавших в Европе моделей литературного языка с развитой письменной и устной формами [Issatschenko 1983: 528—616]. В то время как Исаченко отрицает всякую преемственность между этим новым формирующимся русским литературным языком и допетровской традицией письменности и книжности, Г. Хюттль-Фолтер склонна говорить скорее о переориентации, о смене модели, но не о полном разрыве со старой традицией [Hüttl-Folter 1979; 1987; Хюттль-Фолтер 1982; Хюттль-Уорт 1968; 1973; 1974].

3. В ходе дальнейшего изложения мы нередко будем возвращаться к вышеназванным вопросам дискуссии, поскольку, как уже говорилось, они неразрывно связаны со многими другими вопросами истории происхождения и формирования русского литературного языка, рассмотрению которых посвящены следующие разделы нашего обзора.

Вопросов этих немало, важнейшими из них являются, по нашему мнению, следующие:

1) наличие/отсутствие диглоссийной ситуации в Древней Руси;  
2) определение объекта исследования (экстенциональный аспект) и тесно с ним связанная

3) терминологическая проблематика, т.е. вопрос о правомерности и адекватности термина "литературный язык" и конкурирующих с ним понятий "стандартный язык", "письменный язык" и т.п. — проблематика, по сути своей, скорее стратификационная, имеющая, однако, большое значение и для истории русского литературного языка;

4) периодизация истории русского литературного языка;  
5) специфика некодифицированной языковой нормы и механизмов ее регулирования;

6) специфика средневековой культуры вообще и культуры православного славянства в особенности (т.е. постулат культурного ареала *Pax Slavica orthodoxa*).

Автор настоящей работы ставит своей целью не только дать критический обзор актуальной дискуссии по названным проблемам, но и проанализировать причины как отсутствия консенсуса по этим и другим центральным вопросам, так и неэффективности этой, наверное, самой долгой дискуссии в исторической русистике.

4. Теория диглоссии, развитая социолингвистом Ч. Фергюсоном на (синхронном) материале четырех диглоссийных ареалов [Ferguson 1959] и перенесенная Б.А. Успенским на языковую ситуацию допетровской Руси [Успенский 1983, 1983а; 1985; 1987; 1994], уже более девяти лет будоражит умы и сердца русистов. Поскольку основные положения как модели Фергюсона, так и ее адаптации Успенским в настоящее время можно считать общеизвестными, основное внимание будет в дальнейшем уделено рецепции модели Успенского в исторической русистике, причем изложение по необходимости будет предельно сжатым. Считаем, тем не менее, нужным указать на некоторые черты модели Успенского, прежде всего те, где его модель отличается от модели Фергюсона. Так, Успенский адаптирует модель Фергюсона в основном путем изменения удельного веса, переоценки отдельных различительных признаков диглоссии. Важнейшим признаком древнерусской диглоссии является для него дополнительное функциональное распределение обоих языковых вариантов — *high variety* (= ц.-слав.) и *low variety* (= вост.-слав. *геср. др.-русск.*), а также вытекающая из этого постулата невозможность перевода с одного варианта на другой. Крайне важно для Успенского и четкое осознание временных различий в восприятии соответствующей языковой ситуации: там, где современный лингвист видит две автономные языковые системы, носитель языка в допетровской Руси видел единое функциональное целое. Такое восприятие автоматически влечет за собой невозможность дихотомического раздела на "свое" и "чужое" внутри этого целого.

Диглоссийная ситуация имеет место на Руси с момента принятия христианства до XVII в. В XVII в. принципиально стабильная ситуация диглоссии переходит в нестабильную ситуацию двуязычия, постепенно переходящую в моноязычие. В соответствии с этим Успенский различает три основных периода (донациональной) истории русского литературного языка:

1) период конвергенции (XI—XIV вв.), при котором оппозиция обоих вариантов имеет место на уровне морфем, что допускает (обоюдные!) заимствования;

2) период дивергенции, совпадающий во временном отношении с периодом так называемого второго южнославянского влияния (XIV—XVI вв.); оппозиция в это время имеет место уже на уровне лексем, что приводит к появлению феномена коррелятивных лексемных рядов в языковом сознании общества и исключает, тем самым, возможность заимствования;

3) период перехода диглоссии в двуязычие (XVII в.).

К сожалению, следует признать, что весьма оживленная полемика, вызванная появлением модели Успенского, велась и ведется не столько относительно ее принципиальной применимости к русской языковой ситуации, сколько относительно ее принципиальной допустимости. Даже будучи хорошо знакомым со стилем дискуссии о происхождении русского литературного языка, трудно понять ту страстность, с которой во многих антидиглоссийных работах отрицается и отмечается возможность участия других языков и культур в длительном и сложном процессе формирования собственного литературного языка. Так, уже некоторые хроникальные сообщения о работе X Международного съезда славистов едва ли можно воспринять как научную полемику. Такого рода ксенофобия, к сожалению, представляет собой распространенное явление и в славистике в целом — достаточно вспомнить многолетнюю борьбу

Р. Пиккио с этим пережитком романтизма, как и с другими шорами узконационального подхода к истории литературного языка, а значит, и культуры [Picchio 1962]. Анализ некоторых статей опубликованного в 1986 году в Ленинграде сборника "Литературный язык Древней Руси" [ЛЯДР 1986] показывает, что борьба эта, однако, все еще не привела к желаемым результатам. Первые четыре статьи названного сборника (почти треть всего его объема) представляют собой ясно выраженный антидиглоссийский блок. При этом необходимо, однако, отметить, что, хотя все четыре статьи и оспаривают существование диглоссии в Древней Руси, полемика в них ведется на весьма различных уровнях.

4.1. Наиболее четко выражено неприятие модели Успенского, пожалуй, в работе Клименко [Клименко 1986], которая видит в ней неоправданное упрощение языковой ситуации в Древней Руси (аргумент этот неоднократно выдвигается и другими противниками диглоссии). Кроме того, модель эта, по Клименко, априорна и не учитывает в достаточной степени языкового материала<sup>3</sup>. Приводим важнейшие контраргументы Клименко (с нашими комментариями), призванные доказать несостоятельность диглоссийной модели Успенского в применении к языковой ситуации допетровской Руси.

1) Русский язык (вост.-слав. до XIV в. — А.К.) обладал таким же престижем, как и ц.-слав. Тезис этот верифицируется Клименко на материале проповедей и житий, в которых Б.А. Ларин (sic!) обнаружил вост.-слав. языковые элементы.

Такого рода языковой материал в данном случае не является, однако, по нашему мнению, адекватным, поскольку именно в проповеди, обращенной к (как правило, неграмотной) общине и призванной, кроме прочего, разъяснять этой общине содержание соответствующих мест Евангелия и Апостола, едва ли можно ожидать чистого ц.-слав. языка. Кроме того, проповедь в истории русской православной церкви является и в других отношениях специфическим типом текста. Нельзя не заметить, что вызванное спецификой истории советского периода незнание особенностей христианства вообще и православия в особенности отрицательно сказывается на эффективности научной работы именно в области истории русской культуры, а тем самым и литературы и литературного языка.

2) Ц.-слав. язык не является нормированным.

Этот аргумент Клименко сам по себе вполне оправдан — по определению, high variety есть, в отличие от low variety, язык, обладающий кодифицированной нормой: такова ситуация в диглоссийных ареалах, исследованных Фергюсоном. Однако, к сожалению, аргументация автора и здесь оставляет желать лучшего. Так, Клименко ссылается на установленную Л.П. Жуковской практику изменения текстов переписчиками, не останавливающуюся даже перед Писанием, но не сообщает, где, когда и как вносились эти изменения.

3) Русский язык указанной эпохи являлся нормированным. Данный аргумент, безусловно, также заслуживает дальнейшего рассмотрения. Сама Клименко его, однако, никак не развивает и не подтверждает на языковом материале.

Поскольку статья Клименко уже неоднократно являлась предметом рассмотрения ([Гиппиус, Страхов, Страхова 1988]; ср. также [Kretschmer 1994]), остановимся лишь на двух моментах, достаточно отчетливо, на наш взгляд, представляющих общую интенцию полемики автора. Это, в первую очередь, постулат о том, что каждая лингвистическая теория обладает идеологической подоплекой и оказывает определенное идеологическое воздействие (с. 21)<sup>4</sup>. Позиция Успенского (и Исаченко, неоднократно подвергавшегося суровой критике в русистике), является, таким образом, чуть ли не изменой русской культуре: «В этой клевете на русский язык, в утверждении его немощи и неспособности к созданию и выражению духовных ценностей русского

<sup>3</sup> Упрек этот представляется вполне обоснованным. См. мысли Й. Рекке о специфике подхода к языковой ситуации Древней Руси у Успенского [Raecke 1992].

<sup>4</sup> В круглых скобках здесь и в дальнейшем указываются страницы анализируемых работ.

народа и его культуры слышится знакомое уже нам противопоставление "высокого" чужого и "низкого" своего, одного из важнейших типологических признаков диглоссии» (с. 22).

Ц.-слав. язык, по Клименко, сам по себе не мог быть литературным языком Древней Руси, ибо "духовные ценности народ творит на родном языке, в противном случае это уже другой народ и другая культура" (с. 21),

Сама Клименко следующим образом характеризует языковую ситуацию Руси к моменту принятия христианства: "Очевидно, что в древнерусский период столкнулись и пришли в культурное взаимодействие лексико-семантические системы двух развитых и самобытных славянских литературных языков: древнерусского и старославянского" (с. 20).

В одной только области лексики различие между этими языками составляло, по мнению Клименко, не менее 50%. К сожалению, автор никак не комментирует эту цифру и не сообщает ее источника.

4.2. Опубликованные в том же сборнике статьи Колесова [Колесов 1986] и Русинова [Русинов 1986], хотя и очень критически оценивают модель Успенского, представляют, тем не менее (в особенности это относится к работе Колесова), вполне приемлемую базу для серьезной и научной дискуссии о применении теории Фергюсона к древнерусской (вост.-слав) языковой ситуации. В рамках данной работы подробное их рассмотрение не представляется, однако, возможным<sup>5</sup>. Поэтому в дальнейшем мы остановимся лишь на четвертой антидиглоссийной статье сборника — "Почему в Древней Руси не было диглоссии" А.А. Алексеева [Алексеев 1986], являющегося также автором интересных разработок по специфике некодифицированной предстандартной нормы — теме, рассмотрению которой посвящен один из следующих разделов нашего обзора.

4.3. Поскольку Алексеев уже год спустя пересмотрел свое мнение о диглоссии, отраженное в указанной статье, его позиция будет проанализирована несколько позже, сейчас же мы обратимся к своего рода ответу на антидиглоссийный блок названного сборника — статье "Теория церковнославянско-русской диглоссии и ее критики", опубликованной в 1988 году [Гиппиус, Страхов, Страхова 1988]. Авторы ее, являясь убежденными сторонниками теории диглоссии, отмечают, вместе с тем, известный схематизм некоторых положений Успенского, подчеркивая в то же время модельный характер концепции. Последнее представляется им очень важным, ибо многие из противников диглоссии в полемическом пылу нередко забывают принципиально аппроксимативный характер всякой модели<sup>6</sup>. Справедлив, на наш взгляд, и упрек авторов в адрес противников диглоссии в некритическом и механическом переносе современного языкового восприятия на ситуацию Древней Руси (с. 40).

Менее убедительной кажется позиция авторов в вопросе так называемого делового языка. Так же, как сам Успенский, они исключают деловой язык из числа объектов исследования истории русского литературного языка, обосновывая это тем, что иначе "литературный язык" деградирует до "языка письменности". В ходе дальнейшего анализа мы еще обратимся к этой проблеме — проблеме определения экстенционального аспекта истории русского литературного языка и проблеме его обозначения.

4.4. Статья Д.-С. Уорта "On 'Diglossia' in Medieval Russia" была опубликована намного раньше, уже в 1978 году [Worth 1978]. Многие ее положения представляются, тем не менее, актуальными и сегодня. По мнению автора, диглоссия в Древней Руси существовала лишь *in potentia*. Главными препятствиями для ее развития он считает существование делового языка и так называемых смешанных текстов, слишком позднюю кодификацию русско-церковнославянского языка и несоблюдение принципа

<sup>5</sup> Подробный анализ этих и других работ по диглоссии см. [Kretschmer 1994].

<sup>6</sup> В определенной мере грешит этим, впрочем, и сам Успенский.

дополнительного функционального распределения. Аргументация Уорта заслуживает безусловного внимания. К сожалению, статья его в полемике о диглоссии в Древней Руси до сих пор остается практически незамеченной. Признавая справедливость многих аргументов Уорта, нельзя не упомянуть, однако, известной антиисторичности некоторых его постулатов. Так, например, используемые им понятия "норма", "кодификация" трактуются в статье в современном их понимании. То же относится и к тезису, согласно которому христианская письменность и язык языческой культуры восточных славян обладали в Древней Руси равным престижем. Гораздо большую значимость имеет, по нашему мнению, факт существования так называемых смешанных текстов, что, по Уорту, противоречит условиям диглоссийной ситуации. Тексты эти до сих пор рассматриваются весьма односторонне, причем главное внимание уделяется не центральному, на наш взгляд, вопросу общеславянского языкового материала (на всех языковых уровнях), а механическому подсчету полногласных (неполногласных) форм и других шахматовских дистинктивных ц.-слав. признаков — чтобы затем отнести данный текст к ц.-слав. или же русской (вост.-слав.) сфере.

4.5. Существование так называемого делового языка, на которое указывают как Уорт, так и другие критики диглоссийной модели Успенского, действительно представляет собой, на наш взгляд, один из самых серьезных аргументов против диглоссии, так как нарушает постулируемую как Фергюсоном, так и Успенским языковую бинарность. Интересную интерпретацию этого феномена предложил К.-Д. Зеemann [Seemann 1982; 1983]. Он исходит из того, что к моменту принятия восточными славянами христианства у них уже достаточно долгое время существовал устный язык права с устоявшейся нормой, который впоследствии был письменно зафиксирован. К сожалению, эти работы Зеemannа оставляют вне поля своего внимания вопрос о том, почему подобного феномена не было, например, у южных славян, где все письменные функции взял на себя язык церковнославянский. На наш взгляд, одним из возможных объяснений этому является принадлежность восточных и южных славян к областям влияния различных культурных ареалов: так, в отличие от южных славян, восточные славяне, помимо Византии, имели непосредственный и достаточно тесный контакт и со Скандинавией, также имевшей традицию языка на базе собственного идиома, а не латыни, литературного в собственном смысле слова языка.

4.6. Во многих отношениях представляют интерес также работы А.А. Алексева по вопросам диглоссии, в особенности его переоценка собственной позиции по данному вопросу. В статье 1986 г. он еще решительно отрицает возможность существования диглоссии в Древней Руси [Алексеев 1986]. Полемика его при этом направлена не столько против Успенского, сколько против концепции самого Фергюсона<sup>7</sup>. Хотя с некоторыми положениями Алексева нельзя не согласиться, аргументация его не всегда является убедительной. Так, например, крайняя ограниченность круга людей, активно владевших ц.-слав. языком, не является еще сама по себе серьезным аргументом против диглоссии. Узость (как количественная, так и социальная) базы носителей литературного языка является, напротив, одним из дистинктивных признаков донационального его периода, на что в свое время указывали уже лингвисты Пражского лингвистического кружка.

Большого внимания заслуживает аргумент Алексева о нарушении дополнительного функционального распределения, которое сам Успенский считает важнейшим дистинктивным признаком диглоссии. Верифицируется этот аргумент, однако, на базе неадекватного языкового материала, как, например, хозяйственно-административной корреспонденции церкви, которая велась исключительно на вост.-слав. (др.-русск.) языке. Иными словами, Алексеев упускает из виду то обстоятельство, что дистинк-

<sup>7</sup> Нельзя не указать на то, что некоторые работы как противников, так и сторонников древнерусской диглоссии вызывают сомнения в том, что авторы их знакомы с тезисами Фергюсона.

тивным признаком является не то, что автор и адресат были духовными лицами, а интенция данного вида письменности, сугубо прагматическая ее направленность. Церковь в России, особенно монастыри, являлась одним из крупнейших латифундистов, и деловая ее корреспонденция практически не отличается от соответствующей корреспонденции светских лиц<sup>8</sup>.

В качестве аргумента против существования диглоссии в Древней Руси Алексеев приводит и феномен делового языка. И здесь, хотя сам аргумент, как уже говорилось, безусловно весьма важен, интерпретация его вызывает, по меньшей мере, сомнения. Согласно Алексееву, деловой язык обладал таким же статусом, как и ц.-слав., и являлся маркированным членом данной оппозиции. За этим тезисом стоит постулат Алексеева о том, что ц.-слав. язык применялся лишь там, где применение вост.-слав. (др.-русск.) не было возможным. Тем самым деловой язык отождествляется с идиомом, что, на наш взгляд, не соответствует действительности, поскольку деловой язык в первую очередь являлся языком письменности, даже если ядро его, язык права, и сформировался в свое время на основе устной традиции. Нельзя не заметить, что некоторые положения Алексеева антиисторичны, что он иногда механистически переносит современное языковое восприятие на ситуацию Древней Руси, не учитывая при этом специфики русского средневековья. Так, например, как одно из условий диглоссийной ситуации он постулирует функционирование русско-церковнославянского как "средства общения (sic!) в установленной этикетом обстановке" феодальной верхушки Руси (с. 10).

В опубликованной годом позже статье "Пути стабилизации языковой нормы в России в XI—XVI вв." Алексеев уже не отрицает однозначно существование древнерусской диглоссии [Алексеев 1987]. Церковнославянскому здесь отводится роль литературного языка и маркированного члена в оппозиции ц.-слав.: вост.-слав. (др.-русск.), и даже отсутствие у него кодификации не является уже серьезным аргументом против диглоссии. Кодифицированную норму в этот период (до XVI в.) заменяет, по Алексееву, ориентация на признанные образцы, на образцовые тексты. Период с XI по XVI в. трактуется им как период сосуществования двух форм, двух литературных языков. Однозначного определения данной языковой ситуации автор, однако, не формулирует.

Особенного внимания заслуживают, на наш взгляд, два положения: о важной роли переводных текстов (вопрос, к которому мы в дальнейшем еще вернемся), а также высказывание о том, что, в сущности, не важно, "автохтонного или же чуждого происхождения письменный литературный язык" (с. 37).

4.7. Статья Г.Ю. Шевелева "Несколько замечаний о грамоте 1130 года и несколько суждений о языковой ситуации киевской Руси" [Shevelov 1987], хотя и ограничивается временными рамками киевского периода, представляет, тем не менее, несомненный интерес, поскольку свою концепцию сам Шевелев видит как дополнение к диглоссийной модели Успенского. Он констатирует модельный характер концепции, и, в связи с этим, принципиальную ее изменимость. Важным является и его указание на гетерогенность как ц.-слав., так и вост.-слав. языков. Так, для ц.-слав. он называет, как минимум, три редакции (болгарскую, македонскую, моравскую), а в отношении вост.-слав., помимо филиации на различные вост.-слав. идиомы, отмечает еще и четкое (до 1240 г.) деление на северный и южный варианты. Принципиально важно и указание Шевелева на то, что самоопределение индивидуума в донациональный период происходит в первую очередь через критерий конфессиональной, а не этнической принадлежности. Признавая несомненную важность учета языкового восприятия конкретной эпохи как фактора анализа, он справедливо подчеркивает трудность получения соответствующей информации, источником которой, в первую очередь,

<sup>8</sup> Это полностью подтверждают данные проведенного нами анализа крупного корпуса частной корреспонденции XVII и начала XVIII в., включающего значительное число грамоток духовных лиц (машинопись).

являются сами анализируемые памятники. В особой степени это относится к старшему периоду (с. 170).

Шевелев определяет языковую ситуацию Киевской Руси как моногlossию, чем объясняется, помимо прочего, и отсутствие переводов внутри языкового сообщества Киевской Руси (с. 171). "Классическая" же — в понимании Успенского — дигlossия существовала лишь в период непосредственно после принятия христианства. Постулат этот, однако, никак не развивается и не подкрепляется аргументами.

Тем не менее работа Шевелева стала, на наш взгляд, одной из важнейших в дискуссии о дигlossии. Одним из отличительных ее признаков является, помимо прочего, строгость аргументации, лишенная ненужной эмоциональности, глубокое знание предмета изложения, языкового материала и анализируемой эпохи. К несомненным достоинствам работы относится и то, что она, оперируя не одними лишь строго лингвистическими критериями, остается строго научной.

4.8. Неоднократно обращался к теме дигlossии и Г.А. Хабургаев. Особый интерес представляет в данной связи его статья "Дискуссионные вопросы истории русского литературного языка (древнерусский период)" [Хабургаев 1988]. Языковую ситуацию Древней Руси [которую, по его мнению, можно определить и как "гетерогенное одноязычие" (с. 56)] Хабургаев характеризует следующим образом: русско-церковно-славянский воспринимается обществом как кодифицированная разновидность собственного языка, что ведет к феномену переключения кода ("языковая установка" Успенского). Время распада этой ситуации для него совпадает с так называемым вторым южнославянским влиянием, т.е. наступает намного раньше, чем по Успенскому. Менее убедительной представляется интерпретация т.н. делового языка, существование которого уже само по себе является для автора доказательством существования дигlossии. При этом вне сферы его внимания остается уже упомянутый, центральный, на наш взгляд, вопрос об отсутствии у южных славян подобного феномена.

Не менее важной, чем тезисы Хабургаева в защиту древнерусской дигlossии, мы считаем его весьма убедительную полемику со сторонниками автохтонного развития русского литературного языка, являющимися, как правило, одновременно противниками концепции дигlossии. В отличие от них, Хабургаев последовательно учитывает в своих разработках тот факт, что концепция дигlossии представляет собой модель. Так, например, наличие локальных специфических черт в древнерусской языковой ситуации, которых нет в обследованных Фергюсоном дигlossийных ареалах, как и ограниченность круга лиц, владевших ц.-слав. языком, не являются еще для него, сами по себе, а priori аргументами против существования дигlossии в Древней Руси. Вопрос определения типа культурно-языковой ситуации может, по Хабургаеву, "решаться лишь в результате анализа литературно-языкового сознания тех, кто в л а д е т литературным языком (как активно, так и пассивно), ибо только для них реально существовала литературно-языковая система соответствующей эпохи" (с. 56 — выделено Хабургаевым. — А.К.). Часто выдвигаемый противниками дигlossии аргумент отсутствия кодифицированной нормы в ц.-слав. языке старшего периода также не учитывает, по мнению Хабургаева, исторической специфики анализируемой эпохи. По Хабургаеву, "литературный язык с самого начала своего появления осознается обществом как нормативный, что и выдвигает в центр проблематики истории литературных языков понятие л и т е р а т у р н о - я з ы к о в о й н о р м ы — орфографической, орфоэпической, грамматической и лексической" (с. 49 — выделено Хабургаевым. — А.К.). Хабургаев поддерживает здесь А.А. Алексеева и его постулат о центральном значении механизма стабилизации норм (тема, к рассмотрению которой мы обратимся несколько позже). Специфика объекта исследования должна учитываться, по Хабургаеву, и при лингвистическом анализе как таковом. В этой связи Хабургаев выступает против общепринятого с шахматовских времен метода подсчета определенных, в основном фонетических признаков, с полным правом указывая на общеславянскую базу как ц.-слав., так и вост.-слав. (др.-

русск.) языков. Одновременно он выдвигает весьма важное требование неперменного учета данных переводных текстов в изучении истории русского литературного языка (с. 51).

Принципиально важным является, на наш взгляд, и указание на онтологические и функциональные различия между литературным языком донационального и национального периодов. Еще более важной представляется полемика против мифологизации некоторых центральных постулатов дискуссии о происхождении русского литературного языка. Так, Хабургаев отрицательно относится к трактовке недефинированного и расплывчатого понятия "народ" как субъекта в процессе создания (всякого) языка, распространенной, впрочем, не только в исторической русистике. Литературный язык является, по мнению Хабургаева, продуктом определенных социальных процессов, каким, например, является достижение этносом или социумом государственности. Внимания заслуживают и его тезисы о "своем" и "чужом" в языковом сознании общества, где генетические критерии играют — в отличие от традиции — лишь второстепенную роль. Нельзя не вспомнить в данной связи, как часто (в особенности это относится к сторонникам автохтонного развития русского литературного языка) не принимаются во внимание не только функциональные, но и структурные различия между языком стандартным (литературным) и разговорным языком повседневного общения. По мнению Хабургаева, при этом недопустимым образом смешиваются генетические и функциональные аспекты (с. 52).

Как видим, концепция Хабургаева, его оценка языковой ситуации допетровской Руси, несмотря на безусловную полемичность некоторых ее положений, предлагает интересные решения многих спорных вопросов.

4.9. Особую позицию в дискуссии о древнерусской диглоссии занимает Ю. Кристофсон [Kristophson 1989]. Для него модель Фергюсона-Успенского представляет собой недопустимый перенос структуралистских критериев на область человеческого поведения (с. 63). Одновременно в его статье дается критический анализ многих антидиглоссийных аргументов. В рамках данного обзора мы можем остановиться лишь на некоторых его положениях, заслуживающих, по нашему мнению, особого внимания. Культура, в особенности языковая культура (Sprachkultur), как и культурный язык (Kultursprache), сами по себе не могут являться продуктами автохтонного развития (с. 71). Так, именно тысячелетний процесс смешения и ассимиляции разнородных элементов сделал современный русский язык "одним из наиболее богатых и развитых славянских литературных языков" (с. 69). Целью научных исследований в данной области является для Кристофсона презентация целостности этого процесса, "своего рода телеология истории русской письменной культуры", а не субклассификация "на ди-, три- и полиглоссию" (с. 69). Безусловного интереса заслуживает и его интерпретация смешанных текстов, существование которых он объясняет тем, что каждый, умевший на Руси писать, умел это делать только по-церковнославянски (с. 66). В соответствии с этим наличие вост.-слав. элементов в текстах Кристофсон интерпретирует как попытку письменной фиксации устной речи (с. 67). Подобной точки зрения придерживается и Успенский. Интересными в данной связи представляются исследования С.И. Котова о специфике обучения скорописи, т.е. письменной технике на нецерковнославянской основе, имеющие, на наш взгляд, принципиальную важность, но не получившие до сих пор должного признания со стороны научной общественности [Котков 1991].

4.10. Критическую позицию по отношению к диглоссийной модели занимает и М.И. Шапир [Шапир 1989]. Считая теорию диглоссии Успенского заслуживающей безусловного внимания и видя в ней важный стимул для научной дискуссии, Шапир ее, тем не менее, в настоящем виде отвергает. Языковую ситуацию Древней Руси в XI—XIV вв. он определяет как "двуязычие in potentia", которое переходит к представленное в XV—XVII вв. состояние "двуязычия in actu" (с. 297). По мнению автора, такая его позиция обоснована тем, что важные дистинктивные признаки диглоссии, как, например, постулируемая Успенским оппозиция устный: письменный язык,



в Древней Руси отсутствуют<sup>9</sup>. Признавая правомерность его аргументации, нельзя, однако, согласиться с выдвигаемым им требованием рассмотрения феномена диглоссии лишь в плоскости письменного языка (с. 276).

Значительный интерес представляет тезис о существовании в Древней Руси социокультурного континуума и, как одного из элементов этого континуума, иерархического канона текстов (с. 291). Ссылаясь на новаторские разработки Н.И. Толстого по данному вопросу, сам автор, однако, постулирует указанный континуум лишь в границах русского (вост.-слав.) языкового ареала, тогда как для Толстого канон этот является специфической особенностью намного более широкого ареала *Pax Slavica Orthodoxa*. К рассмотрению этого феномена мы обратимся несколько позднее.

Обоснованной представляется, далее, и критика расплывчатости, нечеткости понятия "литературный язык", хотя используемые самим автором понятия "язык духовной культуры" vs. "язык быта" остаются также недефинированными [Шапир 1990]. Аргументы его в пользу существования нормы делового языка и постулируемая на этой основе нормированность вост.-слав. идиомы намного менее убедительны [Шапир 1989: 283 et pass.]. Здесь имеет место не только априорное отождествление устного идиомы с письменным деловым языком: автор слишком, на наш взгляд, некритически оперирует тезисами А.А. Зализняка, хотя и представляющими безусловный интерес, но имеющими пока лишь статус гипотезы [Зализняк 1982; 1982а; 1984; 1987; 1991].

**4.11.** Пожалуй, самый обширный анализ литературы по вопросам древнерусской диглоссии представлен в работе П. Редера "Diglossie in der Rus'?" [Rehder 1989].

Обзор его включает даже работы по синхронной социолингвистике. Широта охвата литературы неизбежно ведет к известной схематичности и крайней сжатости изложения.

По мнению автора, Успенский слишком механистически и априорно применяет диглоссийную модель к языковой ситуации Древней Руси. Критика эта относится и к центральному для Успенского тезису о специфике языкового сознания эпохи. Однако и аргументация самого автора не может не вызвать возражений — например, тогда, когда он выдвигает требование строгости, которой никакая языковая ситуация средневековья обладать не может (с. 369). Критика его, тем не менее, во многом обоснованна. Это касается, в частности, указания на недостаточное внимание к собственно языковому анализу. Слабость эмпирической базы научной дискуссии о диглоссии, доказательством которой могут служить многочисленные работы на эту тему, на наш взгляд, является одной из главных причин необыкновенно низкой эффективности исследований в данной области. К сожалению, обзорный характер работы не дает автору возможности достаточно четко определить свое собственное видение специфики древнерусской языковой ситуации.

**4.12.** В дискуссии о существовании диглоссии в Древней Руси остается еще, как видим, много нерешенных вопросов. Одной из центральных является, по нашему мнению, проблема четкого определения объекта моделирования, т.е. языковой ситуации Древней Руси, в которой мы имеем дело, по крайней мере, с тремя величинами — литературным языком в собственном смысле, деловым языком и непосредственно материально (т.е. в облике текстов) не представленным устным идиомом (идиомами). Нельзя упускать из виду и того, что, как убедительно показал Шевелев, и сами названные величины не являются гомогенными целостными образованиями. Нам представляется в данной связи намного более важным четкое различение, разграничение этих величин, чем генетическая их характеристика. Существенными являются здесь следующие моменты: четкое разграничение как между деловым языком и идиомом, так и между донациональным и национальным литературным языком; определение сущности так называемых смешанных текстов; отказ от понятия

<sup>9</sup> Как полагает Шапир, данные об устном языке исследуемой эпохи могут быть экстраполированы лишь из письменных текстов.

"литературный язык", обладающего нежелательными коннотациями, как и от диффузного понятия "народный язык". К центральным в данном аспекте вопросам относится и проблема пространственно-временной градации русской языковой истории. Много неясного остается еще и в вопросе языкового сознания и восприятия исследуемых эпох. Важнейшим источником такого рода информации являются, безусловно, исследуемые тексты, однако получение из них подобной информации, особенно для старшего периода, связано, как справедливо указывает Шевелев, с большими трудностями. Ни в коем случае недопустимым является здесь механическое применение а) современных и б) одних лишь лингвистических критериев при определении специфики языкового сознания прошлого. Остается пожалеть, что сам Успенский практически не участвует в дискуссии, вызванной его концепцией. Многие вопросы, таким образом, остаются открытыми, как, например, вопрос текстовой базы исследований. Поскольку проблема эта актуальна не только для дискуссии о диглоссии в Древней Руси, но и для дискуссии о происхождении и становлении русского литературного (стандартного) языка в целом, она будет рассмотрена в следующем разделе нашей работы, посвященном экстенциональным аспектам исследований.

5. Точное определение объекта исследований и отграничение его от других величин и феноменов является основным требованием всякой научной дисциплины. В отношении диахронной русистики требование это, однако, все еще не выполнено. Вопрос об определении объекта исследования в диахронной русистике неразрывно связан с вопросами терминологическими. Так, доминирующим — хотя и не дефинированным — понятием здесь до сих пор остается "литературный язык", границы которого, однако, весьма заметно варьируются, нередко — в зависимости от позиции конкретного автора. Такая, нежелательная в любой науке, терминологическая вариативность не может не иметь серьезных последствий. В данном случае она непосредственно и причинно связана с расплывчатостью и неопределенностью самого объекта исследования. В самом деле, под "литературным русским языком" может подразумеваться как любая письменная фиксация языка, так и язык одной лишь (художественной) литературы. Причем за различиями этими не всегда стоят литературные мотивировки — так, крайне широкое понимание границ русского литературного языка нередко имело в прошлом целью включить в исследуемый корпус как можно больше текстов смешанных, а также текстов делового языка, имеющего вост.-слав. (др.-русск.) языковую базу, и, тем самым, свести до минимума долю ц.-слав. элемента в истории русского литературного (стандартного) языка. Неудивительно поэтому, что такого рода концепции, стремящиеся каждое письмо, каждый указ отнести к области "литературного языка", в то же время, как правило, исключают из исследования весь корпус переводных текстов. В основе узкого понимания понятия "литературный язык" зачастую лежит — иногда даже неосознанное — отождествление "литературного языка" с "языком литературы", то, что несколько выше мы назвали нежелательными коннотациями. Такое понимание сущности и границ литературного языка не учитывает лингвоисторической специфики, охарактеризованной в работах пражских лингвистов уже более полувека назад. Ввиду принципиальной важности их постулатов считаем необходимым привести здесь хотя бы основные из них. Так, современный литературный (по терминологии Пражского кружка spisovný) язык есть феномен не только лингвистический, но и социальный. Он обладает кодифицированной нормой, поливалентен (полифункционален) и стилистически дифференцирован. Употребление этого языка является в границах ареала его распространения обязательным, хотя социальная база его и может быть достаточно узкой [Jedlička 1978: 53]. На основе работ пражских лингвистов А.В. Исаченко сформулированы в 1958 г. свои четыре дистриктивных признака современного литературного (по нашей терминологии "стандартного") языка: 1) поливалентность, 2) наличие кодифицированной нормы, 3) обязательность употребления и 4) стилистическая дифференцированность [Исаченко 1958: 42—45].

Пражскому лингвистическому кружку мы обязаны и первыми научными разработками по специфике донациональных литературных (по нашей терминологии "письменных") языков. Важнейшими их специфическими чертами являются: 1) отсутствие поливалентности, 2) наднациональный ареал распространения при одновременной крайней узости социальной базы носителей этих языков (клир и образованная элита общества), 3) "письменность" этих языков и их оппозиция устным идиомам как языками общения [Navránek 1963: 88, 346 и сл.].

Таким образом, письменный (литературный) язык средневековья — это язык письменной культуры для элиты этнически неоднородного общества. Язык этот может быть для носителей его и иностранным, вступая при этом в оппозицию с идиомами, что ведет к ситуации функционального двуязычия (т.е. функционального дополнительного распределения, что, по Успенскому, является важнейшим дистинктивным признаком диглоссии). Опираясь на эти работы пражских лингвистов, мы предлагаем отказаться от хронологически недифференцированного понятия "русский литературный язык", заменив его понятиями "письменный язык" в применении к допетровскому периоду и "стандартный язык" для современного русского языка как письменности, так и общения. Осознавая все недостатки предложенных терминов, мы, тем не менее, считаем последствия их употребления не столько значительными, как те, что проистекают из обозначения сочинений Илариона и берестяных грамоток, летописей, романов Л.Н. Толстого и университетского курса по высшей математике одним и тем же понятием "русский литературный язык".

6. Вопрос определения границ объекта исследования неразрывно связан не только с терминологической проблематикой, но и со спецификой исследуемой эпохи. Многим мы обязаны здесь работам Д.С. Лихачева и его школы [Лихачев 1967; 1968; 1972; 1972а; 1979]. К сожалению, работы эти все еще лишь в крайне недостаточной мере учитываются в дискуссии о происхождении и путях развития современного русского стандартного языка. Одну из возможных причин этого мы видим в тенденции к отграничению языкознания от общепилологической традиции (вопрос, к которому мы еще вернемся в конце этой работы).

Наиболее важным, на наш взгляд, является постулат Лихачева о целостном характере средневековой культуры и вытекающее из этого требование целостного изучения данного феномена. С этим постулатом причинно связан центральный термин "стиль эпохи", охватывающий (в европейском) средневековье все проявления человеческой культуры [Лихачев 1968: 40 и сл.]. На этой основе Лихачев создает свою модель древнерусской культуры и литературы (насколько понятие литературы применимо к данной эпохе). Одним из дистинктивных признаков этой литературы является анонимность произведений, т.е. отсутствие индивидуального автора. С этим связан и феномен нечеткости, аморфности границ произведений, воспринимавшихся не как продукт индивидуального творчества, но как общее достояние культуры. Не менее важны и специфические черты православной культуры — так, чтение книг служит здесь не развлечению читающего, а спасению его души. Прямо связана с этим специфика канона древнерусской письменности, в которой беллетристика в современном значении появляется лишь к XVII в. Важен и вклад Лихачева в развитие (в определенном смысле, и реабилитацию) текстологии. В соответствии с нашей тематикой особого внимания заслуживает тезис о центральной роли текста в исследовании, как и о тесной связи между текстом и человеком, эпохой, всей ее мировоззренческой парадигмой [Лихачев 1962]. Специфике донациональной культуры и ее языка посвящены и многие работы Н.И. Толстого. В отличие от Лихачева, работы которого остаются в рамках древнерусской культуры, Толстой оперирует в значительно более широком масштабе так называемой Pax Slavia Orthodoxa, под которой понимается наднациональный целостный славянский ареал, обладающий общностью вероисповедания и культуры вообще, в том числе и общностью письменного языка [Толстой 1961; 1962; 1963; 1978; 1979; 1981]. Нижней его временной границей является соответствующее время принятия христианства православными славянами, верхняя

же граница сильно варьируется. В то время как для русских (и живущих на территории российской юрисдикции восточных славян) это примерно эпоха петровских реформ, для сербов, например, это начало, а для болгар конец XIX в. Понятие *Pax Slavia Orthodoxa* нередко употребляется в оппозиции к аналогичному понятию *Pax Slavia Latina*, которая, однако, представляет собой, по нашему мнению, значительно более однородное образование. Важнейшими дистинктивными признаками *Pax Slavia Orthodoxa* являются принадлежность к православному вероисповеданию и употребление ц.-слав. (в различных его местных редакциях) в качестве письменного языка. Существование ареала *Pax Slavia Orthodoxa* многими славистами ставится под сомнение. Один из главных контраргументов состоит в невозможности четкого отграничения подобного ареала — как во временном, так и в региональном и структурном отношении. При этом не принимается во внимание то, что культурный ареал такого рода по природе своей является континуумом, т.е. не может иметь четких границ.

Принципиально важной является и критика Толстым переноса сегодняшних языковых и национальных границ на сферу истории языка, в особенности недопустимого в отношении письменного языка. Примечательны в данной связи разработки Толстого в области реконструкции языкового сознания и восприятия славян прошедших веков, представляющие, к сожалению, редкое явление в диахронной русистике [Толстой 1976]. К чему игнорирование такого важного фактора может привести даже глубоких знатоков предмета, показывает следующее высказывание Л.П. Жуковской, постулирующей существование гомогенного этноса "древнерусов": "И для древнерусов в XI в. практически было неважно, что на близком языке говорили и те же книги использовали болгары, сербы и другие южнославянские народы. Для древнерусов это (= ц.-слав. — А.К.) был их собственный литературный язык" [Жуковская 1972: 75].

Сходную с Лихачевым позицию занимает Толстой и в отношении специфики стиля донациональных культур, который он рассматривает как закрытую систему, определяющую все области культуры, в том числе и языковую организацию текста. Тем самым он постулирует значительно более тесную, чем сегодня, связь между типом текста и его языком [Толстой 1977].

Позиции обоих ученых сходятся и в оценке ими статуса переводной литературы в истории русской культуры, литературы и письменного языка. Советская историческая русистика долгое время практически исключала этот корпус из круга своих интересов. Лихачев же многократно подчеркивал важность переводной письменности для адекватного понимания исторической специфики русской культуры и литературы. В данной связи нельзя не упомянуть его термины "культура-посредница" и "язык-посредник" — в отношении восточных славян и Киевской Руси это византийская культурная традиция и ц.-слав. письменный язык [Лихачев 1978: 19 и сл.]. На важность корпуса переводной письменности указывается и в работах других исследователей, как русской (Алексеев, Живов, Успенский и др.), так и зарубежных (Исаченко, Кайперт, Хюттль-Фолтер и др.) школ; к некоторым из этих работ мы в дальнейшем еще обратимся. Значимость переводных текстов отмечает и Толстой, с той, однако, разницей, что он оперирует понятием иерархического жанрового канона, практически общего во всей *Pax Slavia Orthodoxa* и сохраняемого на всем протяжении ее существования. Переводная письменность является для Толстого неотъемлемой составляющей этого канона. Примечательно, что одновременно весь корпус так называемого делового языка оказывается исключенным из канона, т.е. Толстой оперирует узким понятием "литературного языка", сближающимся с понятием "языка литературы". Сходную позицию в данном отношении занимают, впрочем, и многие другие, в том числе Лихачев и Успенский. Рассмотрению вопроса о статусе делового языка, вопроса, являющегося составной частью экстенциональной проблематики исторической русистики, посвящен следующий раздел работы.

7. Так называемый деловой язык, т.е. письменный язык деловой, правовой и административной сфер, образовавшийся на вост.-слав. языковой базе, является специфици-

ческим восточнославянским феноменом. Трудно сказать, какой из этих дистинктивных признаков — интенциональный или языковой — обладает большей релевантностью. Релевантно, во всяком случае, то, что феномен этот по существу определяется *ex negativo* — как то, что не относится к области ц.-слав. культуры. В традиции советской русистики деловой язык относят к области литературного русского языка, а именно к его так называемому народно-разговорному типу. При ближайшем рассмотрении корпус деловых текстов оказывается, пожалуй, даже более разнородным, чем традиционный канон *Pax Slavia Orthodoxa* (в традиционной терминологии "книжно-письменный тип литературного языка"). Так, С.И. Котков и школа лингвистического источниковедения различают по меньшей мере три подтипа делового языка: 1) эпистолярный, 2) актовый и 3) статейный [Котков 1980: 74 et pass.], причем возможна и дальнейшая их субклассификация.

Котков предлагает и другую классификацию — на ядро (приказный язык) и периферию (деловой язык), которая, к сожалению, далее не развивается и не комментируется

Как уже говорилось выше, принадлежность делового языка к области литературного языка признается далеко не всеми русистами, особенно теми, кто склонен к "узкому" определению "литературного языка". Мы уже указывали на расплывчатость и нечеткость этого общепринятого понятия. Если его отбросить и — по крайней мере, до тех пор, пока существуют и границы этого феномена не будут удовлетворительным образом определены — оперировать для донационального периода русской языковой истории понятием "письменный язык", трудности с определением статуса делового языка отпадают сами собой, поскольку принадлежность его к сфере письменного языка сомнений вызывать не может. Это не означает, однако, смешения существовавших в Древней Руси принципиально различных типов письменного языка. Но именно в интересах четкого их разграничения и определения недопустимо, на наш взгляд, исключение какого бы то ни было типа письменности из анализируемого корпуса. Лишь в процессе такого всеобъемлющего анализа возможна адекватная классификация различных типов письменности и письменных языков.

8. С проблемой определения объекта исследования диахронной русистики (как и с дискуссией о древнерусской диглоссии) тесно связан вопрос периодизации истории русского письменного resp. стандартного языка, в которой обычно выделяются следующие три периода: 1) киевский (XI—XIII вв.), 2) московский (XIV—XVI вв.), образующие вместе т.н. древнерусский период, и 3) период развитого, кодифицированного, национального (т.е., в нашей терминологии, "стандартного") языка, мнения о нижней временной границе которого заметно варьируются.

Связь этой схемы с периодизацией русской социально-политической истории более чем очевидна<sup>10</sup>. Сам по себе такой параллелизм вполне объясним — письменный (resp. стандартный) язык представляет собой в значительно большей степени явление, детерминированное социолингвистическими параметрами, чем устный идиом. Открытым здесь до сих пор остается вопрос о статусе XVII в. и Петровской эпохи. Большинство работ трактует XVII в. как конец древнерусской эпохи, относя XVIII в. к национальному периоду, — положение, которое практически не обосновывается и не комментируется авторами<sup>11</sup>. Несколько более, чем обычно, дифференцированную схему исторического развития русского литературного языка предлагает А.И. Горшков, датирующий начало образования национального языка серединой — второй половиной XVII в., а конец этого процесса — пушкинской эпохой [Горшков 1984], причем особую роль в этом процессе он приписывает появлению и усилению во

<sup>10</sup> Согласно Г. Кайперту, эта периодизация опирается не столько на данные социально-политической русской истории, сколько представляет собой историю русской литературы (в узком понимании этого термина) [Keipert 1982]. Не оспаривая этого, укажем здесь лишь на тесную связь социальной и культурной истории и, тем самым, истории литературы.

<sup>11</sup> Обзор соответствующей литературы см. [Kretschmer 1986: 1—59].

второй половине XVII в. так называемой "демократической литературы"<sup>12</sup>, а также "решительному отходу от старых книжно-славянских традиций" (с. 155). Отход этот не означает, однако, прерывности литературно-языковой традиции. Напротив, Горшков подчеркивает ее последовательность и непрерывность: "Деление истории русского литературного языка на эпохи, периоды и подпериоды не означает, что между ними существуют разрывы традиции. Все смежные этапы истории языка связаны и соотнесены друг с другом" (с. 57). Одновременно идет процесс интеграции делового языка в систему языка литературного (с. 160), продолжающийся и в Петровскую эпоху, хотя и с некоторыми изменениями: "...в петровское время не просто изменялся состав литературного языка, а разрушались старые системные связи языковых единиц в пределах текста, создавались новые словесные ряды, которые пока еще не получали четкого композиционного оформления в сложном единстве целого" (с. 168). В послепетровское время, начиная с Кантемира, все более усиливается процесс сознательной и целенаправленной работы над русским литературным языком (с. 172 и сл.).

Несколько отличается от общепринятой и трактовка интересующих нас эпох у Б.А. Ларина, одного из лучших знатоков предмета. Центральная роль в процессе формирования современного русского литературного (стандартного) языка он отводит языку московских посадов, ставшему в XVII в. не только разговорным языком, но и языком литературы посадов [Ларин 1961; 1975]. Такое расширение сферы употребления устного по происхождению языка нарушает равновесие традиционной жанровой системы — традиционная оппозиция "церковная : светская письменность" нейтрализуется. Процесс этот усиливается в Петровскую эпоху, с ее характерной тенденцией к объединению языка письменности и устного языка общения. В послепетровское время направление развития меняется — социальная верхушка общества, ориентируясь на литературно-языковую модель Западной Европы, стремится к отграничению "своего" языка от языка народа. Таким образом, мы наблюдаем здесь неизвестное допетровской Руси социально-лингвистическое расслоение общества — явление, наблюдаемое в Западной и Центральной Европе столетиями раньше. Считаю необходимым подчеркнуть важность данного положения Ларина, поскольку названная специфическая черта социолингвистической ситуации допетровской Руси крайне редко принимается во внимание или хотя бы упоминается в научных работах. Согласно Ларину, развитый литературный (по нашей терминологии "стандартный") язык появляется в России лишь в пушкинское время. Сходную позицию в оценке литературного языка данной эпохи мы встречаем в большинстве работ по истории русского литературного языка. Между тем, литературный язык этого времени не обладает ни поливалентностью, ни обязательностью употребления, да и о кодификации его можно говорить лишь условно. Иными словами, сформулированные пражскими лингвистами и Исаченко дистинктивные признаки национального развитого литературного (= стандартного) языка здесь еще не представлены или же не представлены недостаточно четко — сходную ситуацию можно наблюдать и в Западной и Центральной Европе, имеющих к началу XIX в. развитые письменные, но не стандартные языки в современной их форме.

Отличную от вышеназванных позицию относительно периодизации истории русского литературного языка занимает А.В. Исаченко. В соответствии со своим постулатом прерывности русской литературно-языковой традиции он различает два независимых ее этапа, разделенные полувековой цезурой (1700—1750) [Issatschenko 1980, 1983]. Нельзя не упомянуть, что работы Исаченко относятся к тем нечастым исключениям, в которых рассмотрению языковых процессов Петровской эпохи уделяется достаточное внимание. Так, XVII в. для Исаченко представляет собой не период перехода от средневекового, донационального к национальному этапу языкового раз-

<sup>12</sup> Понятие, в истории как русского литературного языка, так и русской литературы весьма распространённое, но до сих пор удовлетворительным образом не определённое.

вития — точка зрения, общепринятая в советской русистике, — но маркирует конец древнерусской языковой истории. Ключевую роль в ходе дальнейшего развития Исаченко отводит петровскому времени, и именно его литературному “безъязычию”, которое для Исаченко является доказательством прерывности русской литературно-языковой традиции и автономности ее этапов (с. 561). Остановимся кратко на некоторых других положениях Исаченко, представляющих для нашей тематики особенный интерес. Так, Исаченко постулирует принципиальные различия не только между литературным языком допетровской и послепетровской Руси, но и между вост.-слав. диалектами Киевской эпохи и русским языком XVII в. — различия, которые в литературе, как правило, упоминаются лишь вскользь. Безусловно важной является и экспликация социолингвистической гомогенности допетровского русского общества. То же относится и к выдвинутому Исаченко требованию — при анализе формирующегося нового литературного русского языка привлекать к анализируемому корпусу и такие тексты, которые, хотя и были созданы представителями образованных кругов, но не предназначались к публикации (мемуарная письменность, частная переписка и под.). Требование это Исаченко обосновывает тем, что между представленными в языковой полемике XVIII и начала XIX в. позициями соответствующих авторов и практикой их речевого употребления нередко наблюдается заметная разница (с. 563).

Значительное место занимает рассмотрение языковой ситуации анализируемого здесь периода в работах Б.А. Успенского, хотя в центре его внимания находится прежде всего XVII в., а также языковая полемика и языковое планирование XVIII и начала XIX в. [Успенский 1983; 1983а; 1985; 1987; 1994]. XVII в. является для него в первую очередь конечным этапом диглоссии, периодом ее распада и перехода сначала в нестабильное по природе своей двуязычие, а затем в моноязычие. Важную роль в этом процессе он отводит никоновской справе и третьему южнославянскому влиянию (роль которого в истории данного периода русского литературного языка подчеркивалась уже Шахматовым и Соболевским). Сущность этого влияния состоит в переносе на русскую почву (через украинско-белорусско-польское посредство) западноевропейской литературно-языковой и образовательной модели. Актуальная для польской культурной парадигмы оппозиция латынь : проста мова переносится и накладывается на оппозицию ц.-слав. : русский языки. Одновременно происходит передел функциональных сфер, причем имеют место нарушения диглоссийного принципа дополнительного функционального распределения указанных языков. В ходе этого развития возникает “гибридный ц.-слав. язык” [Успенский 1987: 329], феномен, под тем или иным названием упоминаемый также в работах Живова, Алексеева и Ремневой. К началу XVIII в. возникает ситуация уже не диглоссии, а двуязычия, что сопровождается социолингвистическим расслоением общества (с. 345). Сама Петровская эпоха характеризуется лишь в самых общих чертах: “Итак, в XVIII в. языковая ситуация радикально меняется, поскольку утверждается в своих правах новый русский литературный язык. Этот язык, с одной стороны, противопоставлен ц.-слав. языку, с другой же стороны, он принимает на себя функции ц.-слав. языка. Это амбивалентное отношение к ц.-слав. языку — противопоставленности и преемственности — определяет возможные направления эволюции русского литературного языка, который может развиваться как по пути отталкивания от ц.-слав. языка, так и по пути сближения с ним. Обе эти возможности и реализуются на различных этапах кодификации русского литературного языка” (с. 345).

Несколько более детально представлен анализ Петровской эпохи в работах В.М. Живова, который, однако (как, впрочем, и сам Успенский), больше внимания уделяет характеристике социокультурного фона данной эпохи и ее семиотической интерпретации, чем анализу самих языковых процессов и языковой ситуации<sup>13</sup>. Интересную модель периодизации русского литературного языка предложил А.А. Алек-

<sup>13</sup> Напомним в данной связи сходную критику Редера [Rehder 1989]; ср. также позицию Й. Рекке в данном вопросе, изложенную в разделе 11 нашей работы.

сеев [Алексеев 1993]. Особенно важной представляется в данной связи экспликация специфики литературно-языковой истории и ее отличия от внутренней, системно-имманентной истории языка (с. 238). Исходя из постулата о принципиальной важности не только и не столько языковой нормы как таковой, сколько механизма ее стабилизации, Алексеев различает нормы рукописной письменности и письменности печатной. В соответствии с этим ключевым моментом русской литературно-языковой истории для него является начало книгопечатания, маркирующее конец первого периода этой истории. Второй ее период Алексеев подразделяет на следующие три этапа:

1) 1580—1730 гг. ("период кодификации церковнославянского языка с целью придать ему характер национального языка");

2) 1730—1830-е гг. ("период кодификации русской письменной речи [данное понятие автором не раскрывается. — А.К.] на основе разнообразных источников");

3) с 1830-х гг. ("период кодификации литературного языка, прежде всего в его устной форме, на основе образцового узуса") (с. 243 и сл.).

Первый и второй этап вместе образуют эпоху "перехода от литературного языка средневекового типа к литературному языку национального типа".

Как уже указывалось, особенную важность для Алексеева представляют механизмы, обеспечивающие стабильность языковой нормы и являющиеся принципиально различными для докнигопечатной нормы, ориентирующейся на языковое употребление образцовых текстов, и нормы кодифицированной. Для первой важнейшими факторами являются "независимость языка письменности от обиходного узуса, узость его социальной базы", для второй — "близость вплоть до тождественности к обиходной речи, тенденция к совпадению границ национального коллектива и языкового коллектива, пользующегося литературным языком". Рассмотрению проблематики нестандартной, некодифицированной нормы посвящен следующий раздел нашего обзора. Здесь хотелось бы обратить внимание еще на одно, весьма, на наш взгляд, важное положение Алексеева о принципиальной неопределенности границ между отдельными этапами литературно-языковой истории, поскольку, по Алексееву, "новый период начинают те же люди и те же тексты, которые завершают старый". Своего рода ориентирами при определении таких границ могут, по его мнению, служить "такие исторически значимые события, которые по своей сущности уже не принадлежат прошлому, но знаменуют новое" (с. 240). С постулатом принципиальной размытости временных границ нельзя не согласиться, но предложенное Алексеевым определение ориентира для периодизации является, на наш взгляд, слишком нечетким, слишком зависимым от индивидуального восприятия и от индивидуального понимания историчности<sup>14</sup>.

Примечательна в данной связи принципиально отличная от общепринятой оценка языковой ситуации и языковой динамики Петровской эпохи у Алексеева. Если обычно в ней видят "новый период в истории литературного языка", то для Алексеева эта эпоха, напротив, знаменует собой конец определенного этапа развития русского литературного языка. Примечательно его обоснование такой позиции — по Алексееву, "именно в Петровскую эпоху противоречия достигли наибольшей остроты" (с. 242). Таким образом, новый этап развития начинается для него лишь в послепетровское время, с 1730-х гг., т.е. с деятельности Тредиаковского.

Укажем, наконец, на тезис Алексеева о "лингвистической многостильности" русского XVIII в., сменившей "лингвистическую многосистемность" предыдущих эпох, и на ее связь с упомянутым выше понятием "стиль эпохи" Лихачева и тезисом Толстого о стиле как замкнутой системе. Переход к "лингвистической многостильности" является для Алексеева выражением общей тенденции к формированию омнифункционального литературного языка (с. 242).

<sup>14</sup> Важности понимания истории и историчности посвящена одна из новейших работ Й. Рекке [Raecke 1992], рассматриваемая в одном из следующих разделов нашего обзора.



Подводя итоги, нельзя не признать, что роль и статус как XVII в., так и петровского времени в истории письменного (стандартного) русского языка все еще остается открытым вопросом. По крайней мере, одну из причин этого мы видим в недооценке деловой письменности данной эпохи и проистекающей отсюда практике невключения соответствующих текстов в анализируемый корпус.

9. Обзор актуальной дискуссии по вопросам истории русского письменного (стандартного) языка не может оставить без внимания относительно новую, но весьма, на наш взгляд, важную область исследований, занимающуюся проблематикой предстандартной, некодифицированной нормы и ее спецификой. Данная тематика особенно широко представлена в работах А.А. Алексеева и М.Л. Ремневой. В рамках данного обзора возможна, конечно, лишь общая характеристика их позиций и центральных постулатов. Некоторые из тезисов Алексеева были уже упомянуты в связи с рассмотрением проблемы периодизации истории русского письменного (стандартного) языка, как, например, тезис о центральной роли механизма стабилизации нормы. По Алексееву, понимание этого механизма, "если оно достигнуто, позволит выработать методику первичной относительной оценки лингвистических фактов" [Алексеев 1987]. Различая названные два типа языковой нормы — ориентированной на образцы и кодифицированной, — Алексеев справедливо подчеркивает недопустимость переноса современных механизмов стабилизации нормы на языковую ситуацию прошлого. При этом он указывает на связь своей концепции о существовании предстандартной, некодифицированной, ориентированной на образцовые тексты нормы с понятиями "этикетный стиль" Лихачева и "стилистический ключ" Пиккио. Появление новой, кодифицированной нормы было, по Алексееву, вызвано следующими причинами:

- 1) появлением книгопечатания и исчезновением релевантной для предстандартной нормы традиции переписывания текстов;
- 2) уменьшением значения традиционного жанрового корпуса в связи с появлением новых переводных текстов;
- 3) расширением жанрового корпуса;
- 4) появлением строгой правописной нормы как последствием книгопечатания (с. 37 и сл.).

Известное влияние на смену норм оказала и античная грамматическая традиция (через посредство Ренессанса)<sup>15</sup>.

Алексеев уделяет большое внимание детальному анализу делового языка, его нормы и его статуса в системе русской письменности. Так, норма делового языка, в отличие от нормы ц.-слав., опирается не только на образцовые тексты, но и на "живое употребление", что, однако, не означает тождества письменного делового языка и устного идиома, являющегося менее стабильным и менее консервативным, чем всякий письменный язык (с. 41). Анализируя различия между деловым языком и мертвым ц.-слав., Алексеев приходит к выводу о том, что деловой язык "своей зависимостью от живого обиходного языка, онтологической вторичностью по отношению к нему, характером языковой нормы... сближается с современным литературным языком" (с. 41 и сл.). Тезис этот представляется особенно важным, поскольку вопрос о связи, об отношениях между современным русским стандартным языком и деловым языком допетровской Руси принадлежит к числу наиболее "проклятых", по выражению самого Алексеева, вопросов исторической русистики [Алексеев 1986]. Интересны и мысли Алексеева о соотношении ц.-слав. и русского языков в языковом сознании русского общества прошлого, конкретно, о специфике восприятия т.н. смешанных текстов. Восточнославянский языковой материал выступает здесь, по Алексееву, как маркированный элемент данной оппозиции, а языковая ситуация Древней Руси характеризуется соответственно как "письменное двуязычие", основанное на

<sup>15</sup> Тезис этот автором, однако, не раскрывается. Не совсем ясным представляется и второй из выше-названных факторов.

принципе, согласно которому "все, что не нужно было писать по-русски, можно было писать по-церковнославянски" (с. 42). В данном вопросе Алексеев, таким образом, занимает позицию, прямо противоположную традиционной позиции русской (советской) школы, для которой маркированным членом оппозиции является — функционально строго ограниченный — ц.-слав. язык [Котков 1980 : 36]. Языковая ситуация на всем протяжении древнерусского (в традиционной терминологии) периода характеризуется, по Алексееву, сосуществованием двух языков (и соответственно двух норм), ц.-слав. и русского, причем постоянная их интерференция не ведет, однако, к созданию новой нормы, нового языка, поскольку представляет собой явление чисто внешнее, механическое (с. 44). Объединение норм в рамках единой лингвистической системы происходит лишь "в период образования нового литературного языка", т.е. в послемоносовский период (с. 45). Доломоновская же языковая ситуация представляет собой "особого рода конгломерат близкородственных и вместе с тем гетерогенных лингвистических структур" (с. 45) — дефиниция, на наш взгляд, весьма расплывчатая. Значительно более убедительна, по нашему мнению, полемика Алексеева против сближения понятий "литературный язык" и "язык литературы": "Применение письменного языка в художественно-повествовательных целях не может рассматриваться как ведущий признак литературного языка, особенно для той эпохи, когда художественная литература как своеобразное явление культуры и вид художественного творчества отсутствовала или же ограничивалась рамками устного фольклора" (с. 45).

Работы Алексеева по вопросам предстандартной языковой нормы представляют безусловный интерес, хотя некоторые из его постулатов и вызывают вопросы или требуют дальнейшей конкретизации. Детальный критический разбор его концепции в рамках нашего краткого обзора по понятным причинам невозможен. Укажем здесь лишь на некоторую априорность и схематичность предложенной им периодизации истории русского литературного языка и его нормы. Так, например, хотя появление книгопечатания и является безусловно релевантным фактором, конкретное воздействие его на систему языковой нормы нельзя, на наш взгляд, датировать уже моментом появления первых, единичных и не получивших на Руси широкого распространения печатных книг. Воздействие это имеет место лишь с появлением печатной книги как массового феномена, т.е. значительно позже, чем указывается Алексеевым дата 1530. Спорным является, как мы полагаем, и утверждение, что русский литературный язык в XVII в. сумел "вполне освободиться от влияния языковых образцов и перейти на кодифицированный грамматикой Мелетия Смотрицкого церковнославянский язык" (с. 38), поскольку конкретное воздействие, оказанное грамматикой Смотрицкого на языковую практику как XVII, так и XVIII вв., не является еще изученным в достаточной степени.

В то время как работы Алексеева посвящены в первую очередь теоретическим вопросам изучения языковой нормы, в работах М.Л. Ремневой теоретико-методологические разработки опираются на данные эмпирические. Центральные положения ее концепции представлены в монографии "Литературный язык Древней Руси. Некоторые особенности грамматической нормы" [Ремнева 1988]. Согласно этой концепции, языковая ситуация допетровской Руси характеризуется дуализмом, оппозицией церковнославянского и русского (= деловой язык и устный идиом) языков и оппозицией соответствующих норм (с. 3 и сл.). Главная задача исследователя состоит, по мнению Ремневой, в выделении дистинктивных признаков этих норм и создании, тем самым, адекватной базы для научных исследований. Сама Ремнева ограничивается рамками лишь грамматической нормы, постулируя следующие ее дифференциальные признаки: 1) систему грамматических времен, 2) двойственное число, 3) повелительное наклонение, 4) *dativus absolutus*, 5) причинные конструкции, 6) условные конструкции.

Сюда же относятся и краткие/полные формы прилагательных и причастия. Этими признаками в своем анализе Ремнева, однако, не оперирует

Неясным остается вопрос о внутренней иерархии данного списка, о степени важности отдельных признаков.

В своей оценке древнерусской языковой ситуации Ремнева опирается на разработки Пражского лингвистического кружка, а также на работы Лихачева. Заметна и близость позиции автора к теории диглоссии Успенского. Так, Ремнева определяет отношение древнерусских книжников к русско-церковнославянскому как к кодифицированной разновидности собственного языка и постулирует между русско-церковнославянским и русским языками отношение дополнительного функционального распределения при одновременной их интерференции (с. 5). Аналогично и соотношение обеих языковых норм (с. 12).

Весьма важным кажется нам тезис Ремневой о том, что норма всегда представлена в конкретном тексте, который, таким образом, является непосредственным объектом исследования. В данной связи она отмечает роль образцовых текстов как стабилизирующего фактора для некодифицированной нормы.

Важным является и ее указание на изменяемость нормы во времени. Применительно к древнерусской ситуации изменяемость эта конкретно выражается в том, что характерная для Киевской Руси дуальность норм в XVII в. уже замечается их триадой. Полюсами этой триады по-прежнему являются строгая ц.-слав. норма и русская норма, связанная с первой лишь через систему грамматических времен, тогда как все остальные дистинктивные ц.-слав. признаки субституируются соответствующими русскими. Промежуточную позицию в этой триаде занимает гибридизированная, упрощенная ц.-слав. норма.

Ц.-слав. норма представляла собой, согласно Ремневой, "реально существующий социально-лингвистический феномен", а выступающие в функции ее стабилизаторов образцовые тексты "предопределяли строгость требований, несли в себе высокую степень императивности и характеризовались общественным признанием, опирающимся на традицию" (с. 32). Различия между узуальной нормой устного идиома и нормой литературного языка характеризуются для Ремневой тем, что "норма литературного языка является более сложным комплексом языковых средств, чем норма народного языка, так как функции литературного языка более развиты и строже разграничены, чем функции языка народного; наконец, норма литературного языка является более осознанной и более обязательной, чем норма народного языка, а требование ее стабильности — более настоятельным" (с. 4). В отличие от нее, норма делового языка "подвижна, подвержена изменениям и влиянию живого языка, наличие вариантных средств делает ее динамичной" (с. 7). Такая дефиниция нормы делового языка, определяемой *ex negativo*, в оппозиции к норме ц.-слав. языка, является, безусловно, довольно расплывчатой. Нельзя, однако, не признать, что наши знания о деловом языке и о динамике его нормы не оставляют возможностей для другого методологического решения данного вопроса. Поэтому обращение Ремневой к норме ц.-слав. языка как точке отсчета представляется оправданным — во всяком случае, на нынешнем уровне наших знаний о норме делового языка.

В заключение несколько критических замечаний. Не все свои положения Ремнева в достаточной степени подтверждает на текстовом материале; вообще желательным представляется расширение эмпирической базы концепции. Теоретическая база, напротив, разработана весьма детально, и в ней творчески используются различные тезисы и разработки как современной славистики, так и общей лингвистики, что, к сожалению, не всегда в достаточной степени обосновывается автором. Однако критика этих отдельных моментов никоим образом не умаляет принципиального значения этой новаторской концепции, представляющей собой первую попытку моделирования системы языковых норм для допетровского периода.

10. Большинство рассмотренных выше работ принадлежит русской (советской) школе. Значительный интерес к проблемам истории русского письменного (стандартного) языка заметен, однако, и в зарубежной славистике. Анализу некоторых из наиболее актуальных для нашей темы концепций современной славистики посвящены

следующие разделы нашего обзора; некоторые работы по древнерусской диглоссии были уже рассмотрены в предыдущих разделах. Упомянем здесь и работы Г. Хюттль-Фолтер по этому вопросу [Хюттль-Фолтер 1978]. Значительный вклад в историческую русистику представляют собой также ее исследования по синтаксису XVII в. и петровского времени, пожалуй, наименее разработанной области исторической русистики [Хюттль-Фолтер 1987; 1987а].

Выше уже указывалось на вопросы и проблемы, связанные с определением корпуса того, что традиционно обозначается как "русский литературный язык донационального периода", и на связанную с этим проблему определения статуса переводной письменности. О недопустимости исключения этих текстов из анализируемого корпуса многократно говорил в своих работах Г. Кайперт. Одна из них так и называется — "Русская языковая история как история перевода" [Keipert 1982]. Автор справедливо подчеркивает, что под историей русского литературного языка, как правило, понимается история древнерусской литературы (т.е. ставится знак равенства между "литературным языком" и "языком литературы"), причем круг анализируемых памятников весьма заметно варьируется. Так, из этого круга нередко оказывается исключенным весь корпус переводных текстов, который, по мнению Кайперта, как в количественном, так и в качественном отношении представляет собой одну из важнейших составляющих древнерусской письменности.

Кайперт постулирует следующие этапы творческого восприятия и интеграции иноязычных текстов в истории литературных языков: 1) употребление иностранного языка (иностраннных текстов — А.К.), 2) использование чужих (т.е. заимствованных) переводов, 3) создание собственных переводов, 4) появление оригинальных текстов, 5) передача текстов другим языковым ареалам.

Таким образом, язык, культура, воспринимаемые элементы другой культуры, сами впоследствии выполняют функции (по выражению Лихачева) языка-посредника и культуры-посредницы [Лихачев 1968]. На примере религиозно-церковных текстов Кайперт убедительно представляет все эти этапы в истории русской письменности. Важным является, далее, его требование о раздельном анализе отдельных функциональных сфер письменности (с. 72), что, по его мнению, позволит значительно увеличить эффективность исследования. На важность переводной письменности неоднократно указывала и Г. Хюттль-Фолтер [Хюттль-Фолтер 1987; 1987а]. Большое место занимает история русского письменного (стандартного) языка и в работах Д.С. Уорта [Worth 1977; 1978; Уорт 1975].

11. Несколько подробнее хотелось бы остановиться на двух недавно опубликованных работах Й. Рекке, дающих неожиданную интерпретацию некоторым центральным феноменам истории русской письменности и предлагающих новую трактовку центральных вопросов исторической русистики. Указывая в первой из них, посвященной сопоставительному анализу концепций Исаченко и Успенского по вопросам истории русского литературного языка [Raeske 1992], на принципиальную важность как правильной постановки вопросов, так и постановки правильных вопросов для научного прогресса, Рекке видит большую заслугу Исаченко именно в том, что тот в дискуссии по вопросам истории русского литературного языка по-новому ставит хорошо, в общем, знакомые вопросы. Сам Рекке следующим образом формулирует центральные, по его мнению, вопросы истории русского литературного языка: 1) когда начинается история русского литературного языка? 2) по каким источникам она должна изучаться? 3) определение предмета данной истории, т.е. феномена "литературный язык" (с. 264)<sup>16</sup>.

Сравнивая позиции Исаченко и Успенского по этим вопросам, Рекке приходит к (несколько неожиданному) выводу — различия в их позициях вызваны различным

<sup>16</sup> Как видим, в этом вопросе позиция Рекке близка к представленной в нашей работе — ср. нашу формулировку центральных вопросов истории русского письменного/стандартного языка (раздел 2 данной работы).

пониманием ими истории. По-разному оценивают они и феномен "литературного языка", сходясь, однако, в – интуитивном — восприятии признака "литературности" ("Literatursprachlichkeit"), центрального понятия концепции Рекке.

Для Исаченко история прежде всего есть процесс развития и изменения. Важным является для него требование относительного тождества объекта данного процесса. При этом объект в каждой последующей фазе развития и изменения хотя бы частично должен быть тождествен состоянию его в предшествующей фазе, хотя и допускается нетождество объекта в начальной и конечной фазах процесса (с. 255). Дистинктивным признаком исторического процесса для Исаченко, таким образом, является непрерывность. Нарушение ее, изменение объекта маркирует собой конец данного исторического процесса и начало нового. В этой связи понятной становится позиция Исаченко в вопросе о начале истории русского литературного языка. Поскольку он исходит из наличия цезуры в литературно-языковой вост.-слав./русской традиции, цезуры, вызванной сменой объекта развития, история русского литературного языка для него начинается лишь в послепетровское время.

Свое понимание сущности истории Успенский раскрывает не в монографиях по истории русского литературного языка, а в вышедшей недавно работе "Semiotik der Geschichte" [Uspenskij 1991]. Он различает *res gestae*, т.е. совокупность исторических событий, и *historia rerum gestarum*, т.е. историческую нарратацию, историю как нарративный текст (с. 5). В семиотической интерпретации это означает, что отдельные исторические факты сами по себе еще не создают истории, это делают участники исторических событий в контексте конкретной действительности. В равной степени важными являются при этом восприятие, оценка тех, кто оперирует историческими фактами, и тех, кто являлся непосредственным участником данных исторических событий. Таким образом, поскольку современники воспринимали, по Успенскому, ц.-слав. язык как "свой", он постулирует существование феномена "русский литературный язык" уже в XI в.

Сходными причинами Рекке объясняет и расхождения обоих ученых в вопросе о круге источников для изучения русского литературного языка (то, что мы выше назвали экстенциональным аспектом проблематики). Так, для Успенского в изучении истории русского литературного языка главным фактором является сознательная и направленная языкотворческая деятельность. В этой связи Рекке справедливо указывает на маргинальность языкового анализа как такового в работах Успенского, основное свое внимание уделяющего языковому восприятию соответствующей эпохи. Исаченко, напротив, главную роль отводит анализу памятников.

В оценке предмета истории русского литературного языка позиции Исаченко и Успенского, напротив, весьма сходны. Рекке объясняет это сходством их (интуитивной) оценки того, что он называет "литературностью" и считает важнейшим дистинктивным признаком литературного языка (с. 264). Так, Исаченко безусловно относит к сфере русского литературного языка тексты как Пушкина, так и Карамзина, хотя они и не обладают всеми признаками литературного (в нашей терминологии "стандартного") языка, сформулированными им самим [Исаченко 1958]. Подобным образом противоречит сам себе и Успенский, исключая нецерковно-славянские тексты из сферы литературного языка. По определению самого Успенского, дистинктивными признаками литературного языка являются наличие осознанной нормы и овладение ею в процессе формального обучения. Наличие же нецерковнославянской письменности означает, согласно Рекке, наличие соответствующей нормы, поскольку любое письмо предполагает для него осознанный процесс обучения. Тем не менее, Успенский, по мнению Рекке, прав, исключая эти тексты из сферы литературного языка — в них отсутствует признак литературности.

В своем определении сущности этой "литературности" Рекке опирается на структуралистскую дихотомию языковой формы и языковой субстанции, относя при этом литературность к области формы. Таким образом, Исаченко, протестуя против приращения понятия "русский литературный язык" к допетровскому периоду, имеет

в виду нерусскую языковую субстанцию языка древнерусской книжности. Другими словами, для Исаченко первичной является здесь языковая субстанция, а для Успенского — языковая форма. Понятие признака "литературности" как первичного помогает, по мнению Рекке, адекватно решить вопрос о начале русского литературного языка — он начинает существовать с появлением текстов, обладающих этим признаком. Более глубоко раскрывается сущность данного признака в следующей работе Рекке "Zu den möglichen Quellen einer Geschichte der (modernen) russischen Literatursprache" [Raecke 1993]. Базой для этого служит экспликация различий между текстами "устноязычными" и "литературноязычными", причем первые вполне могут быть представлены и в письменной форме — важно лишь отсутствие у них признака "литературности". В качестве такого рода письменных, но относящихся к сфере устного языка текстов Рекке приводит письмо Е.Б. Куракиной ее отцу, сподвижнику Петра I Б.И. Куракину (1725 г.) и свидетельские показания чиновника Дашкова (1737 г.). Не отрицая и в этой своей работе важности интуитивного восприятия литературности vs. нелитературности, Рекке предлагает модель для определения как наличия, так и степени литературности в текстах. Модель эта является результатом наблюдений, полученных им в ходе работы с различными типами текстов. Согласно его концепции, устно- и литературноязычные тексты показывают дистинктивные различия в отношениях между минимальными составляющими текста (т.е. словами в графическом смысле). Сюда относятся:

1) соотношение между количеством денотативных слов ( $W_{icx+}$ ) и слов с другими, например, реляционными отношениями;

2) количественное соотношение отдельных частей речи (глагол, существительное, прилагательное, наречие<sup>17</sup>) как внутри группы денотативных слов, так и внутри текста в целом;

3) количество анафорических местоимений в тексте;

4) количественное соотношение лексем одиночных ( $W_{sing}$ ), множественных ( $W_{mult}$ ) и повторных ( $W_{rep}$ )<sup>18</sup>; данное отношение рассматривается как в рамках целого текста, так и отдельных его сегментов<sup>19</sup> с. 205 и сл.).

В исследованный Рекке корпус вошли следующие тексты: 1) текст, представляющий современную русскую разговорную речь (т.е. текст заведомо "устноязычный"); 2) начало "Бедной Лизы" Н.М. Карамзина; 3) начало пушкинского "Дубровского"; 4) вышеупомянутое письмо Е.Б. Куракиной; 5) вышеупомянутые свидетельские показания Дашкова; 6) частное письмо А.С. Пушкина; 7) частное письмо М.В. Ломоносова. В результате анализа было обнаружено, что для литературноязычных текстов характерными являются следующие признаки:

1) количественный перевес денотативных слов;

2) внутри этой группы — количественный перевес существительных;

3) незначительное число анафорических местоимений;

4) значительно большее количество одиночных лексем, нежели повторных.

В устноязычных текстах наблюдается прямо противоположное распределение названных дистинктивных элементов. В одном отношении устно- и литературноязычные тексты показывают, однако, большое сходство — соотношение одиночных и повторных лексем в начальных сегментах текста здесь почти идентично. Но в то время как соотношение это в литературноязычных текстах остается в значительной мере постоянным и в последующих сегментах, оно заметно меняется на протяжении текстов устноязычных.

<sup>17</sup> В основном при этом рассматривается количественное соотношение между глаголами и существительными.

<sup>18</sup> Граница между этими двумя группами проведена, на наш взгляд, недостаточно определенно.

<sup>19</sup> Таким образом, Рекке вводит здесь в анализ фактор внутренней организации текста. Подобные факторы, к сожалению, в исследованиях по истории русского письменного/стандартного языка учитываются крайне редко.

Показательно, что, согласно данным анализа, признаком литературности обладают и частные письма как Пушкина, так и Ломоносова. Различия между ними лежат, по мнению Рекке, в плоскости не литературности (т.е. формы), а в плоскости языковой субстанции. Напротив, письмо Куракиной и показания Дашкова представляют собой для Рекке документы не литературного языка, а письменности, причем такой письменности, связь которой с устной речью еще очень ощутима. В этих текстах Рекке видит лишь письменную фиксацию устной речи. С этим, на наш взгляд, нельзя согласиться. Так, Рекке недостаточно учитывает здесь специфику как эпохи, так и исследуемых типов текста. Проведенное нами исследование значительного (более 1000) корпуса частных писем XVII в. и петровского времени показало наличие неожиданно четко выраженной и безусловно осознанной нормы для данного типа текста. Норма эта меняется лишь в послепетровское время, поэтому и неувидительны различия, установленные Рекке между письмами Пушкина и Ломоносова, с одной стороны, и письмом Куракина, с другой. Наличие таких различий не является, как мы полагаем, достаточным основанием для того, чтобы считать эти тексты простой письменной фиксацией речи. Вопросы вызывает и само понятие "литературности", которое представляется необоснованно суженным и обнаруживает тенденцию к отождествлению со сферой (художественной) литературы в современном смысле этого слова. Показательно в данном аспекте, что Рекке не включает в свой корпус ни одного из текстов традиционного жанрового канона Древней Руси. Между тем объективная оценка его тезисов невозможна вне учета этого корпуса. Полагаем, что заданная автором ориентация признака "литературности" на современное восприятие литературы автоматически (и априорно) задает и экстенциональные границы определяемого явления. Более адекватным представляется здесь тезис качественно различной "литературноязычности", причем желательно употреблять для данных целей обозначение, не обладающее в столь значительной степени излишними коннотациями.

Тем не менее выдвинутые Рекке дистинктивные признаки заслуживают безусловного внимания и представляют собой значительный вклад в еще неразработанную область методологии исследования предстандартных письменных текстов.

12. Последний из рассматриваемых здесь вопросов касается именно проблем методологии исследования и эмпирической его базы. Так, одну из основных причин недостаточной эффективности многолетней научной дискуссии о происхождении и истории русского литературного языка мы видим в ставшем уже почти традиционным отрыве теоретической дискуссии от эмпирической работы и вопросов ее методологии. На недостаточное внимание к эмпирии неоднократно указывал и С.И. Котков, основатель школы лингвистического источниковедения. Школе этой мы обязаны значительным количеством изданий текстов, дающих возможность всестороннего их анализа — как лингвистического, так и текстологического, в определенной степени и социолингвистического. Коткову мы обязаны и реабилитацией делового языка и детальными исследованиями в данной области. Рассмотрим основные положения этой школы, разработанные почти исключительно самим Котковым. Лингвистическое источниковедение он определяет как лингвистическую дисциплину, отграничивая его, тем самым, от сходных нелингвистических дисциплин (источниковедения, археографии, текстологии и т.п.). Общим для всех них является постулат о центральной роли конкретного текста и, тем самым, графической его манифестации.

Два понятия являются для лингвистического источниковедения центральными: лингвистическая содержательность и лингвистическая информационность. Первая определяется Котковым как "совокупность заключенных в источнике лингвистических данных, определяемая его содержанием и отношением данного источника к определенному лингвистическому образованию (языку, наречию, говору), а также степенью познания последнего", и представляет собой "понятие собственно языковое". Лингвистическая же информационность "представляет собой определяемую условиями образования источника степень прямой и косвенной отраженности в нем лингвистической содержательности" и "имеет отношение прежде всего к

внешним средствам выражения языка и внешним условиям его существования (характер графики и орфографии, правописные навыки писцов, уровень и состояние звукозаписывающей техники и т.д.) [Котков 1980 : 10].

Задачей лингвистического источниковедения является исследование "лингвистической содержательности в соответствии с иерархией ее обусловленности содержанием источника, в направлении от непосредственной ко все более опосредованной, а также в исследовании лингвистической информационности в ее многообразной обусловленности культурой запечатления языка" (с. 10). Этим, в основном, и исчерпывается теоретико-методологическая база работы школы. Многое в этих определениях остается неясным или недостаточно четким. Сами дефиниции центральных понятий слишком размыты, недостаточно конкретны. Бросается в глаза и отсутствие их обоснования. Неясной остается связь данной концепции с общей языковой теорией, с другими дисциплинами диахронной лингвистики и славистики. Слишком большое внимание уделяется графической манифестации, центральная роль которой постулируется уже в определении лингвистической информационности, но никак не обосновывается. Сам по себе такой интерес к графической стороне текстов вполне объясним тем, что Котков большое внимание уделял вопросам русской исторической диалектологии, прежде всего соотношению северно- и южнорусских говоров в процессе образования русского литературного (стандартного) языка. И именно на примере анализа графических данных он неоднократно убедительно показывал, какие серьезные последствия для оценки языковой ситуации может повлечь за собой недостаточное знакомство с текстовым материалом [Котков 1963; 1980 : 76 и сл., 238 и сл.]. Такой интерес к графической (и к стоящей за ней фонетической) системе, сам по себе обоснованный, будучи возведен в абсолют, неизбежно ведет к односторонности анализа. Так, за пределами внимания оказываются практически весь синтаксис, значительные области лексики, морфологии. Недостаточно принимается во внимание и внутренняя организация текста. Отрицательно сказывается на эффективности исследовательской работы и априорная минимализация сферы и роли русско-церковнославянского языка и письменности. Так, по Коткову, собственно русская письменность "обслуживала всю совокупность общественно-экономических отношений, центральное и местное управление, межгосударственные связи, обыденное общение посредством грамоток и т.п. За церковнославянским языком оставалось обслуживание религиозного культа, а за отдельными элементами этого языка, преимущественно лексическими и фонетическими, — выполнение определенных стилистических функций в текстах, которые в основном были собственно русскими (челобитные, сатирические повести, грамотки и т.д.)" [Котков 1980 : 36]. Остается спросить, куда же относится практически весь традиционный жанровый корпус Древней Руси (Pax Slavia Orthodoxa)?

Серьезные недостатки демонстрируют и эмпирические работы школы. Недостатки эти во многом вызваны слабостью теоретической и методической базы. Теоретическая часть в работах, посвященных языковому анализу, представлена, в лучшем случае, ссылками на общие положения Виноградова и Коткова, в особенности на так называемый "народно-языковой тип" литературного языка. При этом нередко языковой анализ текста сводится к перечислению имеющихся в данном тексте признаков этого типа. Как правило, список анализируемых признаков не обосновывается, не раскрывается и внутренняя его иерархия. Отсутствует систематизация статистических данных, что затрудняет объективную оценку полученных результатов. Отсутствует и синтез, интерпретация этих результатов. Работы школы лингвистического источниковедения рассматриваются нами в отдельной работе (ср. прим. 8).

Заканчивая этот обзор, попытаемся проанализировать причины неудовлетворительного состояния как эмпирии, так и теоретических аспектов диахронной русистики. Одной из причин является уже упомянутый разрыв между теоретической дискуссией и практическим анализом, ставший своего рода традицией в исторической русистике. Теоретическая дискуссия оперирует тезисами, не проверенными на тексто-



вом материале; тем самым недостатки их остаются нераскрытыми, что ведет к серьезным недостаткам всей дисциплины в целом. С другой стороны, практическая аналитическая работа, не получая должной теоретической и методологической поддержки, вынужденно остается эклектичной и атомистичной. Одна из задач нашей работы и состояла в том, чтобы указать на этот порочный круг и на необходимость переориентации дисциплины в направлении интеграции теоретических, методологических и эмпирических ее аспектов. Особенно важными представляются в данной связи следующие моменты:

1) Ввиду значительных теоретических недостатков дисциплины неизбежным представляется примат эмпирической работы, дающий необходимый материал для разработки как теоретической базы исследования, так и его методологии.

2) Объектом исследования являются все типы письменных текстов, однако анализ должен проводиться — по крайней мере, на начальной стадии работы — в рамках конкретного типа текста.

3) Непосредственным объектом исследования является конкретный текст со всеми его как языковыми, так и экстралингвистическими признаками (в зависимости от типа текста возможна и иерархизация этих признаков).

4) Анализ должен проводиться методом хронологических срезов, начиная с древнейших эпох.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеев А.А.* 1986 — Почему в Древней Руси не было диглоссии // Литературный язык Древней Руси. Л., 1986.
- Алексеев А.А.* 1987 — Пути стабилизации языковой нормы в России XI—XVI вв. // ВЯ. 1987. № 2.
- Алексеев А.А.* 1993 — Внутренняя хронология русского литературного языка // *Philologia slavica*. М., 1993.
- Виноградов В.В.* 1958 — Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка // IV Международный съезд славистов: Докл. сов. делегации. М., 1958.
- Гиппиус А.А., Страхов А.Б., Страхова О.Б.* 1988 — Теория церковнославянско-русской диглоссии и ее критики // Вестник МГУ. 1988. № 5.
- Горшков А.И.* 1984 — Теория и история русского литературного языка. М., 1984.
- Ефимов А.И.* 1957 — История русского литературного языка. М., 1957.
- Жуковская Л.П.* 1972 — О некоторых проблемах истории русского литературного языка древнейшего периода // ВЯ. 1972. № 5.
- Зализняк А.А.* 1982 — К исторической фонетике древненовгородского диалекта // Балто-славянские исследования, 1981. М., 1982.
- Зализняк А.А.* 1982a — Противопоставление книжных и "бытовых" графических систем в древнем Новгороде // *Finitis duodecim lustris*. Таллин, 1982.
- Зализняк А.А.* 1984 — Наблюдения над берестяными грамотами // История русского языка в древнейший период. М., 1984.
- Зализняк А.А.* 1987 — О языковой ситуации в древнем Новгороде // *RLing*. 1987. V. 11.
- Зализняк А.А.* 1991 — Берестяные грамоты перед лицом традиционных постулатов славистики и *vice versa* // *RLing*. 1991. V. 15, № 3.
- Исаченко А.В.* 1958 — Какова специфика литературного двуязычия в истории славянских народов? // ВЯ. 1958. № 3.
- Клименко Л.П.* 1986 — История русского литературного языка с точки зрения теории диглоссии / Литературный язык Древней Руси. Л., 1986.
- Колесов В.В.* 1986 — Критические заметки о "древнерусской диглоссии" // Литературный язык Древней Руси. Л., 1986.
- Котков С.И.* 1963 — Южновеликорусское наречие в XVII столетии. М., 1963.
- Котков С.И.* 1980 — Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 1980.
- Котков С.И.* 1991 — Старинная русская деловая письменность в ее отношении к литературному языку // Источники по истории русского языка XI—XVII вв. М., 1991.
- Ларин Б.А.* 1961 — Разговорный язык Московской Руси // Начальный этап формирования русского национального языка. Л., 1961.
- Ларин Б.А.* 1975 — Лекции по истории русского литературного языка (X—середина XVIII в.). М., 1975.
- Лихачев Д.С.* 1962 — Текстология. М., 1962.

- Лихачев Д.С. 1967 — Несколько мыслей о языке литературы и литературном языке Древней Руси // Историко-филологические исследования. М., 1967.
- Лихачев Д.С. 1968 — Древнеславянские литературы как система // Славянские литературы. М., 1968.
- Лихачев Д.С. 1972 — Русская литература XI—XVII вв. и процессы жанрообразования // Wiener slav. Jahrbuch. 1972. Bd XVII.
- Лихачев Д.С. 1972а — Своеобразие исторического пути русской литературы X—XVII вв. // Русская литература. 1972. № 2.
- Лихачев Д.С. 1979 — Поэтика древнерусской литературы. Л., 1979.
- ЛЯДР 1986 — Литературный язык Древней Руси. Л., 1986.
- Ремнева М.Л. 1988 — Литературный язык Древней Руси: Некоторые особенности грамматической нормы. М., 1988.
- Русинов Н.Д. 1986 — Об устных нормах древнерусской литературной речи // Литературный язык древней Руси. Л., 1986.
- Толстой Н.И. 1961 — К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян // ВЯ. 1961. № 1.
- Толстой Н.И. 1962 — Роль древнеславянского литературного языка в истории русского, сербского и болгарского литературных языков в XVII—XVIII вв. // Вопросы образования восточнославянских литературных языков. М., 1962.
- Толстой Н.И. 1963 — Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI—XVII вв.) // Славянское языкознание: V Международный съезд славистов. Докл. сов. делегации. М., 1963.
- Толстой Н.И. 1976 — Старинные представления о народно-языковой базе древнеславянского литературного языка (XVI—XVII вв.) // Вопросы русского языкознания. М., 1976.
- Толстой Н.И. 1977 — К историко-культурной характеристике "славяно-сербского" литературного языка // Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977.
- Толстой Н.И. 1978 — Литературный язык сербов в XVIII в. (до 1780 г.) // Славянское и балканское языкознание: История литературных языков и письменности. М., 1978.
- Толстой Н.И. 1979 — Литературный язык у сербов в конце XVII—начале XIX вв // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1979.
- Толстой Н.И. 1981 — Культурно- и литературно-исторические предпосылки образования национальных литературных языков (на материале сербскохорватского, болгарского и словенского языков) // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1981.
- Унбегаун Б.О. 1970 — Происхождение русского литературного языка // Новый журнал. 1970. Т. 100.
- Унбегаун Б.О. 1971 — Русский литературный язык: проблемы и задачи его изучения // Поэтика и стилистика русской литературы. Л., 1971.
- Уорт Д. 1975 — О языке русского права // ВЯ. 1975. № 2.
- Успенский Б.А. 1983 — Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983.
- Успенский Б.А. 1983а — Диглоссия и двуязычие в истории русского литературного языка // Intern. journal of Slavic linguistics and poetics. 1983. V. 27.
- Успенский Б.А. 1985 — Из истории русского литературного языка XVIII—начала XIX века. М., 1985.
- Успенский Б.А. 1987 — История русского литературного языка (XI—XVII вв.). München, 1987.
- Успенский Б.А. 1994 — Краткий очерк истории русского литературного языка (XI—XIX вв.). М., 1994.
- Филин Ф.П. 1981 — Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981.
- Хабургаев Г.А. 1988 — Дискуссионные вопросы истории русского литературного языка (древнерусский период) // Вестник МГУ. 1988. № 2.
- Хюттль-Уорт Г. 1968 — Роль церковнославянского языка в развитии русского литературного языка // American contributions to the 6th International congress of slavists. V. 1. The Hague, 1968.
- Хюттль-Уорт Г. 1973 — Спорные проблемы изучения литературного языка в древнерусский период // Wiener slav. Jahrbuch. 1973. Bd XVIII.
- Хюттль-Уорт Г. 1974 — О проблемах русского литературного языка XVIII—начала XIX вв. // Slovanski spisovné jazyky v době obrození. Praha, 1974.
- Хюттль-Фолтер Г. 1978 — Диглоссия в Древней Руси // Wiener slav. Jahrbuch. 1978. Bd XXIV.
- Хюттль-Фолтер Г. 1982 — Проблематика языкового наследия XVII в. в русском литературном языке нового времени (XVIII в.) // Wiener slav. Jahrbuch. 1982. Bd XXVIII.
- Хюттль-Фолтер Г. 1987 — Языковая ситуация Петровской эпохи и возникновение русского литературного языка нового типа // Wiener slav. Jahrbuch. 1987. Bd XXXIII.
- Хюттль-Фолтер Г. 1987а — О синтаксисе "Разсуждения о оказательствах къ міру" 1720 г. // RLing. 1987. V. 11.

- Шанур М.И.* 1989 — Теория "церковнославянско-русской диглоссии" и ее сторонники // *RLing*. 1989. V. 13. № 3.
- Шанур М.И.* 1990 — Язык быта / языки духовной культуры // *RLing* 1990. V. 14. № 2.
- Ferguson Ch.* 1959 — Diglossia // *Word*. 1959. V. 15.
- Havráněk B.* 1963 — Studie o spisovném jazyce. Praha, 1963.
- Hüttl-Folter G.* 1979 — Zusammenhänge zwischen dem sprachlichen Erbe und der neueren russischen Literatursprache // *Wiener slaw. Jahrbuch*. 1979. Bd XXV.
- Hüttl-Folter G.* 1987 — Zur Rolle des 17. Jhs. in der Sprachgeschichte Rußlands // *Sprache und Literatur Altrußlands: Aufsatzsammlung*. Münster, 1987.
- Issatschenko A.* 1980, 1983 — Geschichte der russischen Sprache. Heidelberg. Bd 1. 1980; Bd 2. 1983.
- Jedlička A.* 1978 — Die Schriftsprache in der heutigen Kommunikation. Leipzig, 1978.
- Keipert H.* 1982 — Russische Sprachgeschichte als Übersetzungsgeschichte // *Slavistische Linguistik*. 1981. München, 1982.
- Kretschmer A.* 1986 — Zur Diskussion um den Ursprung der russischen "literaturnyj jazyk" (seit Ende der fünfziger Jahre). Hagen, 1986.
- Kretschmer A.* 1994 — Und noch einmal zur Diglossie // *Wiener slaw. Almanach*. 1994. Bd 33.
- Kristophson J.* 1989 — Taugt der Terminus "Diglossie" zur Beschreibung der Sprachsituation in der alten Rus'? // *Die slawischen Sprachen*. 1989. Bd 19.
- Picchio R.* 1962 — Die historisch-philologische Bedeutung der kirchenslavischen Tradition // *Wiener slaw. Jahrbuch*. 1962. Bd VII.
- Raecke J.* 1992 — Grundfragen und Fragestellungen zur Geschichte der russischen Literatursprache (bei Isačenko und Uspenskij) // *Slavistische Linguistik*. 1991. München, 1992.
- Raecke J.* 1993 — Zu den möglichen Quellen einer Geschichte der (modernen) russischen Literatursprache // *Slavistische Linguistik*. 1992. München, 1993.
- Rehder P.* 1989 — Diglossie in der Rus'? Anmerkungen zu B.A. Uspenskij's Diglossie-Konzeption // *Welt der Slaven*. 1989. Bd XXXIV. № 2.
- Seemann K.-D.* 1982 — Loguendum est russice & scribendum est slavonice // *Russia Mediaevalis*. T. V. 1982.
- Seemann K.-D.* 1983 — Die "Diglossie" und die Systeme der sprachlichen Kommunikation im alten Rußland // *Slavistische Studien zum IX. Internationalen Slavistenkongreß in Kiev 1983*. Köln; Wien, 1983.
- Shevelov G.Yu.* 1987 — Несколько замечаний о грамоте 1130 года и несколько суждений о языковой ситуации Киевской Руси // *RLing*. 1987. V. 11.
- Uspenskij B.A.* 1991 — Semiotik der Geschichte. Wien, 1991.
- Worth D.S.* — Was there a "literary language" in Kievan Rus? // *Worth D.S. On the structure of Russian: Selected essays*. München, 1987.
- Worth D.S.* 1978 — On "diglossia" in Medieval Russia // *Wiener slaw. Jahrbuch*. 1978. Bd XXIII, № 2.

РЕЦЕНЗИИ

**Г.Ф. Благова. "Бабур-наме". Язык, прагматика текста, стиль. К истории чага-тайского литературного языка. М., Восточная литература. 1994. 404 с.**

В сложное время, переживаемое Россией, когда державные и региональные патриотические акции перемежаются с всплесками агрессивного национализма, когда в определенном смысле естественные стремления к политической и культурной самостоятельности больших и малых народов сознательно или неосознанно вводятся в русло изощренного самолюбования и обособления, обращение к нерусской тематике в традиционных отечественных изданиях — пример, достойный подражания.

Русский человек, сознание которого не обременяют достаточно разумные, но неразумно толкуемые хитрыми политиками идеи евразийской принадлежности России, давно пришел к пониманию того, что его национальная гордость суждено не только мириться с щедро подаренными многовековыми реалиями, но и активно способствовать тому, чтобы эти реалии становились составной частью его собственной истории. А.И. Герцен, затронувший тему об особом положении России в одном из сочинений, очень своеобразно и вместе с тем глубоко осмысленно выразил свое отношение к ней. "Из Европы, — пишет он, — Россия казалась азиатской, из Азии — европейской, и этот дуализм вполне соответствует ее характеру и ее судьбе, которая между прочим, заключается в том, чтобы стать великим караван-сараям между Азией и Европой" [Герцен 1919 : 314]. Смысл приведенного высказывания очевиден и прост: интерес русского, или шире российского, человека к истории населяющих Россию народов и народов сопредельных стран, до недавнего времени составлявших единое государство — Советский Союз, подпитывается не случайными конъюнктурными соображениями, он — естественное следствие расширенного, вселенского восприятия им своего неповторимого прошлого. Г.Ф. Благова успешно материализовала этот интерес подготовкой и изданием монографии и, как бы мы не относились к ее отдельным выска-

зываниям, выводам и толкованиям иллюстративного материала, в целом монография заслуживает высокой оценки и как полезное пособие для тюркологов, и как свидетельство сохранения лучших традиций отечественного востоковедения.

Продолжительное время Г.Ф. Благова занималась изучением богатого по содержанию и ценного в лингвистическом отношении средневекового сочинения "Бабур-наме", автор которого Захир-ед-Дин Мухаммед Бабур (1483—1530 гг.) вошел в мировую историю как крупный государственный деятель, основавший в Индии династию Великих Моголов, как выдающийся писатель, поэт, ученый.

Бабур — уникальное явление позднего Средневековья и, говоря о "Бабур-наме", нельзя не обратить внимание на личность автора, соединившего в себе жестокость воина с духовным богатством и божественной силой воображения светского человека. Будучи типичным представителем своего времени, он не отличался ни мягкостью характера, ни избытком доброты, и нет нужды даже пытаться искать какие-нибудь выделяющие его из соответствующего тимуридского окружения человеческие черты. Их нет и не могло быть, и не только у Бабура. Завоевания Чингиз-хана, походы крестоносцев, царствование Ивана Грозного отразили эпоху, в которую подавлялись лучшие качества человека, и философские размышления, литературные пристрастия были, как правило, достоянием узкого круга людей. Достаточно одного высказывания Бабура, чтобы образ его с этой стороны был воспринят правильно и полно. "Мы приказали, — повествует он в "Бабур-наме", — чтобы они сделали башню из голов этих афганцев" [Beveridge 1905: 239a]. Напомню, подобные башни — "фирменные" сооружения тимуридов.

Литературная деятельность Бабура не ограничилась сочинением "Бабур-наме", он — автор разного рода переложений, трактатов. Бабур увлекался поэзией и был крупным

знатоком 'аруза, о чем свидетельствуют его замечания по поводу нарушений в размерах, допущенных многими поэтами, включая Нава' и, поэтическую деятельность которого он оценивал чрезвычайно высоко ("Человека, подобного Алишер-беку, не было. С тех пор, как сочиняют по-тюркиски стихи, никто не сочинял так много и так хорошо") [Щербак 1969 : 156]. Чтобы показать широту филологических интересов Бабура, следует еще упомянуть о специфической разновидности письма — "хатти Бабури", изобретенной и примененной им, в частности, для составления списка корана [Щербак 1983: 76—77].

Рецензируемая монография состоит из двух частей, предваряемых обширным введением.

Введение (с. 3—44) содержит очерк истории изучения "Бабур-наме" в России, описание результатов лингвотекстологического обследования списков и изданий "Бабур-наме", а также подробные сведения о списке Г.-Я. Кера и Хайдарабадском списке, о двух изданиях текста по этим спискам, осуществленных А.С. Беверидж и Н.И. Ильминским. К сожалению, отсутствует информация о других списках, не идущих ни в какое сравнение с двумя названными выше, но все же имеющих некоторую научную ценность.

В первой части (с. 45—248), посвященной интерпретации текста "Бабур-наме" как памятника чагатайского литературного языка рубежа XV—XVI веков, основное внимание уделено описанию языковых средств, образующих текст, рассмотрению его структурных особенностей, способов и приемов организации его, анализу лексического состава. Наибольший интерес в ней представляет богатый фактический материал, используемый для подкрепления тех или иных высказываний и выводов автора. Вероятно, не ошибусь, если скажу, что значительная часть текста "Бабур-наме" воспроизведена в монографии с переводом и комментариями, и таким образом читатель-тюрколог имеет возможность выразить свое отношение и к языку оригинала, и к способам его передачи. Не кажется в достаточной мере оправданным увлечение Г.Ф. Благовой текстологическим анализом "Бабур-наме" с привлечением технического аппарата новейших концепций лингвистического текста. Обилие "экзотических" терминов и терминологических выражений, нарочитая изощренность в формулировке теоретических положений не способствует четкому восприятию ее научных идей, а напротив, затрудняют понимание их. Необходимо также заметить, что "Бабур-наме" — не художественное произведение, а оригинальный жанр дневниковых записей и поэ-

тому говорить о четко выраженной коммуникативной установке Бабура, о его "коммуникативно-творческой стратегии" и глубоко осознанном им выборе адресата (с. 53, 63), пожалуй, не стоило бы. Бабур, как подчеркивает он сам, писал на языке, доступном пониманию его окружения, придерживаясь определенных принципов и правил лишь в изложении событий, описании мест, где они происходили, в характеристике действующих лиц.

Содержанием второй части (с. 249—373) является описание морфологии языка "Бабур-наме", формальное и с учетом функционально-стилистической нагрузки различных аффиксальных морфем и грамматических классов. Попутно Г.Ф. Благова излагает свои наблюдения относительно частных вопросов исторической грамматики тюркских языков. Все сведения, касающиеся особенностей морфологии текста и способов выражения грамматических значений отличаются исчерпывающей полнотой, и именно в этом рецензент видит основное достоинство данной части книги, содержащейся же в ней фактический материал сам по себе хорошо известен.

Возвращаясь к оценке рецензируемой монографии в целом, сделаю ряд критических замечаний по характеру изложения, теоретическим обобщениям, переводу примеров.

Трудно согласиться с тем, что "имя без показателя множественности не является формой единственного числа" (с. 252). Понятно, что такое имя может иметь не только значение единственного числа, но и другие значения, подобно тому как имя с аффиксом *-lar* передает не одно лишь значение множественности. Тем не менее, с формально-грамматической точки зрения имя с аффиксом *-lar* и без него противопоставлены друг другу как формы множественного и единственного числа.

Вызывают возражения случаи ничем неоправданного "уточнения" текста при переводе примеров. Ср.: *Hindustan fāth qyl'yan jyl*<sup>1</sup> "в год, когда [я] завоевал Хиндустан" (с. 76), *Hindustan(ni) fāth qyl'yan jyl* "год, когда над Хиндустаном [нами] была одержана победа" (с. 83). Г.Ф. Благова акцентирует внимание на "пропущенном действительном субъекте действия" и восстанавливает его. Однако в этом нет никакой необходимости. В центре внимания автора не "субъект действия", а время совершения события: "в год, когда был завоеван Хиндустан", или: "в год покорения Хиндустана". Иногда подобные "уточнения",

<sup>1</sup> Здесь и ниже сохранены особенности написаний Г.Ф. Благовой.

принципиально не изменяя смысла, несколько искажают стиль повествования. Ср.: *Sāṅār lāfzini Kabulga kelganda ešitildi* "слово сангар [я] услышал, когда пришел в Кабул" (с. 84). Точнее было бы: "о слове сангар услышали, когда пришли в Кабул". Не следует забывать, что в древне- и старотюркских текстах важнейшим обстоятельством, предопределяющим использование страдательных форм глагола является "игнорирование" субъекта действия и выдвигание на первый план состояния или ситуации, в которой он находится. Здесь уместно воспроизвести то наименование, которое было дано форме страдательного залога средневековыми арабскими филологами, — букв. «неизвестный, неочевидный».

Не ясно, чем вызвано включение в монографию выборки общеизвестных тюркских слов (с. 198—218). Выборка не ориентирована на решение какой-либо поставленной автором задачи и, конечно, не дает представления о лексическом составе языка "Бабур-наме". Да и едва ли это было нужно: имеется несколько словарей староузбекского ("чагатайского") языка, в том числе большой четырехтомный словарь к произведениям Новой [Алишер Новой 1983—1985, I—IV], в которые полностью или почти полностью, вошла лексика сочинений Бабура. К сожалению, определенные значения ряда слов в указанной выборке, опирающиеся в частности на словарь Л. Будагова, не всегда являются достаточно точными. *Atkā* не "отец-князь, глава семейства, старший в доме" (с. 198), а "наставник, воспитатель". *Mirzalariniḥ ḥārāmlari* не "гаремы мирз" (с. 201—202), а "жены мирз" (*mirzalariniḥ ana egači sinli wā ḥārāmlari* "матери, старшие и младшие сестры, жены мирз"). Для *šuralʻa* значение "туловище, часть человеческого тела выше поясицы" (с. 206) трудно допустимо. В староузбекском языке *šuralʻa* — "жаркое, спинная часть дичи, жаренная на вертеле". Среднемонгольское *šuralʻa* поддается членению на *šira-* "жарить" и *-lʻa* — аффикс отглагольного образования имен [Mostaert 1949; Eberhard 1948], ср.: *širaxsan mixan* "мясо, жаренное на вертеле". *Qollar* не "холмы по скату горы, соединяющиеся со степью" (с. 207), а "высохшие русла рек", "балки", "горные долины". В староузбекских ("чагатайских") текстах *qollar*, как правило, противопоставляется словам *taɣlar* "горы", *puštalar*

"возвышенности, холмы". Ср.: *bu puštalaridin wā qollaridin tüzga čuqqač...* "когда вышли из возвышенностей и низин на равнину..." Слово *jasy* не "широкий" (с. 210), а "плоский". В староузбекском языке это, пожалуй, его единственное значение. *Jeṇā ~ jeṅā* — "жена старшего брата", но никак не "жена другого близкого родственника" (с. 210). *Čat-* (*čāt-* — ошибочное написание) у Бабура не "задеть, зацепиться, столкнуться, наткнуться..." (с. 215), а "соединять, смыкать". *Qaš cat-* — "нахмурить, насупить брови". *Qap-* (с. 216) — "хватать (руками, зубами)", "кусать". В ряде тюркских языков *qap-* — "клевать (о рыбе)", но не "клевать (вообще)".

Критические замечания можно было бы продолжить, однако нет сомнений в том, что подготовлена и издана полезная и ценная книга и никакие замечания не повлияют на ее окончательную оценку, которая должна быть весьма высокой. Так называемая прагматика текста в исследовании дневниковых записей Бабура кажется рецензенту неоправданным излишеством, но это его частное мнение, и оно, возможно также будет воспринято критически. Что касается неточностей в переводе иллюстративного материала, то количество их невелико и они не столь значительны, чтобы помешать правильному пониманию оригинального текста или ввести специалистов-тюркологов в заблуждение.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алишер Новой 1983—1985, I—IV — Алишер Новой асарлари тилининг изохли лугати, Тошкент, 1983 (I, II), 1984 (III), 1985 (IV).
- Герцеч А. И. 1919 — О развитии революционных идей в России. Полное собрание сочинений. Т. VI. Петроград, 1919.
- Шербак А. М. 1969 — Сочинение Бабура арузе (Предварительное сообщение) // Народы Азии и Африки. 1969. № 5.
- Шербак А. М. 1983 — Рукописный сборник Оч. 8193 и его значение для узбекской филологии // Советская тюркология. 1983. № 3.
- Beveridge A. S. 1905 — The Baber-nama (Fac-simile). E. J. W. Gibb Memorial, V. 1. Leiden; L., 1905.
- Eberhard W. 1948 — Remarks in *Šrolʻa* // Oriens. 1948. I, 2.
- Mostaert A. 1949 — À propos du mot *širolyʻa* de l'Histoire secrète des Mongols // Harvard journal of Asiatic studies, Cambridge (Mass.). 1949. 12, № 3—4.

А. М. Шербак

Конец XX столетия отмечен процессом интеграции филологических дисциплин, их тесным взаимодействием на основании единства исследуемого объекта (языка во всех формах его бытия) и все возрастающего интереса к образу говорящего.

Если в лингвистике первых двух третей XX в. действовали центробежные силы: членился объект исследования и множилось лингвистические дисциплины, между ними устанавливались границы и велся строгий контроль за их неприкосновенностью, — то литературоведение и стилистика художественной прозы всегда имели дело с целостным объектом (конкретным художественным произведением, конкретным идиостилем, единым историко-литературным процессом). Основанием любой из этих целостностей был человеческий фактор. Именно поэтому одной из важнейших проблем поэтики и стилистики художественной речи была проблема образа автора. "Образ автора — это не простой субъект речи... Это — концентрированное воплощение сути произведений, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с повествователем рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся идейно-стилистическим средоточием, фокусом целого" [Виноградов 1971 : 118].

Образ автора — это не только "фокус целого" в художественном тексте, это не только основание общефилологического единства научного творчества В.В. Виноградова, проблема образа автора (образа говорящего) сегодня — это методологическая основа взаимодействия лингвистики и литературоведения.

Лингвистическая прагматика последней трети XX в. сделала основным объектом лингвистических исследований фигуру говорящего, а основной проблемой — проблему субъекта. Типология высказываний была соотносена с типологией субъектов [Степанов 1981], выделены разные ипостаси субъекта [Падучева 1991], началось изучение эгоцентрических показателей в лексике и грамматике [Апресян 1986; Падучева 1991; Яковлева 1994]. Разграничение своего и чужого слова, внутренней и внешней точки зрения говорящего, прямого восприятия действительности и опосредованного восприятия информации — все эти проблемы лингвистика открыла для себя в последней трети XX века, а теория художественной речи изучала их на протяжении всего XX в. Но результаты иссле-

дований разнородного речевого хозяйства, проведенных в рамках стилистики художественной речи, оказались вне поля зрения лингвистов. Если для лингвистики начала века, основным объектом которой была фонема, понятно стремление "отгородиться" от других филологических дисциплин, то для лингвистики конца века, изучающей текст, невнимание к смежным филологическим дисциплинам оказывается фактором, тормозящим ее развитие.

Повествовательный монологический текст изучался и продолжает изучаться в рамках стилистики художественной речи (см., например, [Иванчикова 1992]). В русской филологической традиции термин "повествование" употребляется в двух значениях: (1) последовательная речь, рассказывание, последовательность высказываний, принадлежащих одному говорящему (то, для чего современная лингвистика использует термин "нарратив") и (2) один из трех коммуникативных типов речи (в ряду: повествование, описание, рассуждение), отражающий динамику событий; "собственно повествование". Повествование; непосредственно связано с проблемой точки зрения говорящего, со структурой образа автора. Этой зависимости и посвящена новая книга Н.А. Кожевниковой "Типы повествования в русской литературе XIX—XX вв".

В послесловии к книге В.В. Виноградова "О теории художественной речи Д.С. Лихачев писал: «Многообразие образа автора и его функций не исчерпывается различиями "по горизонтали" — различиями самих творцов, их индивидуальных особенностей, различиями произведений и жанров, к которым они принадлежат. Наряду со статическими различиями существуют и различия исторические — различия "по вертикали". Исторические различия определяются общим развитием литературы, сменами литературных направлений, общественно-идеологическими переменами. Образ автора все время развивается в зависимости от изменения эстетических и идеологических идей эпохи» [Лихачев 1971: 217]. Н.А. Кожевникова соединила в своем исследовании оба направления — и "по горизонтали", и "по вертикали", представила все многообразие типов повествования, сосуществующих и сменяющих друг друга в культурно-историческом пространстве русской литературы XIX—XX вв.

В кратком Введении Н.А. Кожевникова представляет свой объект — те типы повествования, которые отмечены печатью

"субъективности", т.е. организованы точкой зрения Я автора, Я рассказчика и Я персонажа; показывает научный контекст своего исследования и формулирует свои основные задачи — "охарактеризовать основные типы повествования, показать их судьбу в литературе XIX—XX вв. и описать некоторые типы текстов, характерные для этого времени" (с. 12).

Первая глава посвящена фигуре рассказчика, речевым средствам, создающим план рассказчика, а также основным направлениям эволюции сказа. Одним из способов обнаружения Я рассказчика оказывается адресованность повествования, его обращенность к Ты/Вы читателя, и поэтому Н.А. Кожевникова особое внимание уделяет отношениям между автором и читателем, между говорящим и слушающим. На фоне отношений между говорящим и слушающим рассматривается такая форма повествования, как сказ. Н.А. Кожевникова показывает, что сказ является диалогически обусловленным типом повествования не только потому, что ориентирован на устную форму речи, но и потому, что предполагает фигуру слушающего. Движущей силой эволюции сказа стала конкуренция разговорного и книжного начал: «история сказа — это движение от книжности к разговорности, которое в конечном итоге приводит к тому, что устная речь начинает передаваться сплошной "материей говорения"» (с. 49—50). Рассмотрев языковые средства оформления сказа, Н.А. Кожевникова анализирует конкретные примеры собственно сказа и "сказоподобные формы", "отличающиеся от сказа отсутствием конкретного рассказчика" (с. 64), и показывает, что (1) "сказ становится одним из источников несобственно-авторского повествования"; (2) "от сказа отвлекаются отдельные сигналы устной речи, имитирующие адресованную форму повествования..." (с. 72).

Вторая глава посвящена субъективному авторскому повествованию, приемам обнаружения авторского Я и их эволюции в русской литературе XIX—XX вв. В этой главе прослеживается взаимодействие между типом повествования и коммуникативным типом речи (собственно повествованием, описанием, рассуждением): они оказываются в разной степени пронизываемыми для субъективного авторского Я. Приемы "субъективного авторского речеведения" описываются на фоне отношений (а) между автором и читателем и (б) между автором и персонажем. Исследуя отношения между планом автора и планом персонажа "по вертикали" (в диахронии), Н.А. Кожевникова приходит к выводу о том, что развитие субъективного авторского пове-

ствования проходило в связи с действием принципа субъективной многоплановости восприятия действительности.

Третья, наиболее объемная глава посвящена плану персонажа, способам передачи точки зрения персонажа и точки зрения автора, приемам разграничения своего и чужого слова. В главе рассматриваются такие способы оформления чужого слова, как прямая речь, косвенная речь, несобственно-прямая речь, а также виды их взаимодействия и их вариантность. Точка зрения персонажа может быть выражена не только словом персонажа, но и словом автора, обнаруживающим связь с конкретной пространственно-временной точкой, совпадающей с хронотопом персонажа, или указывающим на героя как субъекта мнения, знания/незнания и оценки. Элементы плана персонажа, растворенные в авторском повествовании, формируют особый тип повествования — несобственно-авторское повествование.

Последняя глава представляет тип повествования как строевой элемент художественного целого. Тип повествования оказывается соотносимым с делением текста на повествование (собственно повествование), описание, рассуждение. При этом Н.А. Кожевникову интересуют способы взаимодействия разных точек зрения при изображении одного и того же фрагмента художественной действительности. Художественное целое включает в свою структуру и заглавие, поэтому последний раздел своей книги Н.А. Кожевникова посвящает заглавию как ограждению точки зрения конкретного Я в структуре образа автора.

В Заключении подводятся итоги исследования, еще раз формулируются выявленные закономерности.

Рецензируемая книга Н.А. Кожевниковой заслуживает самого пристального внимания филологов: в ней читатель найдет тонкий анализ художественных текстов, оригинальные интерпретации языковых структур, тщательное описание собранного автором литературного материала. Новая книга Н.А. Кожевниковой нужна не только специалистам, изучающим язык художественной прозы, но и современной лингвистике, которая признала своим объектом "нарративный текст", коммуникативной грамматике, в основе которой — теория коммуникативных регистров [Золотова 1982] и идея субъектной перспективы высказывания [Онипенко 1985: 1994], когнитивной лингвистике, изучающей русскую языковую картину мира. Однако, с точки зрения специалистов, работающих в этих лингвистических "областях", работе Н.А. Кожевниковой недостает полноты исчисления



языковых средств обнаружения Я конкретного повествования. Выявлены и описаны эконострические языковые средства не только на уровне лексики (например [Яковлева 1992; 1994]), но и на уровне грамматики [Апресян 1986; Падучева 1991]; исследованы возможности взаимодействия внутренней и внешней точек зрения говорящего [Булыгина 1990; Золотова 1991], обнаружены способы противопоставления Я говорящего и Ты слушающего [Пеньковский 1989], способы соединения точек зрения Я говорящего и Ты слушающего [Шмелев А. 1991]. Собранный Н.А. Кожевниковой материал позволяет увидеть тенденции в развитии и взаимодействии гипов повествования, выявить и сформулировать общие закономерности литературного процесса, обнаружить работу "метатекстовых" средств в художественном целом литературного произведения. Увидеть все эти достоинства книги Н.А. Кожевниковой можно лишь на общелингвистическом фоне, учитывая результаты лингвистических исследований последней трети XX века.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1986 — Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. М., 1986. Вып. 28.  
 Булыгина Г.В. 1990 — Я, ты и другие в русской грамматике // Res philologica. М., 1990.  
 Виноградов В.В. 1971 — О теории художественной речи. М., 1971

- Золотова Г.А. 1982 — Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.  
 Золотова Г.А. 1991 — Субъективные модификации русского предложения // Sagner's slavistische Sammlung. Bd 17. München, 1991.  
 Иванчикова Е.А. 1992 — Язык художественной литературы: синтаксическая изобразительность. Красноярск, 1992.  
 Лихачев Д.С. 1971 — О теме этой книги // В.В. Виноградов. О теории художественной речи. М., 1971.  
 Онипенко Н.К. 1985 — О субъективной перспективе каузативных конструкций // ВЯ. 1985. № 2.  
 Онипенко Н.К. 1994 — Идея субъективной перспективы в русской грамматике // Русистика сегодня. 1994. № 3.  
 Падучева Е.В. 1991 — Говорящий: субъект речи и субъект сознания // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991.  
 Пеньковский А.Б. 1989 — О семантической категории "чуждости" в русском языке // Проблемы структурной лингвистики. 1985—1987. М., 1989.  
 Степанов Ю.С. 1981 — Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981.  
 Шмелев А.Д. 1991 — Референциальные значения в поэтическом тексте // Поэтика и стилистика. 1988—1990. М., 1991.  
 Яковлева Е.С. 1992 — Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). Автореф. докт. дис... М., 1991.  
 Яковлева Е.С. 1994 — Фрагменты русской языковой картины мира. М., 1994.

Н К Онипенко

#### А.Д. Дуличенко. Русский язык конца XX столетия. München. 1994. 347 с.

Процессы, происходящие в русском языке наших дней, привлекают к себе пристальное внимание исследователей. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации в научной периодике — например, в журналах "Русская речь", "Русский язык в школе", "Русский язык за рубежом", "Русистика" (Берлин) и др., конференции по актуальным вопросам русистики.

В рецензируемой книге проф. Тартуского университета А.Д. Дуличенко эти процессы исследуются, как выражается сам автор, "по горячим следам": он фиксирует те изменения и новшества в русском языке, которые возникают буквально на наших глазах. В этой сиюминутности, внимании к сегодняшнему дню русской языковой действительности —

одно из основных достоинств работы А.Д. Дуличенко.

Особенно много места уделено в книге языковым явлениям, характерным для периода перестройки (1986—1991 гг.). Автор анализирует "лексические доминанты перестройки" (гл. II) — парадигматические и синтагматические связи таких слов, как *перестройка* (А.Д. Дуличенко называет его "суперсловом политического языка конца XX столетия"), *гласность*, *демократия*, *демократизация*, *застой*, — "смену лексических парадигм" (гл. III); здесь наиболее характерны процессы десовьетизации и деидеологизации лексики; новшества в области административно-территориальной номенклатуры, в речевой этикете. С беспокойством отмечает автор "сра-

мословие" и "грубословие" как выражение усиливающихся агрессивных тенденций в современной речи (гл. IX).

В книге нашли отражение и такие явления, как возрождение устаревшей лексики (гл. V), переименования (гл. X), фиксируемая в слове смена одних идеологических установок другими (гл. VII), новые тенденции в словообразовании (гл. XI) и синтаксисе (гл. XII), новые иноязычные заимствования (гл. XIV). Наряду с действительными новшествами автор отмечает и такие явления, которые свидетельствуют скорее о "перемене знака" (с плюса на минус или наоборот), о новом наполнении традиционных лексико-словообразовательных или синтаксических схем. Так, в главе VII показано, что словесные ярлыки типа *патриот, красно-коричневые, русофобы* и под. являются по существу продолжением предшествующей традиции наклеивания идеологических ярлыков политическим оппонентам. Материал, содержащийся в главе XII, хорошо иллюстрирует верное наблюдение автора, согласно которому старые синтаксические штампы не уходят, давая место новым, а наполняются новым лексическим содержанием: ср. лозунги типа *Больше гласности!* (по ранее существовавшей схеме *Больше социализма!*), *Всю энергию народа — перестройке!* (ср. актуальное во время Великой Отечественной войны: *Все силы — фронту!*), *Нет — новому тоталитаризму* (ср.: *Нет — войне!*) и т.п. (с. 302—303).

Несмотря на столь широкий круг проблем, затронутых автором, книга А.Д. Дуличенко — это, скорее, материалы к изучению русского языка конца XX столетия, сопровождаемые комментариями, которые носят публицистический, а нередко и чисто вкусовой характер. На последнее обстоятельство указывает и сам автор. В предисловии он пишет: "...текст писался носителем русского языка и одновременно языковедом, который стремился выразить отношение к материалу и с первой и со второй позиций. Признаемся: порою трудно было удержаться, чтобы не выразить свою тревогу относительно нынешнего состояния русского языка — настолько оно представляется нам критическим, а в некотором смысле — и кризисным" (с. XII).

Название книги значительно шире ее содержания: во-первых, внимание автора сосредоточено главным образом на сравнительно небольшом (хотя и важном в социальном отношении) отрезке времени, а не на всем "конце XX столетия"; во-вторых, описываются процессы, происходящие в лексике (главы, посвященные словообразованию и синтаксису, весьма фрагментарны, о чем свидетель-

ствуют и сами их названия: "Кое-что о словообразовательных потенциях..." и "Два слова о синтаксисе..."); в-третьих, объектом описания явился почти исключительно язык прессы — другие речевые стили и жанры остаются за рамками книги.

В том, что читателю предложены именно материалы и наблюдения автора, убеждает и композиция книги, лишенная какого-либо систематизирующего начала. Так, после несомненно центральных глав о лексических доминантах перестройки и о смене лексических парадигм идут логически неупорядоченные наблюдения над лингвистически разнородным материалом: над изменениями в лексической сочетаемости, возрождением старой лексики (например, слов с первой частью *благо-*), новшествами в политической терминологии, вводимыми в оборот демократической властью; от явлений речевой агрессии — срамословия и грубословия — автор переходит к описанию массовых переименований, и соответствующая глава (X) так и называется: "От агрессии слов к ономастическому перевороту", и читателю остается неясной связь между этими столь далекими друг от друга явлениями; глава об одном из самых характерных и социально значимых процессов — заимствовании иноязычной лексики, активизации ее употребления — помещена в конце книги.

Книга А.Д. Дуличенко явно, открыто социолингвистична: ведь языковые явления описываются здесь в связи с явлениями социальными. Однако научный контекст, в который должно быть вписано это социолингвистическое сочинение, обозначен автором недостаточно. В I главе, которая называется весьма обязывающе: "Русский язык и социальные потрясения XX столетия" и которая, по всей видимости, должна была бы играть роль теоретического введения, нет даже кратного описания того, что соответствует названию главы, а перечень имен исследователей-предшественников случаен и далеко не полон. Если судить по этой главе, после С.О. Карцевского, А.М. Селищева, Е.Д. Поливанова и немногих других ученых старшего поколения никто из русистов (за исключением разве что югославского лингвиста Б. Тошовича: его работа упомянута на с. 5 и 17) не интересовался проблемами взаимосвязи изменений в русском языке и социальных преобразований в обществе, "обслуживаемом" этим языком. Это, конечно, не так: например, в 60—70-е годы под руководством М.В. Панова был осуществлен цикл работ, опубликованный в четырехтомной монографии "Русский язык и советское общество" (М., 1968) и многочисленных сборниках; спе-

циалистам хорошо известны исследования современной разговорной речи Е.А. Земской (и ее группы), О.А. Лаптевой, О.Б. Сиротиной; разработка актуальных проблем русистики под социальным углом зрения интенсивно ведется в научных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Екатеринбургa и других городов, а также рядом зарубежных русистов.

Отсутствие подобной информации — хотя бы в виде упоминания соответствующих работ — в книге А.Д. Дуличенко создает ложное впечатление о ее научном и жанровом новаторстве. Кроме того, высказываемые автором положения, касающиеся связи языка и общества, при отсутствии соответствующего научного контекста звучат как сформулированные впервые: ср., например, I главу, где говорится о формах влияния социального на язык, о разном характере такого влияния в зависимости от масштаба социальных процессов, начало III главы, содержащее замечания о более медленном темпе языковых изменений по сравнению с темпом изменений социальных (наблюдение, высказывавшееся еще Е.Д. Поливановым).

С другой стороны, ряд явлений и процессов, требующих теоретико-лингвистического осмысления, остается без авторских комментариев или же снабжается вкусовыми замечаниями, без попытки анализа наблюдаемых фактов.

Вот несколько примеров.

Несмотря на декларированный в начале книги (с. 1 и след.) социалингвистический подход к интерпретации изменений в современном русском языке, глава об иноязычных заимствованиях не содержит анализа социальных причин интенсификации этого процесса в 80—90-х годах XX в. (вместо этого — чисто оценочные замечания автора, не подкрепляемые лингвистическими аргументами, типа: «...средства массовой информации внедряют в массовое сознание и речевое употребление в английской фонетической "упаковке" *компьютер, дисплей* и т.д.» (с. 321); в употреблении иностранных слов сказывается "гордыня знающих иностранные языки перед незнающими таких" (там же), или же не вполне понятные утверждения вроде такого: "Русский язык нельзя считать пуристическим языком..." — с. 316).

Рассматривая "смену лексических парадигм" (гл. III), А.Д. Дуличенко придерживается такого понимания термина "лексическая парадигма": "совокупность лексем, по-другому — лексическое или лексико-словообразовательное гнездо, поле, группа, предназначенное для выражения предметов [так у

автора. — Л.К.], отношений, свойств и т.д. какой-либо одной социальной сферы" (с. 97). В этом определении почти каждый компонент требует разъяснений: почему автор считает синонимами давно употребляющиеся в лингвистике в разном значении термины "гнездо" и "поле" и оба их приравнивает по смыслу к слову "группа", что означает в данном контексте предикат "предназначенное", что имеется в виду под социальной сферой и почему слова не могут выражать "предметы, отношения и свойства" не социальной, а, скажем, личной сферы, частной жизни и т.п.?

И главный вопрос: стоит ли так расширительно толковать термин "парадигма", имеющий в современной лингвистике достаточно ясные очертания? По-видимому, главное для понятия парадигмы — отношения между составляющими ее компонентами (ср. парадигмы склонения и спряжения). Каковы же отношения между компонентами "лексической парадигмы"? Об этом в книге ничего не сказано.

Еще один пример недостаточной лингвистической интерпретации описываемых явлений. В V главе автор приводит многочисленные примеры, свидетельствующие о "возвращении забытого", в частности, об активизации употребления слов типа *милосердие, сострадание, благотворительность*. Авторскому описанию этого процесса, на мой взгляд, недостает трезвой оценки: А.Д. Дуличенко считает, что "слова такого рода могут сыграть неоценимую помощь [так у автора. — Л.К.] в обогащении внутреннего мира русского человека, в установлении между людьми доброжелательных, дружеских отношений" (с. 161). На самом деле в прессе, в публицистике подобные слова и образуемые ими словосочетания быстро становятся очередными штампами, за которыми нет реального содержания.

Все новое, что появляется в русском языке наших дней, естественно, вызывает у автора книги острый интерес. Это относится, в частности, к словообразовательным неологизмам и, в связи с этим, к словопроизводственным возможностям русского языка. Однако новообразования описываются (в гл. XI) без какой-либо отчетливо просматриваемой системы: автор идет от факта к факту, от одной группы текстовых иллюстраций к другим (хотя сами по себе эти факты и иллюстрации весьма ценны как материал для лингвистического анализа).

Наряду с пополнением литературного языка словообразовательными неологизмами и новыми иноязычными словами в последнее

десятилетие наблюдается интенсификация процессов так называемого внутреннего заимствования, то есть использования в литературном языке диалектных, просторечных, жаргонных лексических элементов. Как отмечают исследователи, одно из характерных явлений последнего времени — жаргонизация устно-разговорной формы литературного языка, "интеллигентской" речи (см. об этом, например [Винокур 1980; Разновидности 1988; Крысин 1989; Швейцер 1983] и др.). К сожалению, эти процессы не привлекли к себе внимания автора рецензируемой книги. Между тем, кое-что из того, что А.Д. Дуличенко относит к словообразовательным неологизмам, достаточно давно существует в некодифицируемых сферах русского национального языка (жаргонах, городском просторечии) и лишь в последнее время стало использоваться и в литературных, преимущественно публицистических, текстах. Таково, например, издавна существовавшее в артистическом арго словечко *оживляж* (с. 279), жаргонное *теневики* (там же), шутовское образование *хрущобы* (с. 286), возраст которого — не менее тридцати лет; квалифицируемое авторами как "введенное демократами" оценочное слово *коммуняки* (с. 283) в просторечии существует несколько десятилетий и, стало быть, не может рассматриваться как новообразование, возникшее в литературном языке в годы перестройки.

О словообразовательных элементах *парт-, гос-, спец-, сов-* сказано, что они необычайно активизировались именно в последнее время (с. 290). Но это не так: наиболее многочисленны и разнообразны по семантике образования с этими элементами именно в советское, доперестроечное время (см. об этом, в частности [Русский язык 1968; Крысин 1990]).

Несколько слов — об источниках, из которых А.Д. Дуличенко черпал материал для своих наблюдений и выводов. Большая часть этого материала извлечена из газет и журналов "правого" толка: "День", "Русский вестник", "Русские ведомости", "Советская Россия", "Наш современник" и другие, хотя в списке источников (с. 338—342) присутствуют и иные издания. Столь односторонний отбор был бы оправдан в том случае, если бы автор изучал языковые особенности только такого рода прессы. Но ведь он задался целью показать, каков "русский язык конца XX столетия", и естественно, что в качестве образцов этого языка должны фигурировать тексты во всем их разнообразии.

В заключение — несколько мелких замечаний

Во вступительной статье, которую автор назвал "Вместо предисловия", сообщается, что «к книге дано "Приложение", где помещены официальные и авторские тексты и высказывания, касающиеся вызванных перестройкой лингвистических проблем» (с. XII). Однако такого приложения в книге нет. На с. 100 авторство выпусков "Новые слова и значения" ошибочно приписано московскому Институту русского языка (в действительности они были подготовлены группой ленинградских ученых); телевизионная программа "Итоги" на с. 312 "отдана" телевидению "Останкино" (на самом деле — НТВ). На с. 267 говорится о неведомом "греко-латинском языке". Слово сочетание *эта страна*, употребляемое вместо *наша (моя) страна*, на с. 306 почему-то названо метафорой. Несколько раз в тексте книги автор сетует на *о к ц и д е н т а л и з а ц и ю* современного русского языка, не разъясняя этого термина; в контексте общего неприятия автором "иностранины" это особенно удивительно.

Подытоживая сказанное, можно заключить, что книга А.Д. Дуличенко — полезное (хотя и одностороннее) собрание материалов и наблюдений, касающихся современного состояния русского языка. Для научного описания процессов, происходящих в русском языке на исходе двадцатого века, необходимо дальнейшее осмысление этих материалов и наблюдений, их объективный лингвистический и социолингвистический анализ.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Винокур 1980 — Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. М., 1980.
- Крысин 1989 — Крысин Л.П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. М., 1989.
- Крысин 1990 — Крысин Л.П. Из истории употребления слов *особый* и *специальный* // Русистика. 1990. № 2.
- Разновидности 1988 — Разновидности городской устной речи / Под ред. Е.А. Земской и Д.Н. Шмелева. М., 1988.
- Русский язык 1968 — Русский язык и советское общество. Кн. I—IV / Под ред. М.В. Панова. М., 1968.
- Русский язык 1991 — Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. Доклады Всесоюзной научной конференции. Части I—II. М., 1991.
- Швейцер 1983 — Швейцер А.Д. Социальная дифференциация английского языка в США. М., 1983.

Л.П. Крысин

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 24 по 26 января 1995 года в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова на филологическом факультете проходила Международная юбилейная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения академика Виктора Владимировича Виноградова. В работе сессии приняли участие более 300 ученых-русистов из России и из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

На торжественном открытии участников юбилейной сессии приветствовали ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, академик-секретарь ОЛЯ РАН Е.П. Челышев, президент МАПРЯЛ В.Г. Костомаров, представители Правительства России. Своими воспоминаниями о творческой атмосфере, царившей в семье В.В. Виноградова, поделилась народная артистка СССР И.К. Архипова, выступление которой завершило торжественную часть.

Задачей сессии было обсуждение многосторонней деятельности академика В.В. Виноградова как ученого-филолога, его вклада в науку. Юбилейная сессия привлекла ученых-лингвистов разных направлений, литературоведов, чьи научные изыскания предполагают обращение к языку художественной литературы; специалистов в области преподавания русского языка как иностранного. Многочисленность и разнородность участников сессии во многом определила ее научное содержание. Центральной идеей, организовавшей содержательную сторону работы сессии, было стремление соотнести идеи В.В. Виноградова с современным состоянием филологической научной мысли.

На пленарное заседание было вынесено четыре доклада. В докладе А.П. Чудакова (Москва) были перечислены семь свойств научного метода В.В. Виноградова: разнообразие филологических интересов, знание текстов, множественность сопоставлений анализируемого текста с другими, полнота учета сделанного предшественниками, внимание к мнению современников

текста, объективность в оценке научных школ и трудов различных ученых, синтетизм в подходе к изучению слова. Академик Н.И. Толстой (Москва) в докладе "Язык – литература – культура – национальное самосознание" продемонстрировал действенность перенесения методики парадигматического анализа, применяемого обычно в лингвистике, в сферу наук о литературе, культуре и национальном самосознании. В.И. Кулешов (Москва) в докладе "В.В. Виноградов – пушкинист" очертил круг литературоведческих интересов ученого, уделив особое внимание его учению об образе автора, о типах рассказчиков, об образе лирического героя. Е.В. Падучева (Москва) в докладе "Лингвистика для литературоведов: отвечая на вызов М.М. Бахтина" утверждала, что на современном этапе лингвисты могут внести вклад в изучение полифонии художественного повествования на основе теории нарратива.

Далее (25–26 января) работа сессии проходила в трех секциях: "Лингвистика", "Язык и литература", "Русский язык как иностранный вопросы описания и преподавания".

В рамках направлений "Лингвистика" работали семь подсекций.

На заседаниях подсекции "Методы лингвистических исследований" обсуждалась роль лингвистической концепции В.В. Виноградова в формировании направлений современных исследований (изучение проблем текста, субъективной перспективы высказывания, соотношения универсального и специфического в языке; обращение к понятию структуры языковой личности). С докладами выступили Г.А. Золотова, Н.К. Ониненко, Е.А. Брызгунова (Москва).

В докладах подсекции "История языка" рассматривались вопросы об эволюции взглядов В.В. Виноградова на судьбу древнерусского языка от представления о трех типах письменного языка до утверждения о двух основных его видах, или стилях, о статусе исторической фразеологии

как самостоятельной научной дисциплины, о прерывности книжно-письменной русской традиции [М.П. Ремнева, И.Г. Добродомов (Москва), А. Кречмер (Германия)]. В докладе Е.М. Верещагина (Москва) в дискуссионных целях были перечислены основные жанры древнерусской книжности – скриптурный, литургический, (веро)учительный, проповеднический, житийный, канонико-юридический, мемориальный, научный, бытовой – и была выстроена иерархия жанров по степени их авторитетности.

В ходе работы круглых столов "История русского литературного языка" и "Историческая грамматика" обсуждались следующие проблемы: вопрос о специфике социолингвистической ситуации Древней Руси, о языковой норме и эволюции стилевой модели, о статусе летописных текстов и деловой письменности, о задачах исторической лексикологии, о статусе древненовгородского диалекта.

Современная лексикология и связанные с ней проблемы были представлены в работе подсекции "Лексика. Фразеология. Лексикография". Доклад В.В. Морковкина (Москва) был посвящен выделению типов единиц лексической системы, в нем предлагался новый альтернативный подход к пониманию этих единиц. В докладе Б.Ю. Нормана (Белоруссия) говорилось о соотношении двух подходов к изучению значения слова. Подход "со стороны лексики" – это описание синтаксических условий функционирования лексического значения. Подход "со стороны синтаксиса" – это описание лексических условий заполнения синтаксических позиций. Доклад Е.Г. Борисовой (Москва) был посвящен рассмотрению понятия коллокации, основным свойством которой является семантическая непредсказуемость выбора одного из компонентов устойчивого сочетания. В докладе Т.Н. Скляревой (С.-Петербург) была представлена к обсуждению новая система функциональных помет в толковом словаре, опирающаяся на обоснованное В.В. Виноградовым понятие лексико-стилистической системы как объекта лексикографического описания.

Обсуждение центральных проблем лексикологии: вопроса о внутренней форме слова, о задачах семасиологии – открыло заседание круглого стола "Лексика". Далее было рассмотрено отражение в трудах В.В. Виноградова основных лексикологических понятий и категорий.

В работе круглого стола "Фразеология" были предложены к обсуждению следующие темы: фразеологические сочетания как особый тип семантической организации лексики, проблема происхождения описательных предикатов.

На заседаниях круглого стола "Лексикография" обсуждались проблемы лексикографического описания сложных эпитетов и многозначных существительных, был поставлен вопрос о соотношении словарей и современной им лексики, была отмечена роль идей В.В. Виноградова в развитии лексикографии.

В выступлении А.Н. Тихонова (Москва) в рамках подсекции "Словообразование" были затронуты проблемы системной организации лексики, в которой участвуют объединения производных слов. Производные слова перенимают, "отражают" способность исходных слов вступать в системные отношения. Подобные явления были названы В.В. Виноградовым "отраженной" омонимией, синонимией, антонимией. И.С. Улуханов (Москва) предложил возможное понимание словообразовательной системы как совокупности реализованных и потенциальных единиц. В докладе говорилось об изучении функционального соотношения разных аффиксов внутри словообразовательных категорий, об отношении словообразования и синхронии, диахронии, истории. Развитие идей В.В. Виноградова в современных исследованиях в области словообразования (изучение деривационного потенциала многозначных адъективов, описание префиксальных глаголов) было показано в выступлениях Е.С. Федотовой (Украина) и Н.Е. Ананьевой (Москва).

В рамках подсекции "Части речи. Формы слов. Морфологические категории" обсуждались современные тенденции в области морфологии русского языка и различные подходы к ее изучению. Все выступавшие отметили определяющую роль "грамматического учения о слове" В.В. Виноградова для формирования современных лингвистических концепций в русской морфологии. Е.В. Клобуков (Москва) представил смысловой потенциал русских морфологических категорий с учетом пяти семантических доминант: сфера номинации, объем (уровень) номинации, сигнификативный ранг номинации, референтный тип номинации и способ номинации. Доклад А.В. Бондарко (С.-Петербург) был посвящен идее времени, которая находит отражение в нескольких семантических категориях: темпо-

ральности, таксиса, аспектуальности, временной локализованности и временной последовательности. В докладе С. Димитровой (Болгария) была высказана мысль о том, что современная лингвистика нуждается в стройной концепции исключений. Докладчица отметила две противоположные тенденции: к превращению исключений в правила широкого охвата и к ликвидации исключений. В докладе В. С. Храковского (С.-Петербург) была приведена семантическая и формальная аргументация в пользу того, что глагольная форма, употребляющаяся в зависимой части условной конструкции типа *Приди поезд без опоздания, мы бы успели на первое заседание*, является нефинитной глагольной формой, весьма похожей на деепричастие.

В работе круглого стола "Глагол" обсуждалось содержание граммем несовершенного и совершенного вида в русском языке, подчеркивалась роль концепции В.В. Виноградова в изучении вида глагола, говорилось о гибридном характере причастных форм и о причастиях будущего времени в русском языке. Особое внимание вызывало сообщение М. А. Шелякина (Эстония) "О типах употреблении формы 2-го лица ед. числа изъявительного наклонения в русском языке". Докладчик предложил выделять два типа употребления этой формы: обобщенно-личное и переносное.

В рамках круглого стола "Части речи" была подчеркнута побудительная сила учения В.В. Виноградова о смысловой структуре слова. В ходе работы обсуждались вопросы о взаимосвязи формальных и семантических классов русских слов, о необходимости создания семантизированного словообразовательного словаря русского языка. Особый интерес вызвало выступление Ю. П. Князева (Новгород) об особенностях абсолютного употребления форм сравнительной степени в русском языке.

В сообщениях на заседаниях круглого стола "Незнаменательные слова" говорилось о разграничении сочинительных и подчинительных союзов, об употреблении частицы *же* в различных типах текстов, об эволюции некоторых адвербиальных предлогов.

Общее заседание подсекции "Синтаксис" открылось коллективным докладом В. А. Белошапковой (Москва) и Т. В. Шмелевой (Красноярск), в котором были перечислены глобальные задачи, поставленные В.В. Виноградовым перед синтаксической наукой, и указаны опыты решения этих задач различ-

ными учеными. Теория изучения проблем категории модальности в зарубежных славянских странах рассматривалась в докладе А. Г. Широковой (Москва). В ходе работы обсуждались вопросы о роли связочных глаголов в грамматической системе русского языка, об отражении идей В.В. Виноградова о сочетаемости в современной лингвистической науке и лексикографической практике.

На заседаниях круглых столов "Синтаксические единицы" и "Сложное предложение" обсуждались проблемы, связанные с соотношением различных синтаксических единиц, вопросы о парадигме предложения, о семантических классах предложений, о соотношении различных формальных типов предложений.

В ходе работы подсекции "Культура речи. Функциональные стили. Орфография" было предложено уделять большее внимание устной литературной речи и наблюдению речи городских центров, полнее привлекать данные обследования диалектов для сравнения с выявленными особенностями разговорной литературной речи. В докладах были рассмотрены направления современной теории языковой культуры (культура как состояние языка и речи и культура как деятельность, совершенствование языка и речи), вопрос об "элитарном" и "среднелитературном" типах речевых культур в разных слоях современного общества, были очерчены сущностные признаки речевого этикета и определено его место в теории общения. В целом пафос выступлений был направлен на борьбу за культуру речи, культуру письма и культуру общения.

В секции "Язык и литература" семь круглых столов объединили многочисленные доклады и сообщения по следующим темам: "Стилистика. Наука о языке художественной литературы", "Проблемы текста и дискурса", "Поэтика. Теория художественной речи", "В.В. Виноградов в научном диалоге", "Категория образа автора. Теория и конкретные анализы", "Художественная проза: общие вопросы и конкретные анализы", "Русский поэтический мир: общие вопросы и конкретные анализы".

Пленарное заседание секции отрыл доклад О. Г. Ревзиной (Москва) "Язык и литература: учение академика В.В. Виноградова в свете современного гуманитарного знания". Один из основных тезисов доклада – в трудах Виноградова видится синтез самого жизнеспособного из того, что явлено в научных парадигмах XX века – вновь и вновь подтверждался аргументами других докладчиков.

В. В. Кур и л о в (Ростов-на-Дону) выделил ряд методологических принципов исследовательской деятельности В.В. Виноградова (верность объекту, конкретизация и структурализация проблемы) и показал, как полезно использование этих принципов для решения спорных вопросов "постсоветской теории литературы". С. В. К а л а ч е в а (Москва) отметила, что, оставаясь лингвистом, В.В. Виноградов тем не менее всю жизнь занимался литературоведением и всегда подчеркивал необходимость выделения чисто литературоведческих аспектов при анализе стиля любого художественного произведения. М. Р е в (Венгрия) показала на материале рассказов А.С. Суворина и А.П. Чехова, как практически можно применить принципы анализа художественного текста в духе учения В.В. Виноградова.

На совместном заседании круглых столов, посвященных проблемам науки о языке художественной литературы и проблемам текста и дискурса, практически во всех выступлениях прозвучала мысль о важности исследований Виноградова в области стилистики и языка художественной литературы для современного состояния филологической мысли. Совместная работа этих двух круглых столов отличалась интенсивностью и концептуальной насыщенностью. Обсуждение следующих вопросов было предложено вниманию собравшихся: разные функциональные сферы литературного русского языка в предстании В.В. Виноградова, В.В. Виноградов и классическая теория словесности, риторика художественного текста в научном наследии В.В. Виноградова, исследование В.В. Виноградова и проблемы организации научного текста, В.В. Виноградов о лексической и грамматической структуре текста, наследие В.В. Виноградова в учебных планах филологических факультетов. С докладами по этим вопросам выступили Е. А. Б а ж е н о в а (Пермь), Н.И. Белунова (С.-Петербург), В.Г. Белянин (Москва), Т.Ю. Вожова (Воронеж), В.В. Ворожбитова (Сочи), В.П. Нерознак (Москва), А.К. Панфилов (Москва), С. Сятковский (Польша), А.Е. Супрун (Белоруссия), А.А. Чувакин (Барнаул), И.М. Широин (Москва). Современной теории текста и дискурса были посвящены доклады В.Д. Бондалетова (Пенза), М.Я. Дымарского (С.-Петербург), В.Г. Костомарова и Н.Д. Бурвиковой (Москва), В.В. Красных (Москва), Е.М. Кубаревой (Самара), Э. Лендваи (Венгрия).

Среди докладов, прозвучавших во время работы круглого стола "Поэтика. Теория художественной ре-

чи", хочется особо отметить доклад А.А. Смирнова (Москва), посвященный термину "поэтика" в литературоведческой систематике В.В. Виноградова. Виноградов видит в поэтике средство для различения "поэтического" от "непоэтического", средство для определения объективных критериев ценности текста в противовес субъективности текущей критики. Проблемам адекватности литературной критики посвящен доклад А.Э. Еремеева (Омск). О связи идей В.В. Виноградова с различными аспектами теории художественной речи говорилось в докладах А.И. Журавлевой (Москва) и И.В. Труфановой (Елец).

С точки зрения Н.Г. Комлева (Москва), являвшегося сопредседателем круглого стола "В.В. Виноградов в научном диалоге", основные принципы филологической концепции Виноградова заключаются прежде всего в особой оценке роли литературного языка в жизни нации, а также в ведущей роли художественной литературы при формировании и развитии этого языка. Размышлениям о месте концепций В.В. Виноградова в научном диалоге 1920–40-х гг. были посвящены доклады Д.Д. Ивлева (Латвия), Б. Косановича (Югославия), М.В. Умновой (Москва). В.А. Беглов (Стерлитамак) предпринял в духе концепций В.В. Виноградова попытку терминологического разграничения некоторых литературоведческих понятий.

Круглый стол "Категория образа автора. Теория и конкретные анализы" отличался разнообразием анализируемого материала и предложенных подходов. Все выступления были сходны лишь в одном – в интересе к виноградовской концепции образа автора, в попытках осмысления и переосмысления этой концепции. О самых разнообразных манифестациях категории образа автора в произведениях разных эпох и о разных возможностях осмысления этой категории говорилось в докладах О.А. Анциферовой (Иваново), В.Н. Виноградовой (Москва), М.В. Драгомирецкой (Москва), Е.И. Ревзина (Москва), А.П. Романенко (Саратов), Л.К. Салиевой (Москва), З.С. Санджи-Гаряевой (Саратов), А. Цоневой (Болгария).

В рамках круглого стола, посвященного проблемам художественной прозы, оживленную дискуссию вызвал доклад А. Мурье (Индия). В докладе был представлен опыт глубокого и всестороннего анализа работ



Виноградова, посвященных вопросам поэтики. В докладах Н. Л. Вершининой (Псков), Л. В. Поляковой (Тамбов), О. И. Фoniaковой (С.-Петербург) было показано, как различные аспекты теории художественной прозы, разработанные В. В. Виноградовым, "служат компасом", по выражению одного из докладчиков, для анализа различных художественных произведений.

Оживленно и насыщенно проходила работа круглого стола "Русский поэтический мир: общие вопросы и конкретные анализы". В докладе Г. В. Краснова (Коломна) рассматривалось использование концепции лирического "я" Виноградова при анализе поэтического текста. Интересные доклады были сделаны Г. В. Зыковой (Москва), И. С. Кузнецовым (Москва), К. Эмерсоном (США) в связи с пушкинской эпохой и пушкинским поэтическим языком – вклад В. В. Виноградова в изучение этих тем трудно переоценить. Анализ поэтических текстов были посвящены доклады Л. В. Зубовой (С.-Петербург), Б. Нилльсон и И. Е. Намакштанской (Швеция), Р. С. Спивак (Пермь).

Работа секции "Язык и литература" была напряженной и эффективной, обсуждения докладов нередко выходили за рамки конкретной темы и принимали характер совместных научных размышлений о путях и задачах исследований русской словесности.

На пленарном заседании секции "Русский язык как иностранный: вопросы описания и преподавания" М. Н. Вятутнев (Москва) подробно остановился на проблеме когнитивности в методике преподавания языка. У каждого учащегося формируется свой специфический набор умственных операций, которые используются им при усвоении языковых средств и выборе необходимых из них для понимания и порождения высказывания. "Стратегия усвоения" иностранного языка не может быть понята в полной мере без описания взаимосвязей между языком и когнитивными процессами. Т. М. Дорофеева (Москва) в своем докладе развивала мысль о том, что система языка в курсе, обращенном к носителям других языков, должна быть представлена как коммуникативно ориентированная, отражающая законы использования языковых единиц в процессе всех видов речевой деятельности, раскрывая соотношение смысла высказывания и его языковой формы. Языковое правило должно включать те

ориентиры, которые могут обеспечить адекватную речевую деятельность. В докладе Ч. Э. Таунсенда (США), в интересном ракурсе была представлена проблема использования русского языка в преподавании чешского.

Продолжили работу секции заседания трех круглых столов.

Круглый стол "Методика". Разработке новых концепций учебника было посвящено сообщение И. А. Осиповой (Венгрия). В нем была представлена концепция курса, охватывающего несколько этапов обучения, удачно реализованная в учебнике "Здравствуйте!" (М. Колло, И. Осипова, И. Вуйовиц). В основу концепции положено представление о языке учебника как о замкнутой языковой модели, которая должна быть пригодна для общения изучающего язык с носителями языка (а в условиях обучения – с другими изучающими язык иностранцами) в типичных повседневных ситуациях. Оригинален по замыслу и воплощению видеокурс, ставший своей задачей демонстрацию "реальной жизни" изученных языковых единиц (записи подлинных интервью, небольших подлинных сцен общения и т. п.). И очень ценно, что информация учебника представляет Россию как звено общемировой культуры.

В ряде докладов были рассмотрены общие и частные аспекты проблемы организации и презентации языкового материала и методической стратегии преподавания. Доклад Л. П. Клобуковой (Москва) был посвящен феномену "языковой личности" применительно к теории и практике преподавания РКИ (русского языка как иностранного). В развитие данного понятия выдвигается понятие "речевой личности". Любая языковая личность представляет собой многокомпонентную парадигму речевых личностей. Языковые личности дифференцируются 1) по уровню языковых знаний, 2) по степени владения речевой деятельностью, 3) по темам, сферам и коммуникативным ситуациям, в рамках которых происходит речевое общение.

Актуальнейшие вопросы новой стратегии преподавания русского языка в странах бывшего СССР и странах Восточной Европы в изменившейся языковой ситуации были рассмотрены в сообщении Н. П. Исаева (Москва). Всестороннее изучение ситуации и поиск новых путей интенсификации обучения русскому языку приводят к выводу, что повысить эффективность преподавания можно за счет 1) максимальной минимизации описания, вплоть до отказа от принятого ныне полного представления грамматической системы, 2) более последовательного пере-

хода от грамматических правил к правилам употребления, 3) иной организации и презентации языкового материала в учебнике (прорабатываемая с преподавателем его часть, должна содержать механизм усвоения предназначенной для самостоятельной работы части материала, 4) тестирующий материал должен более явно демонстрировать степень прогресса в изучении языка.

В сообщении Э. Г. А з и м о в а (Москва) речь шла о перспективах использования компьютерных программ в обучении иностранным языкам, о постановке задачи воссоздания аналога языковой среды, о стимулировании реального общения учащихся и носителей языка посредством компьютерных сетей, использования мультимедиа (учебных средств на дисках, которые позволяют сочетать визуальное изображение с компьютерной обработкой диалога и др.). Было показано, как компьютерные программы вписываются в традиционные и новейшие модели обучения иностранным языкам, в какой степени они могут учитывать типологические черты русского литературного языка как объекта изучения.

Л. И. Х а р ч е н к о в а (С.-Петербург) проиллюстрировала эффективность обращения к методу содержательного моделирования текста, К. С т р е л к о в а (Словакия) представила серию контрольных тестов, подготовленную в одном из университетов Словакии, И. Б а к о н и (Венгрия) познакомил с опытом использования технических средств обучения для интенсификации учебного процесса на среднем и продвинутом этапах обучения.

Вопросу создания гибкой модели обучения профессиональному общению деловых людей было посвящено сообщение И. В. М и х а л к и н о й (Москва). Разрабатывая модель обучения конкретной социальной группы, необходимо предварительно создать базовую модель языковой личности, содержащей общие для всех представителей этой группы компоненты коммуникативной компетенции. Определение предметного содержания модели требует выделения тематического ядра, которое в свою очередь раскрывается определенным набором пропозиций и их вербальных реализаций. Сообщение О. О. С м и р н о в о й (Москва) было связано с той же проблемой, в нем речь шла о разработке модели профессиональной иноязычной деятельности журналистов-международников. Такая модель, базирующаяся на исследовании профессиональных языковых интенций, позволяет отобрать и организовать языковые средства в учебнике адекватно реальным потребностям учащихся.

К р у г л ы й     с т о л     " Т е к с т .  
С т и л и с т и к а " . Главным предметом обсуждения была проблема исследования текста как единицы обучения. О. А. О л е й - н и к (Волгоград) представила модель комплексного описания текста по специальности. В сообщении И. И. Я ц е н к о (Москва) был рассмотрен вопрос интерпретации художественного текста и выявления его смыслового ядра с опорой на анализ его семантической композиции. Раскрытие характера последней служат специальные приемы в построении повествования. Методически очень важно выделить такие "указатели семантической композиции текста" и определить их типологию. В сообщении было представлен интересный опыт частичного решения данной проблемы. Ведущим тезисом сообщения Е. Р. К о р н и е н к о (Москва) была мысль о необходимости формирования у учащихся умения адекватно воспринимать художественный текст. Это требует больших фоновых знаний о стране изучаемого языка и его культуре, поскольку в художественном тексте, как указывал В. В. Виноградов, получает отражение не только идейно-творческий замысел автора, но и общественный опыт народа, говорящего на этом языке. В сообщении Н. М. С е р г е е в о й (Ростов-на-Дону), получили развитие те же идеи. О. Л е в и ц к а я (Польша) дала анализ типологических стилистических особенностей религиозных тестов, используемых в практике преподавания русского языка филологам-русистам в Люблинском католическом университете.

К р у г л ы й     с т о л     " Г р а м м а -  
т и к а   и   л е к с и к а " . В сообщении Т. В. С о л т а н о в с к о й (Москва) были рассмотрены фоновые особенности русской ономастической лексики. Мотивировка выбора имен собственных, как показал анализ, чаще обусловлена факторами культурного, исторического и социального характера. В фоновых особенностях лексики раскрывается мировоззрение, социальный и культурный опыт носителей языка, а также эмоционально-ценностная ориентация участников коммуникативного акта. В сообщении дан интересный анализ коннотативных смыслов исследуемой лексики и механизма их образования. Сообщение А. А. К а р а - в а н о в а (Москва) было посвящено проблемам аспектологии – феномену употребления глаголов совершенного вида в значении настоящего времени. Были приведены контексты употребления совершенного вида в этом значении. Найти простое и логичное объяснение такого употребления глагола позволяет обращение к истории русского

языка. С развитием противопоставления русских глаголов по виду, значение настоящего времени закрепляется за несовершенным видом, а совершенный вид в этом значении сохраняется лишь там, где он приобретает модусную характеристику. В сообщении Чан Ким Бао (Вьетнам) был дан сопоставительный анализ функций сочинительных союзов как текстовых скреп в русском и вьетнамском языках.

Все сообщения, представленные на заседаниях круглых столов, вызвали живое обсуждение и заинтересованный обмен мнениями.

Заключительное пленарное заседание конференции открылось докладом В.Г. Костомарова "Академик В.В. Виноградов о русском языке как явлении мировой культуры". Основная мысль доклада состояла в утверждении того, что труды В.В. Виноградова о истории русского литературного языка, языка великой русской литературы, исследование им самобытной русской семантической системы позволяют вскрыть в полном объеме место и значимость русского языка в общечеловеческой культуре.

О значении вклада Виноградова в становление и формирование китайской, монгольской, албанской и армянской русистики говорилось в выступлениях Чжан Хойсень (Китай), Ц. Саранцацрал (Монголия), В. Терзич (Югославия), Д. Джангацпанян (Армения).

Во второй части пленарного заседания состоялись выступления руководителей секций. Руководитель секции "Лингвистика" и один из главных ее организаторов В.А. Белошапкина выразила общее удовлетворение тем, что сессия была не юбилейно-торжественной, а деловой

и эффективной. Прозвучавшие на конференции доклады можно условно поделить на три ветви – это либо опыты анализа трудов и идей В.В. Виноградова с позиции современных научных воззрений, либо развитие какой-то виноградовской мысли или темы, либо выступления, отражающие результаты собственных изысканий докладчиков, которые, по их мнению, могли бы быть интересны юбиляру. Общее направление сессии определили доклады первого типа, в них и в дискуссиях вокруг них непосредственно реализовалось характерное для участников данной сессии стремление обратиться мыслью к истории науки и рассмотреть наследие В.В. Виноградова в этом контексте. В.А. Белошапкина отметила также большое количество участников сессии и еще большее количество поданных тезисов. Такой интерес к виноградовскому наследию безусловно является свидетельством современности учения Виноградова и его актуальности для филологической мысли сегодня. Руководитель секции "Русский язык как иностранный: вопросы описания и преподавания" Г.И. Володина поддержала высокую оценку работы конференции и выразила сердечную благодарность ее участникам. В выступлении руководителя секции "Язык и литература" О.Г. Ревзиной как характерные черты работы секции были названы интеграция, диалог и научное воздействие.

Конференция завершилась выступлением Н.М. Шанского (Москва), рассказавшего о поездке в Зарайск, где родился В. Виноградов и где ныне его имя присвоено педагогическому училищу.

*О.С. Артюх, Е.В. Визгина, Г.И. Володина,  
Е.И. Ревзин (Москва)*

**УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ,  
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ "ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ" В 1995 г.**

СТАТЬИ

Алексеев М. Е. К реконструкции общедагестанской именной морфологии .....	3
Алпатов В. М. Литературный язык в России и Японии (Опыт сопоставительного анализа) .....	1
Апресян В. Ю. <i>Для и ради</i> : сходства и различия .....	3
Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания..	1
Апресян Ю. Д. Проблема фактивности: <i>знать</i> и его синонимы .....	4
Бирих А. К диахроническому анализу фразеосемантических полей .....	4
Виноградов В. В. Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования .....	1
Галинская Е. А. Рефлексы фонемы <ѣ> в смоленском диалекте начала XVII в. ..	4
Герд А. С. Русская историческая диалектология в кругу смежных дисциплин (на материале псковских говоров) .....	2
Добродомов И. Г. Проблема источников для русской исторической лексикологии нового времени .....	1
Домашнев А. И. К вопросу о международном статусе современного немецкого языка (К выходу в свет книги U. Ammon. Die internationale Stellung der deutschen Sprache) .....	5
Дуличенко А. Д. Международные искусственные языки: объект лингвистики и интерлингвистики .....	5
Дурст-Андерсен П. В. Ментальная грамматика и лингвистические супертипы .....	6
Ермолаева Л. С. К вопросу о семантической детерминанте языков номинативного строя .....	5
Золотова Г. А. Монопредикативность и полипредикативность в русском синтаксисе .....	2
Иванов В. Б. Границы слова и инкапсуляция в персидском, таджикском и дари .....	3
Иванчикова Е. А. "Подросток": повествование с лирическим рассказчиком .....	3
Иорданиди С. И., Крысько В. Б. Древнерусские инновации во множественном числе именного склонения. I, II .....	4, 5
Касаткин Л. Л. Некоторые фонетические изменения в консонантных сочетаниях в русском, древнерусском и праславянском языках, связанные с противопоставлением согласных по напряженности / ненапряженности .....	2
Керимова А. А. Об основных процессах развития современного таджикского литературного языка .....	3
Кибрик А. Е., Богданова Е. А. <i>Сам</i> как оператор коррекции ожиданий адресата .....	3
Климов Г. А., Эдельман Д. И. К перспективам реконструкции истории изолированного языка (на материале языка бурушаски) .....	5
Кулмаатов Д. С. Среднеазиатские деловые документы в русском переводе XVII в. – источник истории русского языка .....	4
Матвеев А. К. Аpellативные заимствования и стратификация субстратных топонимов .....	2
Мокненко В. М. Идеография и историко-этимологический анализ фразеологии.	4
Нефедьев М. В. Заметки о развитии словообразовательных типов (на примере глаголов с приставкой <i>об-</i> ) .....	6
Никитина Т. Г. К вопросу о классификационной схеме фразеологического идеографического словаря .....	2
Николаева Т. М. Теория функциональной грамматики как представление языковой данности (на материале четырех выпусков кн. "Теория функциональной грамматики") .....	1
Онипенко Н. К. Сложное предложение на фоне коммуникативной типологии текста .....	2
Островский Б. Я. Способы выражения видо-временных значений в формах изъявительного наклонения глагола дари .....	5

Печников А. Н. К принципам синтаксической организации предложения.....	6
Подлеская В. И. Импликативные конструкции: некоторые проблемы типологической классификации.....	6
Санников В. З. Каламбур как семантический феномен.....	3
Сергиевская Л. А. Модальность сложного предложения с императивной семантикой в современном русском языке.....	3
Сорокин Ю. А. Речевые маркеры этнических и институциональных портретов и автопортретов (Какими мы видим себя и других).....	6
Степанов Ю. С. <i>Баба-Яга, Яма, Янус, Ясон</i> и другие. К вопросу о "нестрогом" сравнительно-историческом методе.....	5
Супрун А. Е. Текстовые реминисценции как языковое явление.....	6
Тарланов З. К. О синтаксических границах сложного предложения в русском языке: к спорам вокруг известного.....	2
Тестелец Я. Г. Сибилянты или комплексы в пракартвельском? (Классическая дилемма и некоторые новые аргументы).....	2
Урысон Е. В. Фундаментальные способности человека и наивная "анатомия".....	3
Успенский Б. А. История русского литературного языка как межславянская дисциплина.....	1
Швейцер А. Д. История американского варианта английского языка: дискуссионные проблемы.....	3
Швейцер А. Д. Американский вариант литературного английского языка: пути формирования и современный статус.....	6
Швелёва М. Н. Новые данные церковнославянских рукописей о рефлексах сочетаний редуцированных с плавными и развитии "второго полногласия".....	4
Шмидт К. Х. Реконструкция и трансформация протокартвельского языка.....	7
Шмидт К. Х. К вопросу о личных местоимениях и категории лица в картвельском и индоевропейском.....	5
Эдельман Д. И. Еще раз о взаимодействии языковых уровней в истории иранских языков.....	4
Яковлева Е. С. <i>Час</i> в русской языковой картине времени.....	6

#### ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Алпатов В. М. Книга "Марксизм и философия языка" и история языкознания.....	5
Дуличенко А. Д. О принципах философского языка Якоба Линдбаха (К истокам лингвосомиотики).....	4
<b>Кнорина Л. В.</b> Природа языка в лингвоконструировании XVII века.....	2
Козинский И. Ш. Три заметки по типологии.....	1
Недялков В. П., Алпатов В. М. Исаак Шаевич Козинский.....	1
Папп Ф. М. В. Ломоносов и венгерский язык.....	5
Тестелец Я. Г. И. Ш. Козинский и лингвистическая типология 1970-х-1990-х годов.....	1

#### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

##### Обзоры

Дуличенко А. Д. Резьянология как раздел словенистики (в связи с выходом монографии Х. Стэнвейка "Словенский диалект Резьи Сан Джорджио" и сборника "Основы практической резьянской грамматики").....	2
Захарова Е. П., Кормилицына М. А. Проблемы функционально-стилевой дифференциации русского литературного языка в трудах саратовских лингвистов.....	4
Кречмер А. Актуальные вопросы истории русского литературного языка.....	6
Лаптева О. А. Изучение русской городской разговорной речи в местных центрах.....	5
Маковский М. М. Компендиум славянской и индоевропейской этимологии (к двадцатилетию выхода в свет первого выпуска "Этимологического словаря славянских языков").....	3

РЕЦЕНЗИИ

Агеева Р. А. Лезина И.Н., Суперанская А.В. Словарь-справочник тюркских родоплеменных названий.....	5
Алексеев М. Е. Тарланов З.К. Агулы: их язык и история; Сулейманов Н.Д. Сравнительно-историческое исследование диалектов агульского языка.....	5
Богуславская И. М. Зализняк Анна А. Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния.....	1
Демьянов В. Г. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–20.....	4
Домашнев А. И. Geschichte der deutschen Sprache: ein Lehrbuch für das germanistische Studium.....	2
Ермолаева Л. С. Leiss E. Die Verbalkategorien des Deutschen. Ein Beitrag zur Theorie der sprachlichen Kategorisierung.....	2
Казенин К. И. Heads in grammatical theory.....	2
Касевич В. Б. Modern theories of language: The empirical challenge.....	5
Климов Г. А. Lehmann P. Historical linguistics. Third edition.....	3
Коряковцева Е. И. Jelitte H. Die russischen Nomina abstracta des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts.....	1
Красухин К. Г. Erhart A. Das indoeuropäische Verbalsystem.....	1
Крысин Л. П. Дуличенко А.Д. Русский язык конца XX столетия.....	6
Кузнецова А. И. László Honti. Die Grundzahlwörter der uralischen Sprachen.....	4
Маковский М. М. Девкин В.Д. Немецко-русский словарь разговорной речи.....	5
Онипенко Н. К. Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX–XX вв.....	6
Петров З. Ю. Скляревская Г.Н. Метафора в системе языка.....	5
Плунгян В. А. Martinet A. Mémoires d'un linguiste: Vivre les langues.....	3
Пюрбеев Г. Ц. Дондуков У.-Ж.Ш. Словообразование монгольских языков.....	3
Силиверстова О. Н., Нарумов Б. П. Pottier B. Sémantique générale. Presses Universitaires de France.....	1
Сидельцев А. В. Indo-European numerals.....	4
Суперанская А. В. Калакуцкая Л.П. Фамилии. Имена. Отчества. Написание и склонение.....	3
Хелимский Е. А. Menges K.H. Drei Schamanengesänge der Ewenki-Tungusen Nord-Sibiriens.....	4
Чуглов В. И. Чайкина Ю.И. Словарь географических названий Вологодской области: Населенные пункты.....	4
Щербак А. М. Благова Г.Ф. "Бабур-наме". Язык, прагматика текста, стиль. К истории чагатайского литературного языка.....	6

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки.....	1, 3, 4, 6
---------------------------	------------

## CONTENTS

A . D . Š v e i c e r (Moscow). The American variant of the English literary language: ways of formation and contemporary status; A . E . S u p r u n (Minsk). Textual reminiscences as a literary phenomenon; P . V . D u r s t - A n d e r s e n (Copenhagen). Mental grammar and linguistic supertypes; Y u . A . S o r o k i n (Moscow). Speech markers of ethnic and institutional portraits and self-portraits (How we see ourselves in others); E . S . Y a k o v l e v a (Moscow). The concept of "hour" in the Russian linguistic picture of time; V . I . P o d l e s s k a j a (Moscow). Implicative structures: some problems of typological classification; A . N . P e č n i k o v (Ulyanovsk). On the principles of syntactic structuring of the sentence; M . V . N e f e d j e v (Orekhovo-Zuevo). Some remarks on the development types in word-formation (founded on the study of verbs with the prefix *об-* in Russian); **Reviews:** A . K r e t s c h m e r (Bochum). Topical problems in the history of the Russian literary language; A . M . Š č e r b a k (St.-Petersburg). *G.F. Blagova*. "Babur-name". Language, pragmatics of the text, style. On the history of the Chagatayan literary language; I . K . O n i p e n k o (Moscow). *N.A. Koževnikova*. Types of narration in the Russian literature of the XIX–XX centuries; L . P . K r y s i n (Moscow). *A.D. Duličenko*. The Russian language of the end of the XX century; **Scientific life**; Index of articles published in 1995.

## К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи представляются в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке или на компьютере через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Примеры в журнале приняты давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

3.1. Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

– "Код работы" (фамилия и инициалы авторов, год выхода цитируемой работы), тире, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражения типа "и др." или "et al."

– Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например:  
*Успенский Б.А.* 1994 – Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

– Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например:

*Трубецкой Н.С.* 1990 – Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2, 3.

– Если это сборник или иное аналогичное издание, то "кодом" является одно из двух:

а) фамилия и инициалы редактора (или редакторов; допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу, см. выше) с указанием "ред." (для других языков – ed., hrsg. и т.п.) и год;

б) сокращенное название и год.

В обоих последних случаях вслед за ключом после тире указывается полное название работы, а после точки – место, запятая, год издания, например:

*Greenberg J.* 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.

*Universals...* 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.

3.2. В тексте ссылки на литературу даются в квадратных скобках: фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно). Например [В.В. Иванов 1992: 341]. [W. Jones 1890]. Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же автора в год, используются уточнения типа: [W. James 1890a]. Под этим же кодом упоминается данная работа в списке литературы.

3.3. Подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

4. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

5. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

6. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

**Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами, к рассмотрению в журнале "Вопросы языкознания" не принимаются.**

Технический редактор *Н.С. Евсеева*

---

Слано в набор 29.08.95 Подписано к печати 28.09.95 Формат бумаги 70×100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Офсетная печать Усл.печ.л. 11,7 Усл.кр.-отт. 22,7 тыс. Уч.-изд.л. 14,9 Бум.л. 4,5  
Тираж 1901 экз. Зак. 3334

---

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,  
телефон 201-74-42

Московская типография № 2 РАН, 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6